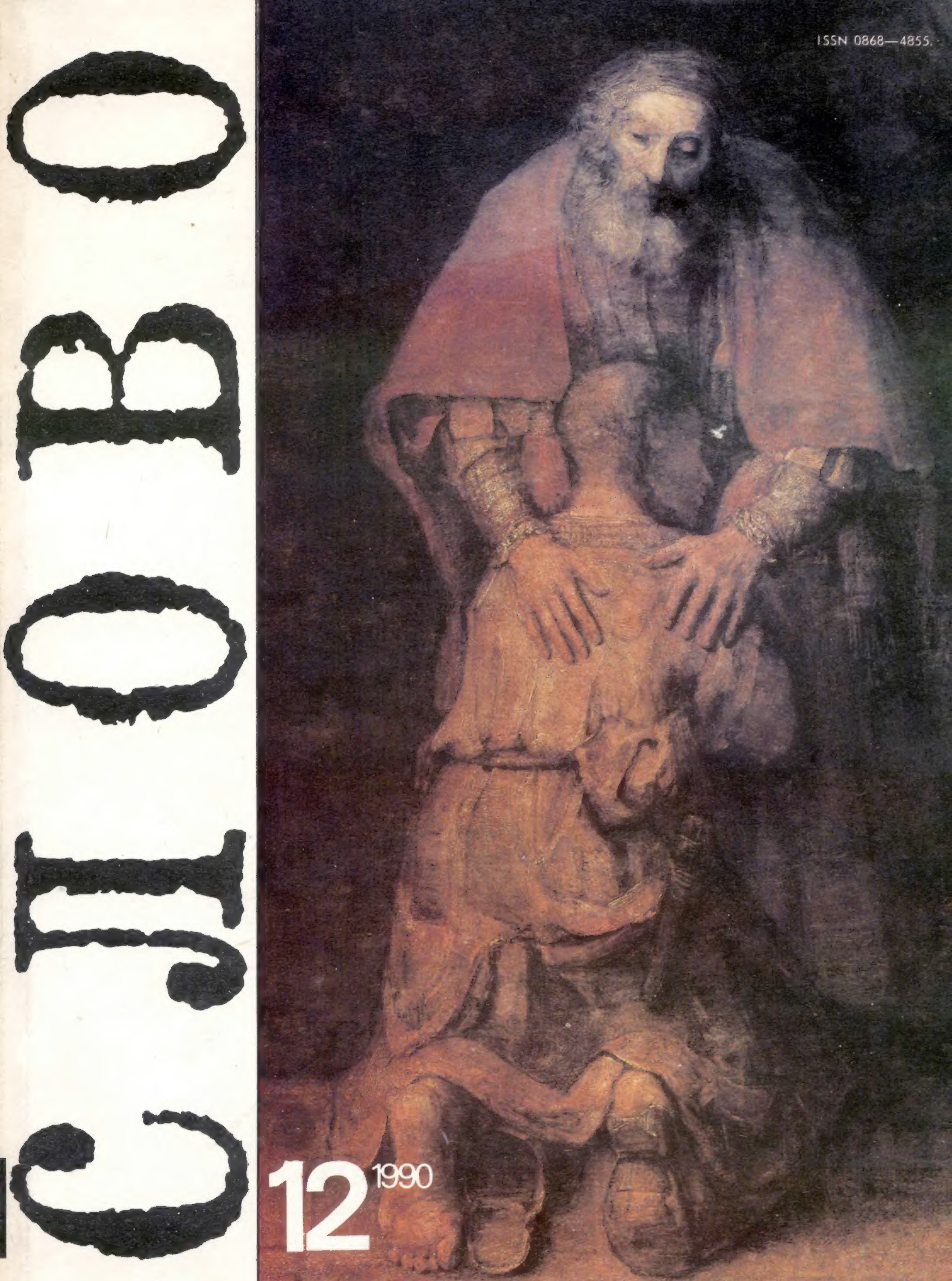
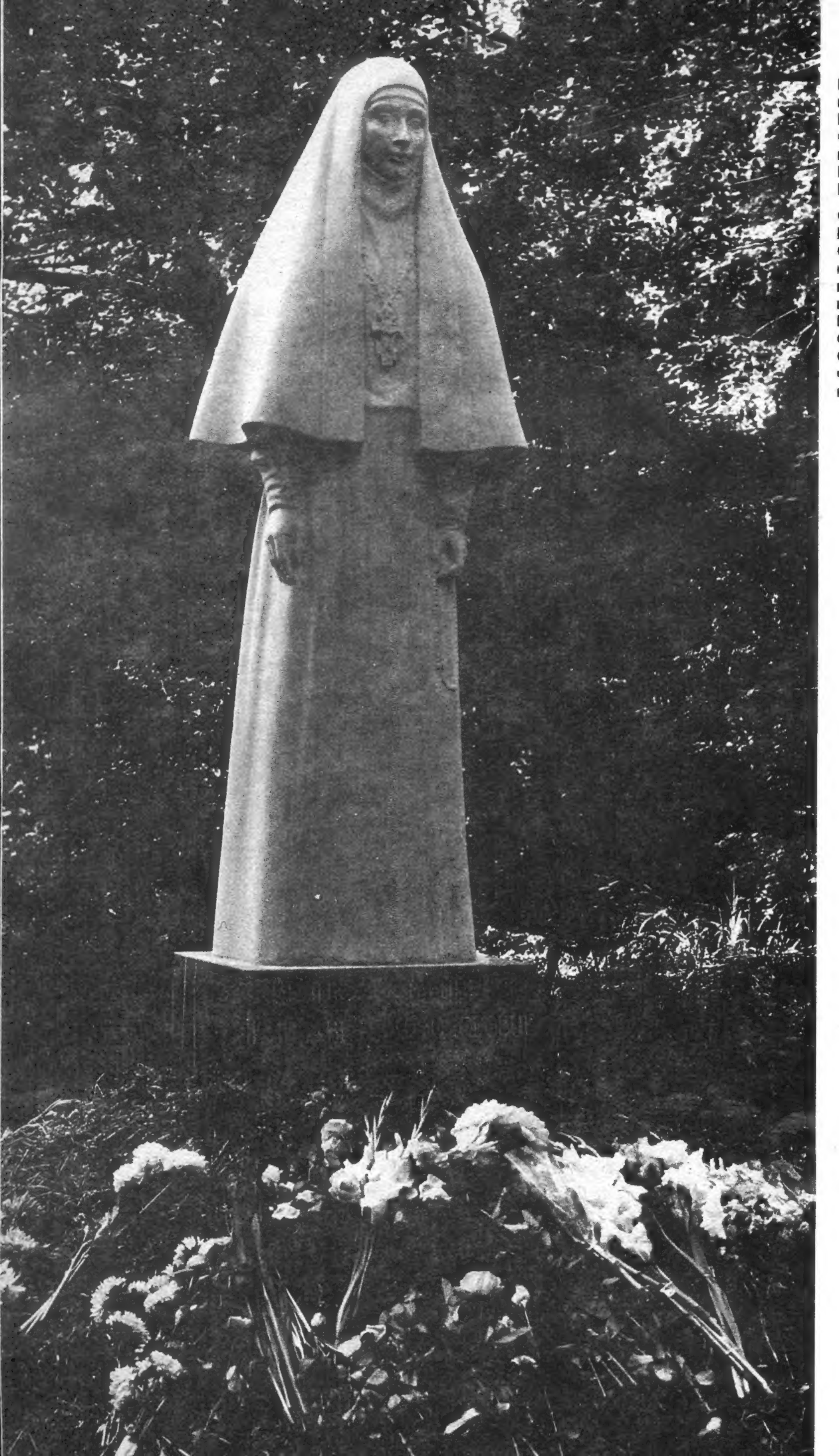

ISSN 0868—4855.
СЛОВО
12 1990



Памятник Великой княгине Елизавете Феодоровне в Москве работы Вячеслава Клыкова.

Фоторепортаж Юрия Садовникова с открытия памятника Великой княгине Елизавете Феодоровне. О гибели княгини читайте на стр. 44.

На первой обложке: фрагмент картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» (очерк о великом художнике на стр. 28).

АЛЕКСАНДР ПОЗДНЯКОВ

ПРИКРЫВАЯСЬ ЗАКОНОМ...

Ситуация в высшей степени странная: уже первые месяцы вступления в силу Закона о печати, о котором столько говорилось, который так все ждали, породили столько новых проблем, сколько не было в условиях действия печати без закона. Что это: хроническая болезнь законодательной мысли, до сих пор не научившейся «просчитывать» последствия при соприкосновении с действительностью? Или какой-то злой рок, преследующий нашу перестройку, превращающий и ее «благие намерения» в их прямую противоположность? Не знаю, не берусь судить, но многое в этом Законе можно и должно было предвидеть заранее. Во всяком случае, в таком важном юридическом понятии, как «учредитель» средств массовой информации, где любые домыслы и вольные толкования недопустимы. А оно-то и оставлено непроясненным, значит, оставлены лазейки для лавирования, подмены понятий.

Самое меньшее, что тут можно предположить — юридическая некомпетентность, неопытность и прочее при создании и принятии закона. Об ином даже страшно подумать. Если вспомнить, что народные депутаты СССР Коротич, Бурлацкий, Ананьев, Никольский и другие, принимавшие Закон, первыми пытаются воспользоваться его несовершенством, то перед нами просто грандиозная парламентская афера, которая в любой цивилизованной стране давно бы вызвала скандал, ставящий орган власти в стране на грань роспуска и назначения новых выборов.

У нас же редакторы журналов и газет: «Огонек», «Литературная газета», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», — воспользовавшись созданными для себя лазейками в законе и зарегистрировавшись в качестве независимых изданий, умудряются этот безнравственный, скорее даже уголовный поступок перед лицом общественности изобразить в виде благого дела. Все это, действительно, можно воспринимать как еще одну победу гласности над командно-административной системой, над монополизацией прессы. Более того, можно даже увидеть в этом признании учредительских прав за «трудовыми коллективами» первые ласточки приватизации печати, которая тоже не за горами. Все это, повторяю, было бы вполне пристойно, если бы не одно маленькое обстоятельство, которое меня беспокоит уже не как литератора, а как профессионального юриста. Все-таки какое государство мы собираемся строить и строим? Если правовое, то именно с правовой точки зрения подобные акты выглядят более чем сомнительно, поскольку у каждого из этих изданий был учредитель, причем у всех не в лице государства, а общественных организаций, которые не отказываются от своих учредительских прав, а, наоборот, по сей день настаивают на них.

Ну, а как же Закон о печати? Обратим внимание, что он не ликвидирует существовавших до него изданий, признавая таким образом их деятельность законной, если они в соответствии с требованиями п. 2 Постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» зарегистрируют свою деятельность до 1 января 1991 года.

Следовательно, признаются законными и все структурные подразделения изданий, действовавших до принятия закона: учредитель, редактор, редакция и издатель средства массовой информации. Что, кстати, вполне соответствует традициям мировой издательской практики, а не является изобретением нашей командно-административной системы. Во всех странах есть газеты и журналы различных партий, движений или общественных организаций, но трудно себе представить, чтобы «трудовой коллектив» какого-либо из шпрингеровских изданий заявил о своих учредительских правах. Подобное в любом правовом государстве может происходить только в правовом же порядке, допустим, в том случае, когда общественная организация потерпела финансовое банкротство, прекратила свое существование и передает или продает свое издание тому же «трудовому коллективу». Даже процесс приватизации государственной собственности должен иметь правовую основу. И «Огонек», и «Литгазета», и «Октябрь», и «Знамя», — издания общественных организаций, то есть общественная собственность. До тех пор, пока эти организации — КПСС и Союз писателей — существуют, не распустились или не запрещены законом, их собственность не может быть никем отчуждена или присвоена.

Если же мы отказываемся от этих правовых основ правового государства, то тогда действия «Огонька» или «Октября», действительно, могут быть оправданы какими-то другими мотивами, не имеющими правового характера, например, извечным экспроприаторским девизом: «Грабь награбленное!» Таким образом однажды уже награбили чужую собственность, тоже прикрываясь самыми что ни на есть благородными лозунгами свободы, равенства и братства. Собственность КПСС я защищать не собираюсь (хотя передача ее в народное достояние может осуществляться только правовым порядком, а не захватом), но собственность Союза писателей нажита трудом нескольких поколений писателей, это — отчисления от наших книг и литературных изданий. Никакой «трудовой коллектив» не может ее захватить, и нечего ссылаться на закон, размахивать статьями, предусматривающими регистрацию новых изданий, и прикладывать их к возникшему спору о передаче существующих изданий от одних учредителей к другим. Следует обратить внимание, что закон о печати вообще такого правоотношения не знает. Часть 3 статьи 11 предусматривает лишь возможность возникновения нового издания с тем же названием на месте ликвидированного старого (не ранее чем через год после ликвидации). Правда, общие принципы цивильного права не запрещают одному учредителю добровольно уступить свои права другому. Никакого другого пути присвоения редакциями этих изданий, кроме добровольной уступки со стороны Союзов писателей СССР и РСФСР, нет.

Таким образом, правовая сторона возникшего спора предельно ясна. Все бывшие учредители могут доказать свои права через суд, который, я уверен в этом, аннулирует все выданные свидетельства о регистрации как незаконные. Правда, суду тоже в этом случае не позавидуешь, так как, отстаивая букву закона, ему придется волей-неволей противостоять психологическому нажиму нашей так называемой «демократической» печати, которая умеет добиваться своего силовым давлением.

Не говоря уже о том, что вся история регистрации названных изданий приобрела характер почти детективный. Все они, кроме «Октября», будучи изданиями всесоюзными, должны были зарегистрироваться в Госкомпечати СССР. Но Госкомпечать СССР, получив заявки на одни и те же издания от нескольких учредителей, попыталась встать на позиции правового порядка решения таких спорных ситуаций, оставаясь в рамках закона, что явно не устраивало ни «Огонек», ни «Знамя», ни «Литгазету», обрушивших на комитет всю мощь своей «тяжелой артиллерии». А затем, видимо, сознавая юридическую слабость своих позиций, эти издания прибегли к обходному маневру и получили регистрационные удостоверения за подписью республиканского министра М. Полторанина (в равной степени это могло быть и Казахское или Армянское министерство), таким образом формально «Литературка»,

дить Ананьеву за это «героическое» противоборство с российскими писателями... Но во всем этом есть (как и в случае с «захватом» журналов под видом борьбы за свободу печати) лишь одна «фигура умолчания», о которой уже говорилось: не за «русофобию» отправляли его на пенсию... Ананьев прибегает к демагогии и шулерству, пытаясь удержаться в своем редакторском «кресле».

А в выступлении по Ленинградскому телевидению Ананьев вообще заявил, что Союз писателей не имеет права его снимать, поскольку назначен он не Союзом писателей. И на сей раз он сказал совершеннейшую правду: назначен *он не* Союзом писателей России, а секретариатом ЦК КПСС во главе с Сусловым и Брежневым, он их ставленник, можно сказать один из последних могикан времен застоя, сохранивший и преумноживший свои должности во времена перестройки. Ананьев верный ортодокс застоя, его охранитель. Все остальное, мягко говоря, несколько преувеличено. Эта тяжба с Ананьевым и верховными властями у Союза писателей РСФСР длится уже более года, свидетельствуя, как невысоко ныне в цене мнение честных писателей и сколь крепко парализовано руководство самого Союза. А в результате журнал «Октябрь» вообще стал пожизненной ананьевской вотчиной, хотя писатели годами боролись именно с такими «вотчинами».

Итак, пожировав на застойных болотах, благополучно удержавшись на гребне гласности — с помощью связей в аппарате, демагогических обращений к общественному мнению, липового депутатства от общественных организаций — наши лжегерои приблизились к новому рубежу, когда уже оказалось возможным п р и к а р м а н и т ь и собственность товарищей по перу. Короче, грянул гром, клюнул знаменитый жареный петух, но... вместо того, чтобы перекреститься, «захватчики» решили съесть с потрохами и самого петуха.

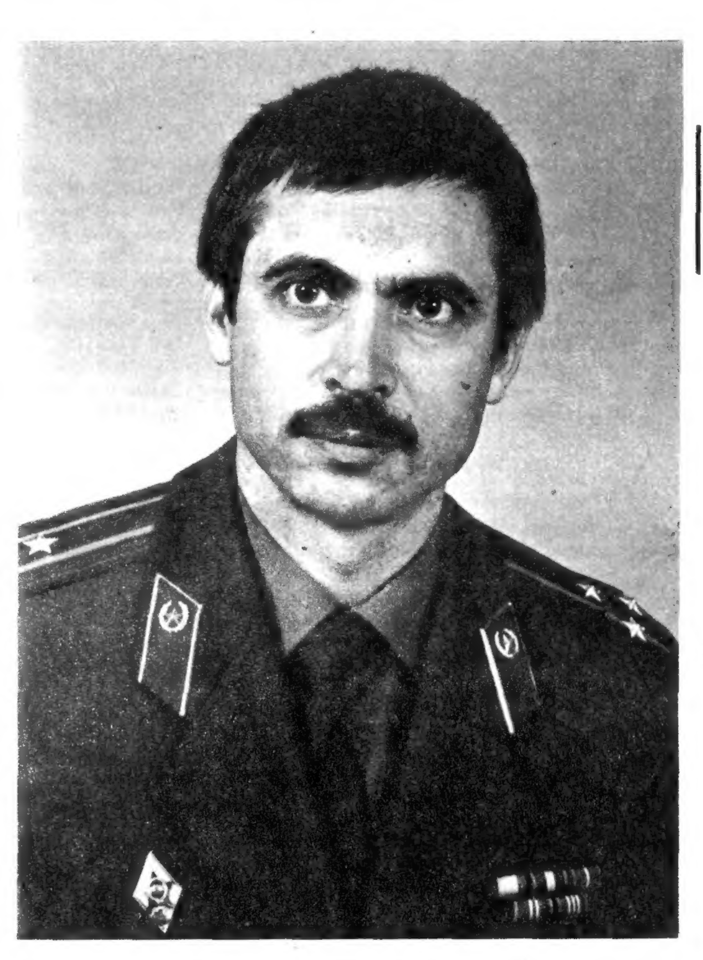
Разумеется, речь не об аппарате, дни которого сочтены. Меня в данном случае волнует реальная угроза полнейшей монополизации престижного, имеющего огромное значение литературно-журнального дела группой изворотливых окололитературных деятелей, сумевших к тому же сколотить немалые состояния (иначе зачем бы они так упорно стремились к созданию акционерных компаний), так наши миллионеры вскоре станут миллиардерами...

Теперешние редакции в своем большинстве созданы системой, где писательский союз выступал с правом совещательного голоса (я имею в виду, опять же, не голоса «литературных генералов», а голос всей писательской общественности). По сути дела сегодняшние попытки отделиться от Союза писателей — это и есть стремление сохранить *такое положение*, когда *отдельные личности* будут решать судьбу всех остальных. В этом смысле «взбунтовавшиеся» редакторы и «трудовые коллективы» напоминают недавно продемонстрированный телевидением тип партийного секретаря. Пользуясь агонизирующей административной властью, он создает под своим крылом привилегированный кооператив, чтобы в нужный момент перепрыгнуть с загнанной партийной лошадки на тайно вскормленного госзерном жеребца. Нетрудно заметить, что весь сыр-бор вспыхнул вокруг вопроса «о кормлении», то есть о перераспределении миллионных доходов, поскольку профессиональная самостоятельность редакции новым законом гарантирована, а вот денежки отныне будут только нашими, заявляют и «огоньковцы», и «литгазетовцы», и «октябристы». «Да, производители холста и красок получают деньги за свой труд. Но как-то не принято, чтобы они претендовали на доходы от проданной картины. И уж совсем чудно, если они попытаются оспаривать ее авторство», — риторически восклицают «огоньковцы», считая свою ссылку на холсты и краски, видимо, неоспоримой. Но в данном случае речь идет не о типографиях и типографской краске, а о правовом статусе «учредителя» того или иного издания. Не говоря уже о том, что проданная в галерею или коллекционеру картина перестает быть собственностью автора, за собой он сохраняет только имя. Но эти редакции хотят добиться монопольного права на все, включая материальные доходы от изданий общественных организаций, которых они не основывали и не учреждали.

А изменения нужны — демократические и радикальные. Гораздо более радикальные, чем имеют в виду «взбунтовавшиеся» редакторы. Но они — и по закону, *и по совести — должны осуществляться* не по принципу экспроприаторов, а демократическим путем. Таким демократическим путем для писателей является только съезд, который может решить судьбу наших органов печати таким же демократическим путем — общим голосованием. А не келейно избирать редакторов литературных журналов и газет, поскольку новый закон и буквой и духом в данном случае устанавливает ГЛАВЕНСТВО ДОБРОЙ ВОЛИ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

Но именно об этом — о доброй воле писательской общественности — нас, писателей, до сих пор никто не спросил. Все решается за нашими спинами, но на сей раз не только аппаратчиками, но и нашими знаменитыми «прорабами перестройки».

Вот теперь-то становится все более ясно, о какой перестройке они мечтали, какой «демократии» добивались: это «демократия» не для всех, а для избранных...



Продолжаем разговор, начатый в № 10 в редакционном комментарии «Закон принят». В этом номере — публицистические заметки полковника юстиции Александра Позднякова (1951 г. р.), являющегося также членом СП СССР, автором двух поэтических книг (новая книга выходит в 1991 году в издательстве «Советский писатель»). Так что в данном случае он может судить о Законе о печати с двух сторон: как профессиональный юрист и как профессиональный писатель. Думаем, что разговор не закончен, а только начат. Предлагаем читателям высказать и свою точку зрения на все проблемы обретения нашей печатью независимости и свободы слова.

ВРЕМЯ

*Идеи.
Диалоги.
Поиски.*



С. С. Гейченко.

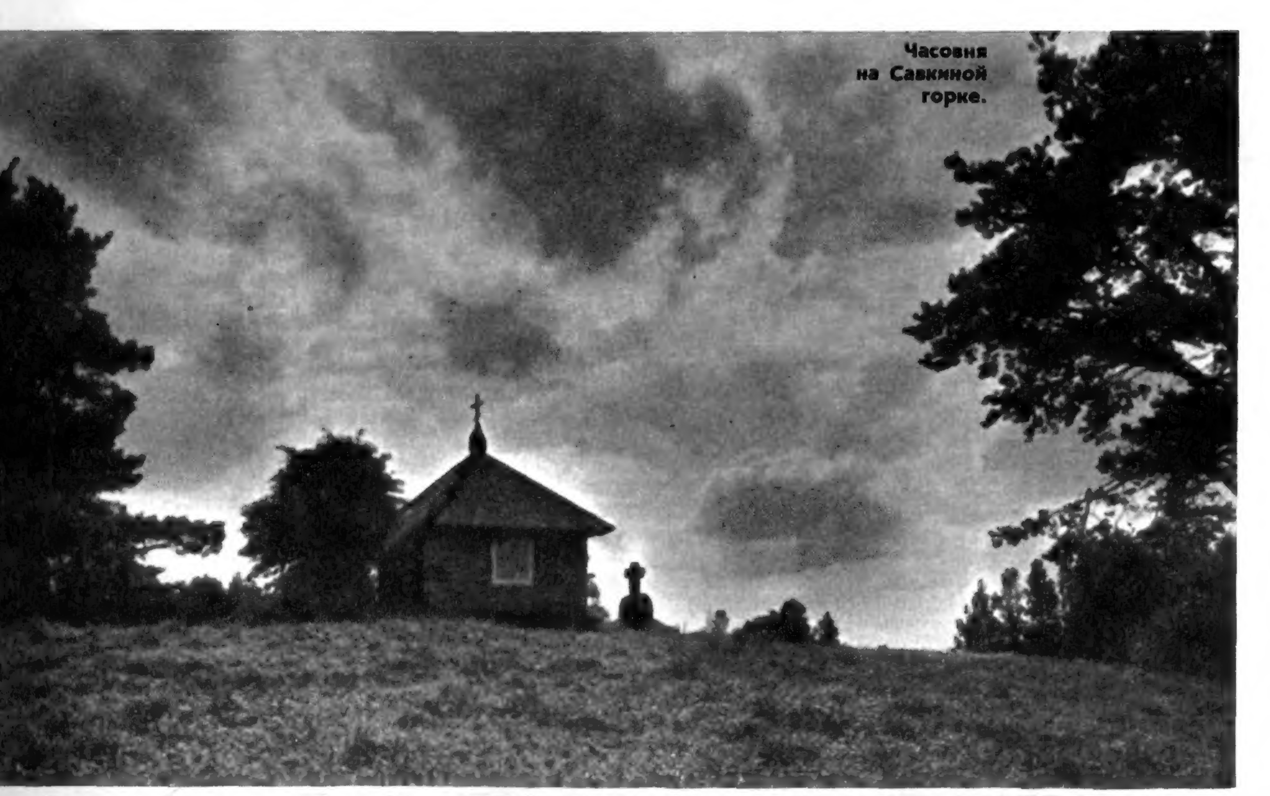
**Новейшие врали
вралей старинных
стоят —
И слишком
уж меня
их бредни
беспокоят.**

А. ПУШКИН

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СОВРАМШИ

В нынешней, до краев заплюралистиченной прессе, бывает всякое. Уже и не дивится никто, что закрытых тем нет. Уже и дозволено, кажется, все. Поэтому, сделали вывод некоторые авторы, главная, любимая и всегда широко применявшаяся ими метóда нынче может с новой силой соучаствовать в той гласности, которая, наконец, освободилась от навязываемых моралью пут. Проявления этой методы один клетчатый персонаж одного булгаковского романа называл «случаями так называемого вранья». Этот клетчатый тип был простой, открытый мужчина и обычно прямо так и говорил соврившему: «Поздравляю вас соврамши». Однако нынешний читатель нынешней прессы, уже набравшись опыта и зная репутацию иного издания, иногда не всему заранее верит и сам решает — читать или не читать. И вообще бывают у него странности: хочет иногда, чтобы «случаев так называемого вранья» было не так уж много. Или вовсе бы не было. Устал уж он очень за столько лет от этих «случаев». Однако, вольно или невольно, но, бывает, такие «случаи» происходят и в серьезных на вид изданиях. Почти, кстати, как это произошло в одной ненаписанной, потому и не столь известной, но печальной повести, состоящей всего из двух фраз: «Не было случая, чтобы Петюня обманул своих товарищей. Наконец, такой случай представился»...

Именно такой случай представился, на удивление, одному весьма серьезному изданию — газете «Московский церковный вестник». Здесь за подписью «О. Петровская» опубликована статья под восходящим к самому Святому Евангелию названием — «Торговцы в храме» (1989, № 17). В статье вроде бы ставится вопрос о храмах, связанных с именем Пушкина, которые, как справедливо замечает автор, находятся повсеместно в самом плачевном состоянии. Таких храмов много: «Это храмы в Москве и Подмосковье, церкви в Царском Селе, в псковских и тверских усадьбах, где бывал поэт: в Ладине, Поляне, Теребени, Торжке, Бернове, Старице... А Суйда, Болдино, Виноградово... Нет на пушкинской тропе



Часовня на Савкиной горке.

Божия дома, где можно было бы помолиться о поэте, затеплить свечу за упокой его души», — пишет автор «Вестника».

Вот об этих храмах, думает читатель, и поведет «Московский церковный вестник» самый что ни на есть серьезный разговор. Опишет, в каком они состоянии. Проанализирует — кто, каким образом и почему довел их до такого состояния. Зачем годами и десятилетиями эти храмы и церкви не восстанавливаются, а все оскверняются и разрушаются. Задаст, наконец, вопрос, который другой наш поэт, хотя он и был атеистом, но сумел поставить с истинно библейским пафосом: «Значит, это кому-нибудь нужно?». Покажет «Вестник», думает читатель, и «кому это нужно», и определит «кто виноват», и предложит «что делать». Но не тут-то было. У автора статьи совсем иное на уме. Автор хочет, чтобы, освоив статью, читатель так и вскипел от негодования. Но совсем не потому, что разрушаются храмы. Они автора, как довольно метко выражались в застойное время, — «по большому счету», — не столь уж и волнуют. Вознегодовать читатель должен от обнаруженных «торговцев». И особенно от того, что они именно «в храме». Кто же эти ужасные «торговцы»? И Божьи, и пушкинские враги?

О. Петровская останавливает пронзительный свой взгляд (вспомним, читатель, впечатляющие строки Н. С. Гумилева: «С остановившимся взглядом здесь проходил печенег») на Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина, который, как известно, находится на Псковщине, в Пушкиногорье. Заповедник этот, несмотря на определенные недостатки, которые вдруг стали выявляться с недавних пор буквально всюду, все же считается (но это было до того, как остановился на нем этот пронзительный взгляд, теперь надо говорить «считался») одним из самых достойных по своему состоянию памятных мест в нашей стране (и не только среди относящихся к Пушкину). В этом может (теперь уже надо, конечно, писать «мог») убедиться всякий, кто хоть раз побывал там. Именно здесь и обнаруживает таких «торговцев» автор. И, обнаружив и вознегодовав, начинает бить в рельсу и будить наш повсеместно спящий, но все же ленивый и беспечный народ. И тут очнувшийся читатель, если он хоть мало-мальски образованный, начинает прямо трепетать, представив себе образ неведомой ему до этого звона О. Петровской, ибо он (читатель) знает, к т о изгонял торговцев из храма. От такого сопоставления у читателя прямо сердце падает. Неужели время п р и ш л о? Неужели н а ч а л о с ь?

Да, началось. И началось вот с чего.

Автор статьи «за ежегодными фанфарами пышных пушкинских торжеств в Михайловском», за «восторженными дифирамбами именитых гостей» расслышала «ныне уже многочисленные сигналы о серьезных неблагополучиях в заповеднике». Как остер и неожиданен ее взгляд, остановившийся на «пушкинских торжествах» и особенно на «именитых гостях», которым теперь, без сомнения, будет под ним не очень-то «уютно»! Тут обнаруживается особая глубина ее чутья, с которым надо согласиться. Что и говорить, в пушкинских торжествах в Михайловском есть некая пышность (которой, как подразумевает автор, конечно же нет на наших многочисленных, но строгих и аскетичных съездах, митингах, собраниях и других, — каждый может продолжить этот ряд, — «мероприятиях»). Да и выступления «именитых гостей» здесь, бывает, не отличаются особыми откровениями (которых, как подразумевает автор, конечно же полно́ во всех высказываниях о Пушкине, звучащих в иных местах, а также в сотнях печатных трудов, посвященных поэту и сочиненных современными специалистами).

Приняв нелицеприятную и сокрушительную эту критику, теперь отечественные и зарубежные поклонники поэта, «именитые» и совсем не «именитые» гости будут, конечно, и стратегически и тактически действовать совсем по-другому: скрытно стягиваться поодиночке в Михайловское, а затем, образовав таким способом многотысячную толпу, не тратя лишних слов, сдержанно выкрикивать: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — и всего хорошего. Исследователям же «Слова о полку Игореве» стоит призадуматься: не О. Петровскую ли имел в виду его автор, писавший: «Дети бесови кликом поля перегородиша»...

Теперь о «ныне уже многочисленных сигналах о серьезных небла-

гополучиях в заповеднике». Это утверждение вызывает большую тревогу: чем вызвана такая скрытность автора? Почему он не уточняет: если «ныне уже многочисленные», то, верно, когда-то были «немногочисленные»? Если да, то когда? Если теперь «многочисленные», то исчисляемые примерно скольки значным числом? Если «сигналы» — то от кого исходящие? Какого рода? Каким образом и при помощи чего переданные? Кто, где и как определяет по ним «серьезность» неблагополучий? и т. д. Тревожно потому, что такие примерно вопросы задают обычно тем, кто был свидетелем появления НЛО... Но, как говорится, «тайна сия велика есть». А дальше, как убедится читатель, будет еще больше. Но самое важное то, что она будет все-таки раскрыта.

Автор статьи, творчески использовав методы определения «виновных», имевшиеся в известном нам прошлом, указала, наконец, на виновника всех «неблагополучий». Тут читатель (еще не зная, что его — автора — с этим открытием можно «поздравить»), должен остановиться и ахнуть — почему же это разоблачение сделала неизвестно кому известная О. Петровская, а не известный всем в нашей стране (даже бы и печенегам, если бы кто-то из них еще сохранился на ее просторах) Семен Степанович Гейченко — многолетний директор, а ныне главный консультант Пушкинского музея-заповедника, отдавший ему почти всю свою жизнь, поднявший его из руин, знающий каждый его уголок, все его победы и беды? Как же так, уважаемый Семен Степанович? А так. Ахни, читатель, еще сильнее. Ведь главный враг заповедника, как вычислил удивительный наш автор, и есть он самый! Кто — «он самый»? Да Семен Степанович Гейченко же!

Но тайну своего разоблачения автор сразу не раскрывает, а начинает метать стрелы просто как бы в заповедник. И тут же, даже не проведя никакой предварительной разведки, хватает, как говорится, крепко «быка за рога». Хотя, полная отваги, подходит к нему сперва с довольно щекотливой стороны.

«Казалось бы, мелочи...» — так начинает она свое сказание, пытаясь такими словами усыпить бдительность читателя. Но чуткое его ухо в этом многозначительном «казалось бы» уже слышит топот приближающейся конницы. Читатель понимает, что разговор пойдет по-крупному, что предметом его будут никакие не «мелочи»...

И действительно, автор сразу, бросая свое первое «копье», говорит главное: то, что в заповеднике нет «ни одного общественного туалета». И с этим нельзя не согласиться. Как ни прискорбно, но это так и есть. Но напрасно ханжи-пушкинисты скрывают от широкой общественности тот факт, что, кроме О. Петровской, то же неблагополучие обнаружил и сам Пушкин (правда, не в Михайловском, а в Болдине). Так, А. О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях как-то отмечала: «Государь цензуровал «Графа Нулина». У Пушкина было: «урыльник». Государь вычеркнул и написал — будильник. Это восхитило Пушкина: «C'est la remarque de gentilhomme («Это замечание джентльмена»). А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой».

Посетителям, приезжающим в Михайловское на автобусах и на непродолжительное время, конечно же, очень недостает соответствующего беломраморного сооружения (возможно, с колоннами и, безусловно, кооперативного) рядом с домом поэта или, допустим, в парке, в конце «Аллеи Керн». Тем более при отсутствии в этих местах системы проточной канализации...

Затем автор действует стрелой-«зажигалкой», от которой должно стать «горячо» тому, кто допустил наличие замеченного «мороза в комнатах Тригорской усадьбы». Этот «мороз в комнатах», конечно же, особенно должен тронуть многих современных горожан, в том числе и москвичей, не во всем разделяющих с поэтом восторги по его поводу («Полезен русскому здоровью наш укрепительный мороз»), когда они частенько испытывают крепкий морозец в своих квартирах... На самом же деле температурный режим в мемориальных музеях подобного рода, имеющих электрический обогрев и находящихся в деревянных сооружениях, отличается от такового в московских квартирах. Здесь не нужна комнатная температура. Кроме того, здесь, как неоднократно с изумлением замечали многие посетители (что отражено в их переписке, мемуарах, дневниках, а также в книге отзывов), довольно редко кто из публики переодевается в пижаму или в халатик или ходит в нижнем белье, а тем более в симпатичных пляжных бикини...

Далее — удар «палицей». О. Петровская видит «гниющие из-за завалов покалеченного ураганом леса здоровые деревья пушкинской поры». Автор этих заметок не так давно бродил и по парку, и по лесу в Михайловском и может подтвердить, что и там и сям и в парке, и в лесу действительно есть деревья. Однако «гниющих», а также поваленных среди таковых он, сослепу что ли, не увидел. Но даже если он и не побывал на тех «неведомых дорожках», где оставила свои следы О. Петровская, то все же должен усомниться в ее отличной успеваемости (если она училась в школе) по биологии: ни погибшие от урагана, ни здоровые деревья, пострадавшие от упавших деревьев, за это время никак не успели бы сгнить.

Угнетают О. Петровскую и тяжкие цепи, которыми окружен дуб в Михайловском. Их можно, с той стороны, с которой смотрит на них рассказчик, расценивать как «безвкусное напоминание о сказочном лукоморье» (вот уж здесь видно, что учебник «Родная речь» в ее бережных руках все-таки побывал), с другой же стороны они выглядят как ненавязчивое желание того, кто их повесил, оградить приствольный круг дуба от вытаптывания (ведь пришлось же закрыть по этой причине проход по липовой «Аллее Керн»).

Уф! На этом автор расстреливает запас «мелочей», принимает «поздравления» и переходит к главной части.

О. Петровская сокрушается о том, что посетители «не в благоговейной тишине и не неспешным шагом идут на поклон в храм и к дорогой могиле, а лихо и начальственно подкатывают к самым вратам на черных «Волгах» и интуристовских автобусах». От этого-де древние «стены монастыря рушатся, холм, на котором возведен храм, оседает, грозя засыпать могилу поэта».

Здесь трудно удержаться от очередного «поздравления» в адрес автора: и не «рушатся», и не «оседает». Что же касается первого ее сокрушения, то действительно, С. С. Гейченко следует его учесть: взять в руки милицейский жезл (а еще лучше новейшее изобретение — «демократизатор») и осаживать ретивых туристов подальше от монастыря, где-то у въезда в поселок Пушкинские Горы (который наш автор с большим упорством, — почти с таким же, с каким она «уличает» Гейченко, — именует почему-то «городом»). Думается, что обитатели интуристовских автобусов, даже наткнувшись на «заставу Гейченко», все же не сумеют полностью раскрыть систему обороны заповедника. Наши же туристы, о которых чуткий автор почему-то и не вспоминает, эту меру, конечно же, и так правильно поймут. Тем более, что асфальтированная дорога (качество покрытия которой, кстати, куда лучше, чем на многих московских проспектах, — почему это неблагополучие не отметила О. Петровская — неясно) проходит прямо у ворот монастыря, что по ней постоянно и так идет транспорт, что ни закрыть ее, ни перенести никуда нельзя, потому что с одной ее стороны — холм, а с другой — почти что обрыв. Однако если бы рассказчица удостоила чести Пушкиногорье и поприсутствовала бы здесь в пушкинские дни, то она смогла бы сама,

своими ногами, вместе с настоящими поклонниками поэта, несущими цветы, вместе с «начальством» и «именитыми гостями», в «благоговейной тишине» и «неспешным шагом» (только, конечно, неузнанной и спрятав подальше «Московский церковный вестник» со своей замечательной статьей) пройти от местного Дома Советов до могилы в Святогорском монастыре. Опасаюсь только, сможет ли О. Петровская, которая, как заметил читатель, склонна к некоторой торопливости, потратить на этот короткий путь целый час. Что же касается иных «черных «Волг», то так сложилось, что у нас сам черт велел (уж очень он, вражина, падок на всякие привилегии) подъезжать им к таким местам, куда и пешему-то ходу нет. Хорошо еще, что не научил он их пока взбираться по крутой каменной монастырской лестнице прямо к могиле поэта...

В заметке «Вранье о Пушкинском заповеднике», опубликованной в Пушкиногорской районной газете «Пушкинский край» 7 апреля этого года (тираж которой составляет немногим более 4 тысяч против 200-тысячного тиража «Московского церковного вестника»), С. С. Гейченко, сказав о многочисленных «разоблачениях» О. Петровской, пишет: «Свыше 65 лет я занимаюсь музейными делами. 15 лет был хранителем бывших царских парков, дворцов и храмов Петергофа, восстанавливал памятники, был научным сотрудником Русского музея, восстанавливал имение И. Е. Репина в Куоккала, был научным сотрудником Пушкинского дома Академии наук СССР... За *все это получил высокие звания*, ордена, медали...» Но что с того? Автор статьи как бы отвечает ему словами одного пушкинского персонажа:

Что хочешь говори,
не пошатнуся я.
Всю истину твою
низвергнет ложь моя.

И низвергает. И низвергает. И на каждое ее горячее «низвержение», на каждый пролет (со свистом) ее «стрелы» Гейченко отвечает еще более горячим «поздравлением».

Здесь и «кресты — поминальные, дорожные, могильные...», которые якобы он свез в Михайловское «со всей *Псковщины*» (каюсь, курсив мой. — *Ю. Ч.*), и обличения его как «противника возвращения городу (снова «городу» — какое упорство! — *Ю. Ч.*) исторического названия Святые Горы», и как противника «возвращения Успенскому собору иконостаса».

Спокойствие, граждане, только спокойствие! Не напирайте. Вижу, что вы не ленивы и любопытны. Однако не создавайте новые «неблагополучия». Не мешайте нашему автору натягивать тетиву и принимать «поздравления».

«На усадьбе Михайловского, — пишет С. С. Гейченко, — есть лишь один каменный «дорожный» крест XVI века, который был найден мною двадцать лет тому назад в деревушке неподалеку от села Васильевского. У входа в одну из изб основание креста было положено для того, чтобы входящий в дом человек чистил свои ноги. Верхнюю часть креста я нашел в яме у колхозного скотного двора. Собрав эти части вместе, привез их в Михайловское, отреставрировал, смонтировал, поставил у дороги, ведущей на усадьбу Пушкиных, рядом с часовней Михайловского, одновременно и строго документально воссозданной мною (за что, кстати сказать, я получил большой нагоняй от тогдашнего высокого начальства)».

Не сокрушайся, читатель, получив очередное подтверждение, что ни храмы, ни церкви, ни часовни О. Петровскую на самом деле нисколько не интересуют. Иначе как бы симпатичный наш автор мог промчаться мимо и не разглядеть такого серьезного неблагополучия? Ведь нагоняй же! И за что? За часовню. Тем более, что было и еще одно неблагополучие: получил Гейченко «строгий нагоняй и за восстановление часовни на городище «Савкина Горка» — одного из древнейших памятников заповедника».

Не участвовал С. С. Гейченко и в дебатах по поводу возвращения поселку Пушкинские Горы его исторического названия. Он *имеет собственное мнение и считает*, что поселок должен называться «*Святые Пушкинские Горы*».

Лукаво скрывает автор от *читателей «Московского церковного* вестника» и причину того, почему *С. С. Гейченко против «возвращения Успенскому собору иконостаса»*. А дело в том, что, как отмечает Семен Степанович, «в эпоху Пушкина старинный обветшавший иконостас был уничтожен (о чем, конечно, не ведает *О.* Петровская — крупный специалист «по храмам». — *Ю. Ч.*), а взамен его в 1832—33 гг. был сделан новый иконостас, резко противоречащий архитектуре и живописи собора и его убранству XVI века. Ряд икон нового иконостаса экспонируется сегодня в соборе. Мне, пишет Гейченко, удалось их найти».

Разборчивость вестницы «Вестника» просто поражает: теперь она почему-то отворачивает пристальный свой взгляд от целого ряда «неблагополучий»: и от икон, «экспонирующихся сегодня в соборе», и от того, что Гейченко «удалось их найти»...

Тем временем, пишет наблюдательный автор, пока Гейченко совершал все вышеперечисленное (а О. Петровская бесстрашно стреляла туда и сюда), «в храме, где отпевали поэта, стены XVI века уже дали трещину. Через давно нечиненную крышу во время дождей вода капает с потолка» в южном приделе собора, «где стоял гроб с телом Пушкина». Все эти ценные сведения О. Петровская, без сомнения, взяла оттуда, откуда «капает» вода в соборе... Да, трещина действительно есть, но образовалась она не в результате действий (или бездействий) С. С. Гейченко, а в результате взрыва собора фашистами. «Ее, — как он пишет, — специально обследовал академик архитектуры А. В. Щусев в 1945 году и поставил на нее стеклянный маятник, который до сего дня свидетельствует, что трещина... не растет, и ремонт, проделанный реставраторами Ленакадемстроя в 1945—49 гг., сделан как нужно. После 1949 года кровля собора ремонтировалась Псковской реставрационной мастерской дважды, гранитные стены тоже... Планом 1990 года предусмотрен новый ремонт кровли собора, который будет выполнен летом с. г.»

Однако, надеюсь, читатель уже разгадал заурядные приемы незаурядного автора. Они действительно несколько однообразны. Не хватает фантазии, что ли... Так, она сообщает, что С. С. Гейченко — противник «возрождения богослужений в Успенском соборе Святогорского монастыря», но не пишет почему. А он считает, что в этом нет необходимости, так как «действующая церковь стоит почти рядом с Успенским собором-музеем. Ее никогда не закрывали, *даже при гитлеровцах*. Она существует уже многие сотни лет». *Оказывается*, что *колокола у «гейченковского дома» предназначены вовсе не для «наигрывания развеселых скоморошин»*, а собираются *здесь «для храма св. Георгия Победоносца на городище Воронич*, где Пушкин когда-то собирал *материалы для своего «Бориса Годунова»*, что «описанное в книге «У Лукоморья» кощунственное вскрытие гроба поэта» — это не «самодеятельность» Гейченко, а работа по «реставрации падающего мраморного надгробия после взрыва фашистами собора», проведенная по специальному постановлению Академии наук и т. д.

Автора «Торговцев в храме» особенно беспокоит судьба средств, переданных государственными и общественными организациями и отдельными гражданами на ликвидацию последствий урагана. Она уверена, что эти деньги растрачены на «сувениры именитым гостям» (прямо покою не дают ей эти «именитые гости»!). Однако финансовая ревизия, которая была проведена Министерством культуры РСФСР в Пушкинском заповеднике в конце 1989 года, установила, что «никаких расходов на дорогие подарки именитым гостям не было. Ни Гейченко, ни его заместители их не делали»... И много еще тако-

го, читатели, есть в этой примечательной и показательной статье, только уж вы, наверное, устали от бесконечного числа встречающихся здесь «случаев так называемого вранья». И я признáюсь, устал тоже. Тем не менее, еще одна деталь.

О. Петровская считает, что «поклонение поэту» в Пушкинских Горах «низведено до ярмарочной сувенирности, пошлого неуважительного любопытства». Вот уж будут благодарно изумлены и рады десятки тысяч посетителей заповедника, ознакомившись с этим умозаключением: как это здорово, что автор сумел-таки дотянуть их до своего уровня и приписать им свое собственное ярмарочное и пошлое отношение и к действительности, и к правде, и к великому русскому поэту!

В заключение с «уважительным любопытством» хочется спросить О. Петровскую: не желает ли она принять в подарок (и совершенно безвозмездно) еще одну многодумную идею — тему для очередной сшибающей с ног статьи. Для журнала «Птицеводство» на сей раз постараться. А название дать ей можно прямо-таки криминогенно-детективное: «Поедатель петушков». Захватывает не меньше, чем «Торговцы в храме». А материал — да вот он! — одно малюсенькое объявление в том же номере газеты «Пушкинский край»: «Хочу купить молодого петушка золотисто-коричневого цвета. С предложениями обращаться по тел. ⟨...⟩ к Гейченко Семену Степановичу (Михайловское)». Могу и начало ее (тоже совершенно безвозмездно, — ведь не «в храме» же мы!) предложить нашей труженице пера. Например, такое: «Всем. Всем. Всем. Всему прогрессивному человечеству. Всему общеевропейскому дому и миру. Как стало известно, в Советском Союзе ведется истребление петушков. Особенно зверским погромам подвергаются молодые петушки золотисто-коричневого цвета. Проводит эту беспрецедентную акцию С. С. Гейченко, который уже засыпал их перышками все Пушкиногорье! Вырвем петушков, так необходимых к нашему столу, из кровавых рук «всесильного хозяина» Пушкинских Гор!» А уж финансирует эту акцию Гейченко знамо из каких источников. Хитит и хитит денежки из пожертвованных на ликвидацию последствий урагана...

Так и хотелось все написанное закончить припиской: «Гонорар за эти заметки прошу перечислить на счет О. Петровской». Пусть, подумал, купит себе хотя бы простого синего советского петушка (или курочку), скушает и вдохновится на новое сочинение, которое так же повеселит читателя. Да вот незадача — расчетных счетов псевдонимы не имеют...

Так в чем же дело? Почему газета «Московский церковный вестник», призванная нести людям высокие идеи христианства, отстаивать его этические принципы, разразилась клеветой в адрес настоящего п о д в и ж н и к а? К лицу ли Православной Церкви порочить человека, отдавшего всю свою жизнь служению идеалам добра, света, красоты, истины? Поэтому так беспомощны и смешны эти потуги, поэтому никак не ложится, не прилипает черная краска...

Дело в том, что собственно церковь, видимо, не имеет к такого рода публикациям никакого отношения. И вот почему. Некоторые материалы «МЦВ», помимо воли его редакции, свидетельствуют о том, что газета, недавно возникнув, уже успела приобрести определенную репутацию в церковных кругах. Так, к примеру, редакция горестно сетует на то, что ей было отказано в аккредитации на Поместном Соборе Русской Православной Церкви (1990, № 14). Корреспондентов «МЦВ», как значится в самой газете, не пригласили и на пресс-конференцию новоизбранного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. А когда корреспонденту газеты все же удалось задать Патриарху вопрос о том, как он относится к «Московскому церковному вестнику», он ответил, что «Церковный вестник Москвы должен быть официальным вестником Русской Православной Церкви, отражающим жизнь епархий и приходов во всем ее многообразии». Обратим внимание — «должен быть». То есть таковым он, по мнению Патриарха, пока не является.

Что же такого должна была бы натворить, к примеру, газета «Правда», если бы ей было отказано в аккредитации на очередном съезде КПСС, если бы ее корреспондентов не приглашали на соответствующие пресс-конференции? Совершенно ясно, что такой «афронт» «Московскому церковному вестнику», который является в настоящее время единственным общедоступным многотиражным изданием своего профиля, делается не случайно. Не случайно, к сожалению, и то, что газету эту, как у нас с некоторых пор повелось, взялись выпускать люди, преследующие не высокие, Божьи цели, а с в о и.

ЮРИЙ ЧЕХОНАДСКИЙ



Успенский собор Святогорского монастыря. Фото Юрия Садовникова.

РУДОЛЬФ БАЛАНДИН

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ

Русь, куда ж несешься ты?
дай ответ. Не дает ответа.
Н. В. Гоголь

Теперь некоторые писатели и публицисты ратуют за внедрение рыночных отношений. Таким призывам многие внемлют, надеясь, что наконец-то найден верный путь к спасению нашей страны.

Хотелось бы объяснить, почему я не з а, а п р о т и в очередных панацей от всех бед: п р о т и в строительства капитализма с его рыночными отношениями...

Настоящая революция редко обходится без гражданской войны. А у нас происходит, пожалуй, настоящая, хотя и затяжная, перманентная революция.

Впрочем, по некоторым данным — по числу жертв, разрушениям, развалу народного хозяйства — гражданская война в нашей стране продолжается 73 года. Просто в разные периоды она принимала различные формы. Сейчас она наиболее яростно прорывается на национальных фронтах. Но подспудно зреет нечто более грозное и всеобщее.

Вроде бы все согласны: завела нас кровавой дорогой в безнадежный нынешний тупик наша руководящая партия с ее идеологией марксизма-ленинизма. Тут даже нет смысла называть конкретных вождей. Все они справедливо ссылались на волю партии (реально — партаппарата). И сами были выдвинуты вовсе не народными массами. Вожди всегда помнили, кому обязаны своим положением.

Ну, хорошо, не теми дорогами плутали, не к той конечной цели пришли (хотя кое-кто в нашем обществе пришел именно туда, куда метил, обеспечив себе персональный коммунизм за счет других). И вновь, как прежде, теоретики выбирают направление выхода из тупика. Обсуждаются три проекта, представленные тремя группами экономистов, возглавляемыми именитыми академиками. Казалось бы, и выбор есть, и силы интеллектуальные задействованы мощные, а сомнения продолжают одолевать. Почему?

Да ведь та же структура государства, та же правящая партия, все те же заботы начальства о том, куда повести стадолюдный народ. Правда, на этот раз предполагается цель не идеальная, а реальная: рыночная экономика, многообразие собственности, свобода предпринимательства, демократия... Короче — капитализм.

Встает страна на магистральный путь цивилизации, проторенный всеми развитыми странами. А народ не ликует. Он по обыкновению не верит теоретикам. Не надеется, что на этот — уже который! — раз выведет его партруководство к светлому будущему. Это видно уже по тому, что производительность труда не растет, а снижается, и забастовки только усугубляют экономический развал. Народ не торопится в капитализм. Странно!

Хотелось бы мне высказать соображения о причинах такого нелепого положения. И даже — усомниться в реальности наиболее разумной и обоснованной программы «500 дней». Как неспециалист не смею ее критиковать. Надеюсь, она профессионально добротна. Очень, очень хотелось бы, чтоб она осуществилась. Однако надежд, по-моему, мало. Потому что главная причина наших бед вряд ли связана с экономической структурой.

Пора бы отказаться от не оправдавшей себя гипотезы, будто экономика является базисом общества. Не лучше ли прислушаться к мнению мудрого русского философа Н. А. Бердяева: «Вся экономическая жизнь человечества имеет духовный базис, духовную основу».

Трудно с ним не согласиться.

Без честной взаимопомощи нет экономики, а есть воровство и расхищение богатств природы и культуры. Без дисциплины нет производительного труда. Без труда нет прироста общественного достояния. Без духовного единства нет сплоченного общества. Без доверия народа руководителям нет прочного государства. Без свободы меньшинства нет справедливости. Без приоритета народа над партией нет демократии. Духовное здоровье народа, культурные ценности и природная среда — залог и фундамент общественной жизни.

Впрочем, отвлечемся от теорий. Сейчас и без того теоретизируют все подряд, а прежде всего публицисты, политики, экономисты. Привычно придумываются объяснения тому, что есть, и варианты того, что хотелось бы иметь. Но хорошо бы прежде всего попытаться оценить нашу реальность, а не анализировать идеальные схемы. Каково общественное мнение? Какая расстановка социальных сил в революционный период перехода к капитализму? Кому у нас выгоден этот переход, и кого он не устраивает? Кто в нашей стране боится социализма как системы справедливого — по труду и основным потребностям — распределения общественных богатств?

Обычно предполагается, что наш народ — в массе — подозрителен к капитализму из-за оболванивающей пропаганды (в прошлом), политического и экономического невежества, привычки к безделью. Но причины, на мой взгляд, более серьезны. И вряд ли разумно оглуплять

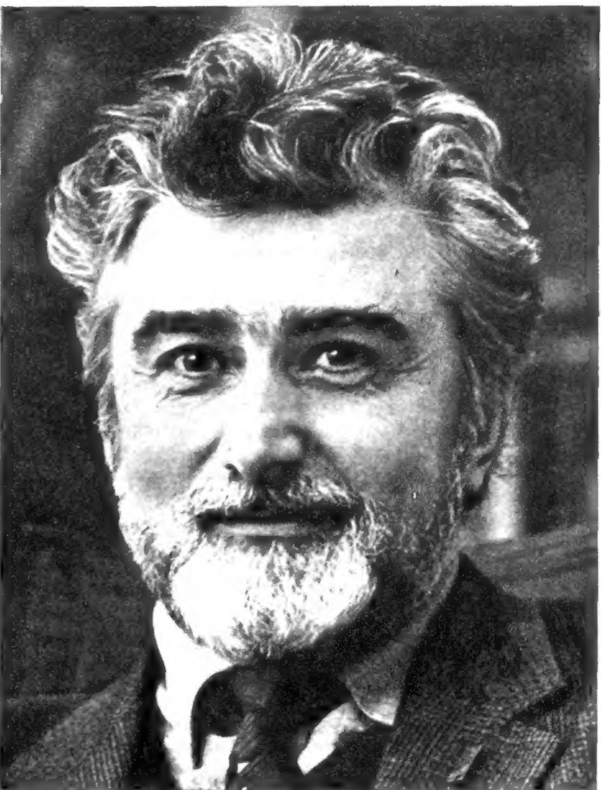


Фото Е. КОКТЫША.

БАЛАНДИН Рудольф Константинович — писатель, геолог, историк науки. Член Союза писателей СССР. Как геолог работал в разных уголках нашей страны: в Забайкалье и на Чукотке, в Средней Азии, Белорусском Полесье, на Кавказе... Автор более тридцати книг; из последних: «Природа и цивилизация», «Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие», «В. В. Докучаев». За последние годы опубликовал две пьесы: о Джордано Бруно и о Максимилиане Волошине. Стремится — безуспешно, а значит и неутолимо — познать взаимосвязь духовной и материальной культуры, историю научных идей, суть и предназначение человека на Земле и в мироздании, живую жизнь нашей планеты и Космоса.

народ. Он очень разнороден. А потому и общественное мнение не столь монотонно, как полагают наши теоретики.

Кто в нашем обществе выгадает от введения капиталистических отношений? Те, у кого крупные капиталы. Не имеющие капиталов (то есть те, кто имел наивность честно работать при так называемом социализме) — пролетарии физического и умственного труда — вынуждены продавать свои таланты и работоспособность. А у кого в нашем многострадальном обществе максимально весомые капиталы и возможности наилучшей жизни при капитализме? У партаппарата и крупных, а то и мелких хозяйственных деятелей. Преимущественно именно у тех, кто сулил народу златые горы в будущем, предпочитая их для себя в настоящем.

Должен признать, все это — вовсе не мое открытие. Подобное мнение не раз приходилось мне выслушивать в разговорах с неглупыми людьми. От них же слышал: больше всех боятся социализма высшие начальники, партаппаратчики, явные и тайные воротилы «советского бизнеса» (точнее именуемого расхищением народного добра), нередко прямо или косвенно связанные с иностранным капиталом. И не зависть к ним в народе. Хуже: ненависть.

К счастью, это еще нельзя назвать гласом народа. Хотя и услышишь порой злейшие высказывания в адрес руководства или даже членов КПСС. Например: «Пора кончать с этими большевиками!» И уже яростные антиленинцы охотно возрождают его лозунг: экспроприация экспроприаторов! А по-русски: грабь награбленное!

Перед этой угрозой партийцы-активисты пытаются попрочнее сплотить свои порядком прореженные ряды. Происходит это на глазах народа, который отчетливо ощущает против кого — не против же империалистов США и ФРГ! — и за какие ценности (уж определенно не духовные) готовы выступить эти ряды. В ответ экстремисты из народных масс тоже объединяются и смыкаются в противостоящую силу при молчаливом одобрении подавляющего (и вечно подавляемого) большинства трудящихся.

Национальные конфликты отчасти отвлекают общественное мнение. Не прекращаются (а то и разжигаются) распри между народами, можно сказать, по горизонтали. Кому это выгоднее всего? Не народам, конечно, ввязавшимся в гражданскую резню. Им это все не сулит ни более богатой, ни более достойной жизни. Недаром же в периоды народных волнений начинаются штурмы райкомов и обкомов. И тогда-то вводятся войска.

Но это хитро и подло продуманное или невольное стравливание народа с народом лишь временно затеняет, но внутренне все более обостряет роковой и чреватый бунтами конфликт: между верховодителями (их помощниками, подголосками, вооруженными слугами) и ведомыми, начальниками и подчиненными, вождями (а они у нас, большие и малые, исчисляются сотнями тысяч) и массами. И чем сплоченнее противостоящие социальные группы, чем безнадежнее противоречия между ними, тем реальнее вспышки братоубийственных погромов. И тут на авансцену могут выйти экономические факторы.

Цены продолжают расти, хотя и теперь они непомерно велики. Богатые продолжают воровски обогащаться, а бедные — беднеть. Внедрение в общественное сознание идеалов самого низкого, подлого, бездуховного и бессмысленного бытия, продажности, воровства и обмана разрушает социальные связи, плодит преступления, разжигает зависть и алчность. Десятилетиями насаждая взаимную подозрительность и ненависть, презрение к добру и высшим духовным ценностям, поклонение бездарным и беспринципным вождям, обуянным жаждой власти и личного благополучия, вряд ли разумно ожидать от этаких посевов добрые всходы. Злом порождается зло, ложью — ложь. В таком круговороте мы существуем. И все серьезнее опасения, что мирного, невзрывного выхода из него ожидать не приходится.

Нынешняя политическая ситуация внутри страны резко обозначила противостояние наших извечных двух партий: руководящей (Партия) и подчиненной (Народ). Большинство избирателей голосуют за тех, кто выступает против партаппарата. Гонения «сверху» на Ельцина — и он побеждает на выборах. Гонения на Гдляна и Иванова — они народные избранники. Гонения на бывшего генерала КГБ — тотчас его избирают в народные депутаты. Для политиканов беспроигрышная игра: для успеха в массах достаточно стать — хотя бы на словах — в оппозицию КПСС, партаппарату, идеологии марксизма-ленинизма. И те, кто привык первыми перестраиваться при всякой смене власти или политического курса, прекрасно учли это: Ю. Афанасьев, Г. Попов, А. Собчак, А. Ципко, В. Коротич... Многие!

При нынешнем накале страстей, остроте политических противоборств, нестабильности предреволюционной ситуации выиграть борьбу за власть, как это бывало в истории, могут самые беспринципные, лживые, жестокие деятели, ловкие демагоги. Хотя на первых порах могут объявиться и вдохновенные фанатики, и крепкие народные лидеры. Нельзя же забывать, в частности, уроков польской Солидарности. Но у нас все-таки своя специфика. Интуиция народа ее уже уловила. Наша система за долгие десятилетия сформировала мощный многомиллионный класс «подпольных капиталистов», обычно именующих себя пламенными коммунистами. (Они подлинные антикоммунисты уже потому, что не делятся с окружающими своими богатствами, что положено делать коммунистам, а напротив — накапливают личные блага за счет трудящихся.) Среди них есть, конечно, и беспартийные, но и они намертво связаны с гос-хоз-партаппаратом. Их всех панически страшит сталинизм. Это понятно. Репрессивный режим перемелет их в первую очередь. Но и народовластие их не устраивает: придется либо таить, либо отдавать свои неправедно нажитые богатства. А так как эта категория людей ориентирована на мещанские ценности, такая перспектива их тоже не удовлетворяет.

Революционеры после победного переворота поднялись из подполья к вершинам власти. Ныне их преемники после перестройки готовы радостно стать из подпольных откровенными капиталистами. Они и сейчас ворочают миллиардами рублей, в личном владении имея сотни тысяч, а то и миллионы. Для них капитализм куда приманчивее персонального коммунизма. Главное — безопаснее.

А народ у нас беспощадно обобран. Он обозлен. Все отчетливее проявляется осознание: нас обманули! Все посулы, начиная с ленинского обещания коммунизма через 15 лет (в 1920 году), оказались обманными. Природные богатства страны существенно подорваны. Экологическая обстановка критическая во многих регионах. Даже вооруженные силы, на которые тратились гигантские суммы, оказались в упадке. Стремительно развалилась мировая социалистическая система. В стадии распада находится сам Советский Союз... Все это, понятно, не увеличивает доверия народа к руководителям. А потому откуда бы взяться трудовому энтузиазму? Или хотя бы добросовестности? Но без труда нет народного богатства. Безнадежность...

Мне кажется, надо сначала ясно понять: трудящиеся подозрительно относятся к планам построения капитализма в нашей стране теми, кто совсем недавно руководил строительством коммунизма и обличал капиталистические порядки. Теоретически свободный рынок хорош для всех. Но реально он имеет смысл только для тех, у кого есть что продать и на что купить. И потому, как мне представляется, народ, обобранный государством и спекулянтами, не поддерживает здравую идею перехода к рыночной экономике.

Наша страна слишком долго шла «своим путем». У нас сформировалось своеобразное общество с особой экономической системой, социальной структурой, духовной культурой (или, если угодно, бескультурьем) и т. д. Во многом это — уродливое общество. Однако оно, тем не менее, сохраняло определенную стабильность. Прежде чем его рушить, следовало бы построить новые, более прогрессивные и работоспособные структуры, а также подготовить общественное мнение. К сожалению, за 5 лет перестройки этого не сделано.

Наконец, еще одно соображение. Даже при самых благоприятных условиях нам в ближайшие годы вряд ли удастся построить нормально развитое постиндустриальное общество, существующее в развитых странах. Пока что мы идем к какому-то убогому первобытному капитализму с характерными для него массами пролетариев, группами экстремистов, явными правителями-демагогами и тайными правителями-дельцами, владетелями воровски нажитых капиталов. Это как раз такая нестабильная структура, которая чревата революциями. А они свершаются не по указам начальства, а по воле народа.

Что предпринять, чтобы снизить социальную напряженность? свести на нет опаснейшее противостояние крупных общественных групп? нормализовать духовное состояние общества? подготовить благоприятную обстановку для осуществления радикальных экономических мероприятий (или, по крайней мере, одновременно оздоровлять духовную и экономическую жизнь нашего общества)? Или даже так: как нам перейти к развитому капитализму, вернее, к постиндустриальному обществу без кровавых социальных катастроф?

1. Необходимо прекратить противостояние партии и народа.

В других однопартийных диктатурах (поучительный пример ФРГ, Италии, Японии) эффективным был путь запрещения. Он логичен, хотя и парадоксален: демократия торжествует, когда запрещают партию, подавлявшую демократию. Ведь такая партия имеет огромные преимущества и привилегии, достигнутые за период своей диктатуры.

Сейчас у КПСС такие гигантские преимущества. Не случайно ее Генсек является (по совместительству?) Президентом страны. Он как бы олицетворяет в масштабах СССР единство Ельцина и Полозкова.

Что же делать в нашем случае? Быть может, перейти от однопартийной системы к беспартийной. Партия должна слиться с народом, стать общественной организацией, не претендующей на государственную власть и капиталы. Коммунисты? Значит, делитесь с народом своими богатствами — материальными и интеллектуальными!

2. Переход к рыночной стихии неизбежен, ибо это одно из проявлений свободы личности, избавленной от ига Государства. Но многим *ли лучше* иго Капитала? Трудящиеся, попав из огня да в полымя, вряд ли покорно перенесут и это испытание. При неуклонном росте цен, нехватке товаров, разгуле беззакония, усиливающемся раздражении и возмущении населения такой переход воспринимается как очередной нелепый эксперимент бестолковых руководителей. И даже «маленькая хитрость» правящей прослойки — перенос негодования населения на нынешний Совмин СССР и его Председателя — не снизит напряженность. У нее слишком глубокие корни.

Как быть? Прежде всего и незамедлительно: использовать немногие, но существенные в данной ситуации достоинства централизованной командно-административной системы для оперативной жесткой борьбы с расхитителями общественного добра, спекулянтами, уголовниками, участниками погромов. Преступления, прежде всего экономические, разлагают общество, уменьшают количество и качество труда. Слишком немногие готовы добросовестно трудиться в системе, где значительно легче воровать, расхищать, спекулировать.

Еще раз повторю: путь к рыночной экономике лежит через честное партнерство и производительный труд — источник общественного богатства. Только в таком случае рынок становится средством взаимодействия, взаимопомощи, взаимного обмена, а не обмана.

3. Не следует форсировать революционные социальные преобразования и по другой причине: закрытие экономически и экологически нерентабельных предприятий, а также издержки конкурентной борьбы освободят большие массы трудящихся, которые образуют взрывоопасную смесь. Учтем, что в ней будут находиться, в частности, представители военного ведомства. Надежды на трудоустройство этих людей слишком малы: уже сейчас центральные власти теряют контроль над подобными процессами. В том первобытном капитализме, к которому нас ведут, господствуют жестокие законы погони за наживой любой ценой. Тут выгадывают примитивные и беспринципные (это заметно уже сейчас). Такое ужесточение «борьбы за существование» ничего хорошего не сулит.

Хороший хозяин, не ломая старую развалюху, доживает в ней до готовых первых помещений нового дома. И не на старом фундаменте строит, а на новом.

4. Что означает капитализм, социализм, коммунизм в приложении к реальным общественным структурам? Не знаю. Подозреваю, что в действительности таких систем в чистом виде нет, подобно идеальным человеческим *типам.* Есть — *индивидуальности.* Но, затрудняясь с выбором «этикетки» для нашей системы (госкапитализм феодального типа?), я понимаю, что означает с т р о и т е л ь с т в о некой социальной структуры диктатом сверху, по теоретическим установкам и под руководством вождей и прочих «слуг народа».

Мне приходилось наблюдать поучительную картину: огромное стадо серых баранов следует за черным козлом. Сомневаюсь, чтобы такая модель подходила для человеческого общества. Не надо питать иллюзий, будто наш народ покорно следовал за очередными вождями, надеясь попасть в коммунистический (или капиталистический) рай на земле. Из тысячи людей, с которыми меня сталкивала судьба, подобной стадностью сознания обладали лишь считанные единицы, да и те, подозреваю, лукавили.

Итак, теоретики наши исходят из своего понимания желаемого общества и вновь стараются вести куда-то народ. Однако человеческая масса слишком разнородна и инертна, чтобы добровольно разом повернуть в теоретически предначертанную сторону. Тут требуется надежная лагерная дисциплина. А если ее нет, надо исходить из реальности, способствуя эволюции общественного сознания и экономики, а не революционным скоропалительным перестройкам.

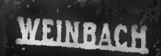
Открою одну тайну: наш народ давно осознал, что руководители успешно строят то общество, которое их, руководителей, вполне устраивает. Вернее, устраивает ту правящую прослойку, которая выдвигает очередных руководителей. Эта прослойка при необходимости легко заменяет вождей (вспомним пример Хрущева), делая из них козлов *отпущения.* Как справедливо писал князь-анархист П. А. Кропоткин: «Народ всегда чувствует истинное положение дел, даже тогда, когда он не может ни правильно его выразить, ни обосновать предчувствия доводами».

5. О личных мотивах. Я не могу быть противником капитализма хотя бы уже потому, что это — естественный продукт общественного развития. Как у всякого творения людей, и у этой системы есть свои недостатки и пороки. «Нет в мире совершенства», — вздохнул мудрый лис в сказке Сент-Экзюпери. Нам следовало бы признать эту нехитрую истину. Бессмысленно несовершенства нашего «социалистического» уклада усугублять несовершенствами первобытного капитализма, давно пережитого, подобно детской болезни, всеми экономически развитыми странами. Если нам суждено перейти к капиталистическим отношениям, то пусть этот переход будет естественным, а не насильственным.

Спору нет, на то и теоретики, чтобы теоретизировать. Но вы представьте себе, что свою неповторимую своеобразную жизнь пришлось бы вам постоянно переиначивать по чьей-то указке. А при очередной неудаче, когда вы расшибаете себе лоб о стену или падаете в яму, двигаясь — подневольно! — по указанному пути, вам тотчас объясняют: там была некоторая теоретическая неувязочка, так что теперь повернем... Куда ни поворачиваем — нет нам удачи, нет нормальной человеческой жизни.

Так может быть, не надо нам ничего строить: ни коммунизм, ни капитализм?

Ничто нам не поможет, если не будет взаимного согласия, надежды на достойную жизнь, веры в добро и справедливость, опоры на разум и совесть.



ДОРОГОЙ
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени наших читателей сердечно поздравляем Вас с семидесятипятилетием! Доброго Вам здоровья, счастливых творческих удач. Пусть Бог хранит Вас, наш русский восхитительный Гений!

ВЕЛИКИЙ ГЕОРГИЙ

ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

Долгие годы «гением» и «великим», причем по всякому даже малостоящему поводу, у нас называли одного человека. Все остальные, если даже уровень их, к примеру, художественных достижений был не просто выдающимся, а гениальным, такого высокого общественного и профессионального признания не удостаивались... Ни Шолохов, ни Шостакович, ни Прокофьев, ни Корин, ни Твардовский не услышат уже о своем творчестве как *великом отечественном и мировом свершении*. Но есть человек — наш современник, который дожил до открытых времен и по достоинству должен быть оценен как гений музыки. Это Георгий Васильевич Свиридов. В декабре ему исполняется семьдесят пять лет. Мы знакомим вас со статьей другого крупного отечественного композитора и музыканта Валерия Гаврилина, написанной, правда, в застойные времена и без высоких эпитетов, но достойной *щемяще русской, душевной мелодии Свиридова*. Трудно поверить, что эта божественная музыка сотворена человеком, живущим рядом с нами.

Весной чудесно. Разные светлые мысли, удивительные видения: корова с золотыми зубами, поездка на бульдозере за анемонами, цветущие деревья. Роскошный мат, как ни печально, по неизъяснимости чувства ближайший родственник музыки. Тут же и песня — соседи сажают картошку.

Мир, спокойствие, благодать. Начало годового круга. Мы сидим в огороде. Вне нас — поэзия (по Твардовскому). Мы ее впитываем. Поет соловей. В теплой земле зашевелились, отходя от сна, зерна яровых.

...Кто теперь садится без штанов, голым задом на пашню, определяя температуру и влажность почвы? Кто мнет землю в руках, кто пробует ее на вкус? Чудаки. Кто пашет по старине, без отвалов, и годами носит семена на груди, чтобы они, напитавшись выделениями человеческого тела, отблагодарили за это чудесно-неслыханным урожаем? Чудаки. Кто ужасается, что нет больше в Сибири арбузов — неважная ягода, ни вкусу, ни весу, что за потеря? Но пропал ген морозоустойчивости, пропал, навсегда потерян для человечества, вот и огорчаются чудаки! Пропажи, пропажи — растительные, животные, потери земельные, воздушные, водные. И потери нравственные. Мало стало чудаков, которые и не чудаки вовсе, а просто люди, имеющие особо острое чувство ответственности за жизнь и перед жизнью.

Весной, когда особенно ощущается тяга всего сущего родиться, возродиться и расцвесть, когда среди черемух заливаются не золотые, а настоящие пернатые орфеи, и сама душа поет, делая втору неистребимой музыке природы, — с особой нежностью думается о таких вот ответственных чудаках — самых заботливых пестунах этой неистребимости, без которой захирело бы и зачахло все человеческое в человеческой душе.

Такой чудак есть и среди композиторов. Это Георгий Свиридов. Странный, одиозный. Примитивный. Не развивающийся. Отсталый. Вчерашний день. Национально-ограниченный, «вносящий вклад в вокальную и хоровую музыку». Это — с точки зрения одних. Великий, прекрасный, могучий, неповторимый — это с точки зрения других. Человек крупный, с тяжелой поступью и тяжелым, прощупывающим взглядом небольших темных глаз. *Во всем облике есть нечто от большого зверя* (по Бунину), что отличает только очень породистых людей и является признаком сильно развитой первопамяти, способной не только обращаться глубоко вспять, но предвидеть, заглядывать вперед себя. Такая память — удел немногих. Благодаря ей Л. Толстой впервые в мировой литературе описал не только ощущения новорожденного, но и момент смерти прожившего жизнь человека.

Путь открытия избрал и Г. Свиридов. Он шел к нему упрямо, не гладко, порой мучительно и безотчетно, но упорно. Не примыкал всерьез ни к какому направлению, не поддавался никаким стилистическим и жанровым поветриям, кажется, не брал на веру ни одной эстетической концепции, на зубок опробовал качество продукции каждого светила от сочинения (а их было немало — отечественных и зарубежных), искал не истин доказанных, а истин настоящих и почти неожиданно явился во всей силе и красоте, совершенстве, уверенно идущим по своей особенной дороге и направлении, которому уже не изменял, ибо ему уже было ясно, что для того, чтобы знать, куда идти, надо знать, откуда идешь.

Откуда он шел?

Если антику времен Ликурга предлагали послушать певца, который поет, как соловей, антик отвечал: «Зачем? Я слушал настоящего соловья!» В ответе этом здоровое отношение здорового человека к искусству жизни. Страх *остаться наедине с собой, наедине с природой*, неумение и боязнь думать, неспособность увидеть, желание (из чувства самосохранения) избежать активной добродеятельности заставляет людей укрываться в мир искусства и требовать от него всего того, чего лишились, добровольно разрушив гармоничную связь с живой действительностью, — и воздуха, и соловьев, и бури, и натиска, и мужества, и любви, и нравственного и даже физического здоровья. «Что же в результате?» — спрашивает М. Бахтин. И отвечает: «Искусство слишком дерзко-самоуверенно, слишком патетично, ведь ему нечего отвечать за жизнь, которая, конечно, за таким искусством не угонится. Когда человек в искусстве, его нет в жизни. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность жизненных интересов. Вдохновенье, которое игнорируется жизнью, не вдохновенье, а одержанье».

Русская литература запечатлела массу именно вдохновенных служителей музыки. Бунинский *слепой* «рыльник» (лирник), недоучка-поэт Федюша, живший ожиданием, что после каждого стиха Пушкина или Некрасова мир вот-вот перевернется и засияет, простонародные певцы, виденные и слышанные Г. Успенским, собиравшие тысячные толпы потрясенных людей, М. Кривополенова, воспетая Б. Шергиным, — все они, бессребреники, *люди чистые в помыслах*, несли духовное, братское чувство, а ясная музыка не нервы щипала, а прямо проникала в душу. Все это Свиридов знал и принял близко к сердцу. Первопамять открыла ему силу простоты и заставила по-новому взглянуть на самый древний, самый надежный и действенный инструмент — человеческий голос, хотя это новое было возрождением самой древней культуры пения — строгого по голосу, приспособленного для братского музицирования, и строгого по содержанию, никогда не переходящего черты, отграничивающей то, что является общим для всего товарищества: все, что за чертой, составляет область сугубо личного и должно оставаться тайной. Таков закон народной жизни, который никогда не преступал композитор Свиридов.

В этом — его первое новаторство, в этом — начало наступательного движения на «несерьезность жизненных запросов». И разговоры в душе: «Чего-нибудь не так просто правдивого, не так ясного, чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что бы не *так поднимало бы нашей умеющей прилаживаться* к обстоятельствам совести» (Г. Успенский) — его уже не сбивали.

Три принципа подлинного искусства, сформулированные Л. Толстым, стали руководством для его работы: «свежесть чувства, ясность выражения, искренность». Свежесть он находит в том, что будит забытые, добрые чувства, *пробуждает человеческую память* колоколами своих гармоний, показывает хрупкую и вместе могучую красоту природы; при этом уважение его к слушателю бесконечно, он не задерживает его внимание безнуждно, говорит только о том, о чем иначе не скажешь, и при этом выступает как истинный лаконик: состояния сжаты, спрессованы, но, выпущенные в сознание слушателя, разрастаются там до своих подлинных, огромных размеров и делают свое мудрое, большое и важное дело — очищают желания, раскрывают внутреннее зрение, заставляют понять добро несуетности, чистого помысла. Звуковая ткань его творений всегда поражает своей безыскусственностью, в ней нет украшательства, *лишних*, хотя бы и эффектных движений, она внешне очень неброска. Но звук к звуку так точно подобран, так чист, так верен, что сразу понимаешь — так говорят правду, так говорят самое главное для жизни. Иной раз покажется: можно бросче, громче, пикантнее. Но свиридовская формула уже пленила, и понимаешь: только так! — потому что мысль

и форма у Свиридова в дивной, неразделимой гармонии, соразмерности.

Все мы слышим в детстве простые родительские наставления: не лги, не кради, не трусь, будь добрым, не жадничай. Проходят годы, наши мысли и убеждения становятся сложнее, богаче, разнообразнее и запутаннее. И крепко запутавшись, отыскивая путь спасения, перебирая всю человеческую мудрость и нервно прилаживая ее к себе, вдруг вспоминаешь старинные родительские заветы, и как светом небесным тебя осеняет: да ведь только это и нужно было не забывать и жить по этим правилам. Так и со Свиридовым: он напомнил, что есть в жизни некая вечная, незабвенная, а потому легко забываемая, как все само собой разумеющееся, суть, о которой нельзя говорить иначе, как нельзя плюнуть в лицо матери, как нельзя, подобно Хаму, оголить отца своего. Поэтому ни один человек, заботящийся о самоусовершенствовании, умеющий отличать прогресс от поступательного движения по инерции, не может не обратиться к делам Свиридова, чья музыка рассчитана на духовный рост человечества. Так же выглядит при ближайшем рассмотрении «вчерашний день», примитивизм и отсталость Свиридова. «Наше оружие — наша музыка. И пусть нас будут бить, умереть мы должны с этим оружием в руках», — сказал сам композитор. И не сдается. Если художник тянется к свету, время его не согнет — даже на крутых откосах деревья вырастают прямо.

Лето. В густой листве тополей возятся вороны. Все вокруг самовыявляется — морковка на грядках, ягоды в лесу. Сосед-пастух сочиняет в рабочее время музыку и вечером со слезами спрашивает: «Лексаныч, а как лучше?» Газеты не успевают сообщать о фестивалях и конкурсах. По ночам в лесу стреляют. Пуля — тоже малая форма. В воспоминаниях об А. Твардовском М. Исаковский пишет про деда, который в тридцатиградусную жару тащил в дом огромную вязанку березовых дров и топил занимающую четверть избы печь. Вся эта большая и неудоботерпимая форма разогревалась для того, чтобы дед мог сварить себе яйцо. Страсть к самовыявлению не знает пределов.

Свиридов не одинок в своих исканиях. Его очень многое роднит с Твардовским — бескомпромиссность творческая и человеческая, презрение к украшательству речи, добротолюбие и сугубый интерес к тому, что является общим для всех людей. Именно для всех: зачитанные экземпляры «Теркина» находили у убитых немцев, знавших по-русски. Причем и Твардовский, и Свиридов обращаются именно к сердцам и памяти, заставляя их работать, не позволяя лениться, и этим самым выставляют заслон против псевдоискусства, которое со своими темами полового влечения, гордости и как итог — тоски жизни обращается не к сознанию, а к инстинктам человеческим, не требует для восприятия ни напряжения, ни внутренней работы, ни культуры, ни мировоззрения, мало-мальски выходящего за рамки, очерченные требованием инстинктов, то есть не дает духовного роста. Всеми помыслами и делами выступая против псевдообщительности, они сделались подлинно общительными — на уровне духовном.

Твардовский стал для Свиридова сильной моральной опорой, и композитор говорит о нем всегда с восхищением и нежностью. И не вспомнить о нем в связи со Свиридовым нельзя. Это два современных столпа нашей национальной духовности, для которых поэзия — не досужая выдумка для красного словца, для времяпрепровождения, не одежда для парадных случаев, не доходная профессия, не способ быть неузнанным, а действенная сила, которая должна быть воспринята людьми не завтра, не через десять, сто лет, а немедленно, потому что завтра может быть поздно. Так люди строят дом — он нужен сейчас, иначе жить нельзя. Но жить в нем будут многие поколения, стоять он будет десятки, может быть, сотни лет — в зависимости от материала и качества постройки, и он всегда будет нужен.

Свиридов обойден чисто структурным музыковедческим анализом. Да и немудрено. Вроде ничего нет. Простые такты, суммированные трезвучия, длинные выдержанные педальные звуки, формы незатейливы, как одноклеточное. Откуда же сила, силища, откуда вызывающий слезы восторг? Охватывающая душу власть прозрения? Вероятно, секрет внутри самой клетки, в генах, составляющих ее цепочки и связи.

Прежде всего — язык. Его ошибочно называют то крестьянским, то романсово-городским. Это неверно. Это русский музыкальный язык. Деревня — детство России, многих славных ее детей. Крестьянский язык — родина нашего сегодняшнего языка. Язык Свиридова — современный музыкальный русский язык в его наиболее незамутненном виде, новые фонды, новые резервы, ранее не использованные, им открытые и развитые, язык в своем движении, в своей реакции на современность, в обновляющейся способности запечатлевать процесс познания мира, в котором участвует все культурное человечество, все народы, все нации. И на этом языке Свиридов выступает в своем народе как представитель всего человечества и во всем человечестве — как представитель своего народа.

Вирус модной «самости» не коснулся его творчества. Собственное «я» — лишь его рабочий инструмент; принципы — не шоры на глазах, а точный прибор, позволяющий верно разглядеть и оценить явление. Старинные мастера говорили: «Показать красоту камня, показать красоту дерева, красоту металла», и никому не приходило в голову сказать: «В этом куске малахита я хочу показать себя». Мастер лишь подчиняется материалу, подсмотренному в нем скрытому образу и идет в поисках его, как собака по следу. Отсюда редкая органичность, естественность свиридовских творений, они кажутся существовавшими всегда. Поэзия вне нас. Мы ее впитываем. Это важнейшая установка Свиридова-художника, ответственного перед жизнью, защищающего музыку от сползания в трясину «чистого» искусства. Душа художника как калейдоскоп со множеством зеркал, и отраженные в них узоры бесконечны в своем разнообразии и меняются от малейшего движения. Это и есть собственное видение, только душой, без других специальных приспособлений. Поэтому его зрение — «всехное» зрение, и каждый вдумчивый человек, слушая любимые страницы свиридовской музыки, с упоением скажет, перефразируя Твардовского: «Как это мы со Свиридовым замечательно чувствуем». Свиридов не покоряет слушателя, он его возвышает. А чем больше человек помогает возвыситься другим, тем больше возвышается он сам.

...Осень. «По-осеннему кычет сова...» Гармошечка. Отчий дом. Дорога. Колокола. Три единственных гармошечных аккорда, поставленных один на другой, — и заполнено все гигантское пространство от родной Руси до высей заоблачных. Небывалая стела, звучащая антенна, соединяющая мир земных людей с миром отлетевших энергий, миром нашей первопамяти, миром нашего будущего — вспоминаем ли прошлое, думаем ли о будущем — мы смотрим в небо. Познание света и тьмы человеческой жизни, вера, надежда, любовь, прозрение новых солнечных начал, божественные симфонии с учениями мудрейших сынов человечества — таковы плоды свиридовского сада музыки. Он ликует и плачет, скорбит и утверждает, но вместе с ним то же испытываем и мы. Свиридов входит в нас, потому что мы вошли в Свиридова. Свиридовские колокола указывают путь к тому волшебному месту, где зарыта знаменитая ныне на весь мир волшебная зеленая палочка, отыскав которую, люди узнают, как стать счастливыми, станут как «муравейные братья».

Люди желают жить такой жизнью, от которой не хотелось бы спрятаться, забыться, не хотелось заглушить, удушить, утопить в пьяной одури воспоминания о каждом прожитом дне, неделе, месяце и так круглый год, и год за годом. Свиридов, понимающий новаторство как ответ художника на новые запросы человечества, неукоснительно улавливает их еще в зародыше и выдвигает новый идеал, показывает его красоту так, что для слышавших становится невозможной сама мысль о том, что этого может не быть, что это может исчезнуть, что об этом можно позабыть. Кажется, что музыка Свиридова не сочинена, а выросла, как вырастает сама истина. И Свиридов никогда не выращивает того, из чего неизвестно



что вырастет. Если пока нет возможности вычислить результат дела — лучше не делать. Так учил Лао-цзы, так повторяли за ним многие великие гуманисты. И поэтому и современное, к чему бы оно ни относилось, Свиридов принимает не огульно, а разделяет на дурное и хорошее, поддерживая доброе и выдвигая заслон злому.

Идее неудержимо вырастающих потребностей, когда каждый обеспеченный человек в высокоразвитых странах становится волей-неволей Катоблепом, пожирающим свою ногу и не понимающим, что пожирает себя, Свиридов выдвигает идею спасения природы, умеренности в страстях, целомудрия, но не декларативно, а всем строем своей музы — могучей и скромной, прозрачной, как чистый воздух, и густо-ароматной, как цветущие луга, памятливой к прошлому, почтительной к истории и коленопреклоненной перед высокой духовностью светлых гостей человечества.

Когда в обществе появляются негативные процессы, расцветает зараза эгоизма — первым страдает хоровое искусство, искусство братского общения. Свиридов мужественно отстаивает это древнее, прекраснейшее искусство и создает непревзойденные шедевры, в которых не только возрождает богатейшие национальные традиции во всем объеме, от знаменного и партесного, но и двигает их далеко вперед, разрабатывая новые эмоциональные системы, мелодии, гармонию, тембры, ритм, и все это в чеканно законченных формах. Причем не взамен радостей реального бытия, и не в обмен на них, а на пользу им: душа делается открытей и бережней.

В области камерной лирики Свиридов утверждает культуру пения здоровым, красивым голосом — наиболее консервативную, но и наиболее объективную, здравую, понятную и приемлемую большинством слушателей, наиболее вневременную, интернациональную, имеющую наибольший запас прочности и способную сохраниться бесконечно долго, если, конечно, не забывать за ней ухаживать.

Это важно в наши дни, когда изобретено множество жаргонных, частных, зачастую вульгарных манер звукоизвлечения, особенно в сфере легкой музыки, когда не поймешь, кто поет — сексуальные ли маньяки или еще не совсем пришедшие в себя наркоманы. Вот где дерганье за самые чувствительные кончики видовых инстинктов обывателя, выработка атмосферы, где каждый — и артист, и слушатель — всего лишь соучастник звукового одурманивания, где никогда не родится эффект братства — самое главное и высокое, ради чего сочиняет Свиридов. Он никогда не подкармливал обывателя, серого героя всех времен и народов, ленивого душой Наполеона, желающего царствовать в мире только с помощью того, что не стоит усилий, потерь, труда и страданий, жаждущего признания его таким, каков он есть, и ищущего опоры и поддержки своим устремлениям всюду, в том числе и в культуре. И находит. Вот я в драгоценностях — доставай и ты; вот я в несусветных нарядах — имей и ты; вот я некрасиво кричу некрасивым голосом — такой и у тебя; вот я показываю бедра — и у тебя есть такие; вот я прыгаю и дергаюсь — и ты можешь; вот я горжусь — и ты гордись; я в лучах славы — и ты славный! Вот я еще прыгну — и ты прыгни! Вот так — и ты так! И не услышат они грозных слов Аристофана: «Если кто позволял себе скачки, вычурные трели и переливы, того щедро награждали палками за то, что осквернил дар музыки».

Вероятно, Свиридов знал это от рождения. Злободневный дар, какая уж тут отсталость... У него разговор неожиданный, то громкий, то еле слышный, то резкий, едкий, то вдруг сразу осторожный, таинственный, он одновременно доверчив и подозрителен, открыт и замкнут, воинственен и раним. Кажется, внутри его постоянно работают какие-то вулканы, которые каждую минуту все переворачивают наоборот, и он переживает и прорабатывает для памяти вообще все состояния, отпущенные богом человеческой памяти. Он очень добр (к добрым), болезнен к фальши и двоедушию и совершенно лишен зависти. Иногда очень сух, но без тени заносчивости, ибо «каждый заносится настолько, насколько у него не хватает разума». У него строгий римский профиль, профиль цезаря. Он — цезарь российской музыкальной поэзии. Он точно разгадал тайну поэтических темпов Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского и Есенина, а в гениальном хоре «Об утраченной юности» — тайну гоголевских темпов, что позволило ему найти верно отвечающий звуковой ряд и дать непревзойденные образцы музыкального истолкования русской поэтической мысли, углубило познание ее смысла и стало одним из величайших открытий не только музыкального искусства, но и всей культуры в целом. Мятущийся в поисках, он неколебим в находках. Одна к одной, они мостят его путь. Здесь все ясно, прочно, правдиво и совершенно необходимо. Свиридов знает, что непонятно лишь то, в чем много натяжек, условностей, где решение только подогнано под ответ и совершенно с ним не сходится, и все произведение от этого — не более чем звуковой муляж, нечто исполняющее обязанности музыки на основании многих оговорок, объяснений, поправок, скидок и многих защитительных речей.

Строго различая психологию того, чья профессия — чувствовать, от психологии широкого слушателя, который множество впечатлений извлекает не из стороннего наблюдения, а, так сказать, ежедневно бьясь о них душою и телом в тысячах своих будничных забот, Свиридов дает ему только то, мимо чего проносит сутолока ежедневности, когда в спешке можно позабыть нечто такое, без чего мучения жизни потеряли бы смысл («Гимны Родине», «Светлый гость»). Причем принципы свиридовской общительности корнями уходят в традицию русской художественной нравственности: «Каждый человек, взятый отдельно, может являть из себя загадку, неразрешимый кроссворд; взятые сообща, люди обретают определенность математических величин» (Г. Успенский).

Свиридов всегда обращается к сообществу людей и потому всегда точно знает, что говорит, и потому всегда говорит точно. Он созвучен соборности, он соборен и потому чужд какого бы то ни было пустозвонства. Он счастливо не увлекся встревожившей мир «игрой в бисер», его не разъели метастазы эпохи «великого блефа», он не подменял мысли словами, напева — нотами, открытий — изобретениями, не испугался, когда настало время великого прожигания музыки, все новых и новых средств ее потребления при почти полном отсутствии накопления. Он идет навстречу всему, не прячется и побеждает. Это не те частые победы, которые одерживают наши композиторы над слушателем, когда слушатели смятенно отступают и больше сюда уже не вернутся. Это не победы, одержанные с помощью воинствующей и хитрой сводни-рекламы. Это победы, которые одерживает мудрость над глупостью, правда над кривдой, братство над толпой, победы, которые приносят все новых и новых друзей.

Умнейший Мельников-Печерский записал: «Мы к старости выслуживаем лицо, как солдаты Георгия». Георгию Свиридову — семьдесят пять лет. Какое удивительное лицо он выслужил! Но самое замечательное, что наша культура, наша музыка «выслужила» такого Великого Георгия, каков есть Георгий Свиридов...

Зима. Вспоминаются мальчишеские голоса и завораживающее: «Снег идет, снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани...» Вечер. Снег не идет. Сегодня будет лютый мороз. Сегодня ночью погибнут сады. Сегодня ночью по всей России погибнут сотни престарелых брошенных российских матерей, погибнут, отогреваясь на оледеневших камнях печей, которые некому истопить. В кромешной тишине гулко взрываются рельсы. Стоят электрички. Голубыми всполохами зажигается то там, то сям хрустальный воздух — лопаются линии электропередач.

В избе тепло. Топилась печь, тихо играло радио: виделся большой многоярусный зал. Тускнели сусальные золотые завитки, покашливали нарядные, душистые зрители, звуки разложенных аккордов слетали со струн арфы, наслажденно пели скрипки, и в прицельном пятне прожекторов энергичная женщина танцевала танец Смерти.

Скорей бы весна...

КУЛЬТУРА

Традиции.
Духовность.
Возрождение.



К 100-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама. Стр. 26.

МИХАИЛ ПЕТРОВ

НЕТЕРПИМОЕ БЕСПРАВИЕ

Отношение столицы к литературной провинции как к явлению вторичному, несамостоятельному — общеизвестно, хотя вряд ли бесспорно. И небезобидно, если учесть, что вслед за столицей к этой соблазнительной мысли потянулся и Ленинград. И ленинградское телевидение, и местная печать вдруг дружно заговорили о великом городе с областной судьбой, о городе, в котором и писатель достоин каких-то особых привилегий, и даже о «вольном» городе. Одно выдает: стремление собственные достоинства показать на фоне провинциальной серости «чужих». Вот стенограмма открытого партийного собрания Ленинградской городской писательской организации, посвященного судьбе журнала «Ленинград». Отрицая самую идею нового журнала «Ладога», обещанного правлением СП РСФСР Ленинградской, Калининской, Новгородской и Псковской областным писательским организациям, один из коллег-писателей из городской писательской организации, Валерий Попов, выразил это отношение так: «Поразительна любовь Гидаспова к псковским, новгородским и калининским писателям, но вряд ли он при всех своих консультантах назовет хоть одного из них...» (см. газету «Ленинградский литератор» от 14 февраля сего года).

Дело тут не только в предполагаемом невежестве Гидаспова и его консультантов, хотя по отношению к ним сказанное звучит не менее оскорбительно и бездоказательно, но и в нашей серости. Подобное отношение к провинции в общем-то знакомо и уже не удивляет. Напомним хотя бы предложение Татьяны Ивановой закрыть журнал «Волга» и передать бумагу для увеличения тиражей «Огонька» и «Знамени». Или сравнение русской провинции с Вандеей, которое принадлежит Евтушенко. Да я и сам испытал это отношение сполна, устраивая статьи о разгроме русской провинциальной культуры в центральных журналах уже в годы развитой гласности. В одной редакции выбрасывали из статьи негативные факты, в другой — положительные. Два московских журнала, не сговариваясь, разделили статью «Провинция и культура» точно на две части, как на сепараторе; один пожелал опубликовать «сливки», другой — «обрат». Такой вот плюрализм.

Не хотелось бы продолжать полемику в оскорбительном стиле: что и мы-де не знаем имен большинства выступавших на партийном собрании ленинградских писателей: ни Нивякина, ни Борича, ни Чубинского, ни Д. Аля. Имя Д. Аля, например, мне впервые встретилось год назад в экспозиции выставки, посвященной стопятидесятилетию Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и русской культуре, где его книга «Опаснее врага» представляла русскую драматургию 60—70-х годов. И теперь мне, мол, понятней стало, почему с ней рядом я не нашел книг Вампилова, а рядом с книгами Рыбакова и Гроссмана не было книг Астафьева и Белова, рядом с Лениным и Лавровым — Соловьева и Розанова. Вряд ли только потому, что они провинциалы. Повторяю, можно было бы продолжить полемику в этом же духе, но считаю его несовместимым с желанием найти путь, который бы помог выйти из состояния междоусобной войны. Хотелось бы только узнать прежде, неужели уважаемые ленинградские коллеги действительно не знают, что в Новгороде живет известный русский писатель Дмитрий Балашов, автор прекрасных романов «Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Симеон Гордый» и др. Краткую справку о нем можно получить также в девятом томе «Краткой литературной энциклопедии» на стр. 96. Знают о его творчестве и некоторые ленинградские писатели-коммунисты. Я. Гордин и Н. Коняев писали на книги Балашова положительные рецензии (см. Я. Гордин. «Что было впереди?». «Лит. обозрение», 1980, № 5; Н. Коняев. «И скорбь и слава». «Аврора», 1980, № 5). Может быть, менее известен широкому читателю новгородский писатель Борис Романов, но поверьте мне на слово, что его романы и повести ничуть не уступают произведениям тех, кто его высокомерно не знает...

Вряд ли нуждаются в представлении и имена писате-

лей-псковичей — лауреата Ленинской премии Ивана Васильева, блестящего, тонкого критика Валентина Курбатова и известного прозаика Александра Бологова. Не знать их человеку профессионально занимающемуся литературой — непростительно.

Теперь о тверяках. Ежедневной обширной читательской почте старейшего тверского писателя Петра Петровича Дудочкина, думаю, позавидуют и многие из «десятков достойных и талантливых» «наших» писателей, как любовно называет своих коллег-единомышленников из городской писательской организации Валерий Попов. Петр Петрович и в застойные времена имел мужество писать на конвертах «Обратный адрес — город Тверь» и даже заказал для этой цели факсимильное клише. Что-то я не слышал ни об одном из «достойных» писателей-ленинградцев, который бы осмелился написать на конверте не Ленинград, а Санкт-Петербург или хотя бы предложил изменить название одноименного журнала на «Санкт-Петербург»... В восьмом номере «Нового мира» за прошлый год рядом с романом Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» напечатана прекрасная повесть тверяка Юрия Красавина «Полоса отчуждения». Мне кажется, за последние годы — это одно из немногих произведений о современности, где блеснул подлинно народный характер пожилой русской женщины со всем хорошим и плохим, что в ней оставила ее судьба и история России. Думаю, что ленинградский писатель Михаил Глинка знает тверского писателя Леонида Нечаева. Его повести и рассказы не раз печатались в соседстве с лучшими писателями, пишущими о юношестве, и нигде не выглядел он серым провинциалом. Проза его психологически выверена, глубоко гуманистична, милосердна, его книгами подростки зачитываются, его выступлениями — заслушиваются. Живет у нас в области еще один замечательный писатель Юрий Андреевич Козлов. Он живет в районном городишке Кувшинове. Мальчишкой попал на фронт, воевал. После войны работал в многотиражках и писал. Он писал о войне и человеке правду, а его не печатали. Первую книгу выпустил в пятьдесят пять лет. В Союз писателей вступил в пятьдесят восемь. Думаю, если бы он жил в Москве — давно стал бы известным писателем. А пока — автор трех книг повестей и рассказов, выпущенных в Москве, и трех или четырех — лежащих в столе. Его книга «Новобранцы», полная юмора и сострадания к юнцам, брошенным в пекло войны, была выпущена издательством «Современник» тиражом 150 тысяч экземпляров.

Наверное, не стоит напоминать читателю, что централизация государства российского подчинила некогда самобытную культуру русской провинции одному стилю. Это также общеизвестно. Напоминаю только потому, что процесс этот до сих пор не закончился. Особенно жестоко и злокачественно он происходил в годы Советской власти, застойного периода. В Твери, например, до революции издавались четыре журнала, а в двадцатые годы более двух десятков; в губернии существовали десять театров, среди них и музыкальные, три симфонических оркестра, на всю Россию была известна Тверская историко-краеведческая школа. Напомним, что первый музыкальный журнал в России стал выходить не в столице, а в провинциальной Астрахани в 1814 году. Его редактировал учитель музыки Астраханской гимназии И. В. Добровольский. Журнал был программный, печатал русские, армянские, чеченские, грузинские, татарские, казачьи песни и пляски. Ко всему прочему это был первый в России журнал с нотами на языке оригинала и переводами на русский язык. Он был и первым литографским изданием в России. Приоритет астраханского музыкального издания до сих пор, кстати, остается почти неизвестным, я прочел о журнале в книге М. Рыбушкина «Записки об Астрахани». А через сто лет в 1911 году в России выходили уже 17 музыкальных периодических изданий; причем три из них — в провинциальных городах: ежемесячный музыкально-литературный журнал «Гусельки яровчаты» в Новгороде, ежемесячный музыкально-литературный журнал «Музыка гитариста» в Тюмени и еженедельные выпуски «Нижегородских музыкальных новостей» в Нижнем Новгороде. Для сравнения скажем, что в Германии в тот год издавались шестнадцать периодических музыкальных изданий, в Англии — пять, в США — четыре, в Италии и во Франции — по три... (см. «Музыкальный календарь на 1911 год»). Замечу кстати, что из-за более высоких тиражей по сравнению с европейскими странами, и гонорар русских писателей был соответственно выше среднеевропейского[1].

Да что говорить о губернских провинциальных городах. Вот «Каталог книг Новоторжской земской публичной библиотеки», изданный в Торжке в 1913 году. Я назвал бы эту книгу памятником провинциальной культуры. Доступная библиотека уездного городка царской России имела книги, каких сегодня и в областной не найти. Прошу обратить внимание на идеологическую широту книжного фонда. На одной полке стояли с точки зрения жестоко политизированной коммунистической идеологии такие «несовместимые» книги, как «Православные монастыри и архиерейские дома в России» и «Исторический материализм» Бернштейна, «Пол и характер» Вейнингера и «Так говорил Заратустра» Ницше, сочинения Владимира Соловьева и книги Луначарского, «Добрые люди Древней Руси» Ключевского и книги Ленина, Либкнехта, Маркса, Энгельса, десятки наименований журналов самых крайних направлений, книги Шестова, Карамзина, Коллонтай, Каутского, Спенсера, Дарвина. Вот вам и «тюрьма народов», и великорусский шовинизм, который особенно заметен на фоне советского шовинизма устроителей выставки Ленинградской публичной библиотеки. И большинство этих книг в советское время были вывезены, уничтожены, распроданы, брошены за решетку в спецхран...

Еще один пласт провинциальной культуры — земские издания. За годы существования Тверского земства только в Твери вышло более пятисот книг и брошюр по разным вопросам культурной, хозяйственной, научной, общественной жизни нашего края. Достаточно полистать тринадцатитомное «Статистическое описание Тверской губернии» В. И. Покровского, коего сегодня не сможет обойти ни один историк пореформенной России, «Историко-статистическое описание грунтовых дорог Тверской губернии» Воробьева или «Каталог образцов, выставленных Тверским губернским земством» на Всероссийскую промышленно-художественную выставку 1882 года в Москве, чтобы понять громадную научную и познавательную ценность земских изданий. Читая их, узнаешь о развитии промыслов, промышленности, сельском хозяйстве, торговле, социальном составе общества, ремеслах пореформенной России такие факты, которых не найдешь даже у знатоков народной жизни, подобных Максимову, Глебу Успенскому, Селиванову. Кто знает сегодня, в годы поношения всего русского, что в Тверской губернии перерабатывалось около одного миллиона кож на 5—6 миллионов рублей? Выделкой кож мирового качества славились осташковские кожевенники. Юфть с осташковских заводов Ф. К. Савина шла только за границу, преимущественно в Англию, где не имела себе конкуренции и ценилась очень высоко. Юфти из Осташкова покупалось Англией на 1 миллион 200 тысяч рублей. Отметим: не фунтов стерлин-

[1] И не только писателей. По положению о вознаграждении авторов драматических произведений и опер, Высочайше утвержденных в 1882 году, автор пьесы в стихах или прозе за каждое представление на сцене Императорских театров получал поспектакльной платы за пьесу в одном акте — 2 процента, в двух актах — 4 процента, в трех актах — 6 процентов, в четырех и более актах — 10 процентов. Соответственно такую же плату получал и композитор, правда, он был обязан из своей поспектаклъной платы «удовлетворять сочинителя либретто», что закреплялось между ними особым договором. Кроме того, автор пьесы и композитор по предварительному заявленному ими желанию посмотреть свой спектакль имели право на бесплатное кресло в том театре, где идет их произведение. Да, да. Не чиновник имел право на бесплатное кресло, а автор, творец (прим. автора). См. «Музыкальный календарь». Спб., 1911, отдел III, стр. 16—17.

гов и не долларов, а золотых царских рублей, иметь в своем кошельке которые хотел торговец любой страны. Именно тех рублей, которые не стал разменивать в Сингапуре на доллары русский военный врач из книги Антона Чехова «Остров Сахалин», с гордостью заявив продавцу: «Вот еще, стану я менять наши православные деньги на какие-то эфиопские». Думаю, министру финансов Павлову сегодня такой ответ советского врача и во сне не приснится...

А знаете, чем отличались кимрские сапожники от краснохолмских? Нет, не только местом жительства. Кимряки шили обувь в основном на городской рынок, для пролетариата, шили дешево, много (до двух с половиной миллионов пар в год), торопливо и, зачастую, плохо, подменяя кожу картоном, а то и сдиркой — склеенным из кусочков кожи материалом, шедшим на каблуки и подошвы и расползавшимся от первого дождя. Сапожники соседнего Краснохолмского уезда обслуживали крестьянина, а крестьянин, как известно, денег на ветер бросать не любил, а любил носить крепкие, не на один сезон стачанные сапоги и желал, чтобы шили их у него на глазах, дома. Крестьянин никогда не покупал обувь у кимряков. Вот и существовал сапожный промысел, при котором сапожник трудился в доме заказчика, на глазах работая ему обувь. Обувь эта стоила дороже кимрской почти в два раза, но крестьянин и не хотел обуви дешевой, но плохого качества. По условиям найма мастер даже столовался у заказчика, пока шил или ремонтировал ему обувь. (Заказчик еще и не любил выбрасывать крепкие голенища, давал сапожнику обсоюзить сапоги; и эта работа выполнялась добротно и оплачивалась высоко).

Из земской литературы я бы назвал и пятнадцать томов «Отчетов губернских съездов врачей Тверского земства». Это кладезь опыта народного здравия. Кроме деловых выступлений по проблемам местной медицины, в них печатались и оригинальные научные работы практических врачей, такие, как «Народные средства лечения в Новоторжском уезде» С. Федорова, «О естественном движении населения Тверской губернии» В. Покровского, «Заболевания крупозной пневмонией в связи с характером подпочвы во втором медицинском участке Тверского уезда» А. Первова, которые, мне кажется, и сегодня не утратили научного значения, так как касаются влияния местных условий на здоровье человека и его лечения в этих условиях. Сегодняшняя медицинская статистика запущена, а областные органы народного здравия предательски молчат, наблюдая и высокую смертность среди детей, и экологические преступления ведомств.

Добавив к перечисленному около ста выпусков журналов Тверской ученой архивной комиссии (ТУАК), изданных тверскими учеными и краеведами, десятки книг, изданных уездными земствами, начинаешь понимать причины упадка культуры в провинции. Но и это не все, так как мы не коснулись провинциальных периодических изданий — газет, еженедельников, журналов и альманахов. В Твери издавали до революции две больших губернских газеты, еженедельник «Тверской вестник» и два журнала — «К свету» и «Епархиальные ведомости». После 1905 года возникли так называемые направленческие газеты. Октябристы издавали «Тверское слово», в Торжке Петрункевичи издавали кадетскую газету «Новоторжский голос», в Вышнем Волочке либералы — «Вышневолоцкий голос». С 1906 года в уездной Старице выходила еженедельная газета «Тверское Поволжье» под редакцией С. Вревского в издательстве И. П. Крылова. С 5 мая 1907 г. в Старице же выходил пользовавшийся большой популярностью еженедельный сатирический журнал «Тверское жало» формата «Крокодила», а с 1911 года под редакцией А. Н. Вершинского тот же И. П. Крылов стал выпускать исторический журнал «Тверская старина». Двадцать две книжки этого авторитетного журнала, опубликовавшего микулиногородищенские летописи, интереснейшие этнографические материалы, до сих пор являются укором нашей монополизированной культуре. Хлесткими, остроумными названиями вроде «Онуфрий», «Фиговый листок», «Карусели», «Отблески» отличались тверские молодежные альманахи, выпускаемые на каникулах студенческой молодежью. Ну а перечень журналов и альманахов послереволюционной поры занял бы целую страницу. Перечислю некоторые: «Тверской кооператор» — общественно-политический, экономический, литературно-художественный и краеведческий журнал, «Сельский хозяин» — журнал Тверского союза сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации, «Пахарь» — журнал Губземуправления, «Наше хозяйство», «Трудовая мысль», «Народное право», «Вехи», бежецкий журнал «Трудовое хозяйство», литературно-художественный журнал «Красная панорама», сатирический «Тверской свисток», литературные альманахи «Факел», «Среды», «Зарницы» и другие.

Оглядывая эти издания, сегодня только удивляешься приговору библиографа и архивиста Н. П. Рогожина, литературные опыты которого приходятся на двадцатые годы. Делая обзор тверской литературы с 1900 по 1917 год, он с молодой горячностью жаловался в статье «Меняющийся лик Твери» на отсутствие в провинции литературной и издательской жизни. Если даже не брать во внимание писателей — выходцев из Тверской губернии, таких как Лажечников, Коншин, Щедрин, Голенищев-Кутузов, Крылов, Львов, братья Бакунины, Шишков, Тверяк, Гумилев и др., в Твери родились и были изданы такие шедевры, как «Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края» Д. Карманова, «Описания Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» В. Преображенского, «Прошлое и настоящее г. Твери» В. Колосова, «Кашинский словарь» И. Смирнова, «Об остатках древностей и старины в Тверской губернии» В. Плетнева, «Описание сельского духовенства в России» И. Беллюстина и многие другие. Золотые богатства рассыпаны в бесчисленных статьях, брошюрах, бытовых и этнографических очерках, рукописях, хранящихся в областном архиве.

Как вернуть провинции ее достоинство и культуру? Презрением? Уважением? Равнодушием? Высокомерием? Или все же отказом в пользу провинции того, что принадлежит ей по праву?..

Довольно странно толкует понятие «литературная провинция» главный редактор журнала «Огонек» В. Коротич, сводя его к какому-то дремучему мифу. Выступая по ЦТ, он заявил, что столичным писателям, приезжающим в провинцию, местных писателей будто бы представляют так: «А это наш местный Горький», «А это наш местный Маяковский». Хотелось бы узнать поконкретней, где в русской провинции живут сегодня подобными представлениями? Не в пылком ли воображении самого Коротича? И кто из провинциальных писателей согласился бы на такой дурацкий титул? Курянин Евгений Носов или вологжанин Василий Белов? Красноярец Виктор Астафьев или краснодарец Виктор Лихоносов? Иркутянин Валентин Распутин или волгоградский писатель Борис Екимов? Новгородец Дмитрий Балашов или псковитянин Иван Васильев? Может быть, автор имел в виду национальные окраины? И ему представляли так киргиза Чингиза Айтматова? Или казаха Олжаса Сулейменова? А может быть, калмыка Давида Кугультинова? Так кого же так старательно унижает в сознании многомиллионной аудитории В. Коротич, рисуя образ какого-то беспробудного провинциального дурака, и зачем ему это нужно? Да простит меня читатель, но по «гамбургскому счету» не провинциального Астафьева или Распутина должно представлять Коротичу, а скорее наоборот, Коротича. Вот только как? «Наш современный Безыменский»? Или «Наш современный Жаров»?..

Российская провинция, а сюда следует включить и Чувашию, и Башкирию, и Урал, и Сибирь, многие годы живет неизбывной надеждой: вот в Москве доспорят, вспомнят, наконец-то, о нас, и нам полегчает. Отстегнут что-нибудь из союзных и российских фондов, может быть, печатные станки подарят, и культурная жизнь в провинции начнет расцветать. Перестанет рваться в Москву молодежь, постепенно нарастет культурный слой, наполнится пульс общественной жизни, определится общественное мнение. Увы, ни той, ни другой стороне, все чаще кажется мне, самостоятельная провинция, какой она была

еще в прошлом веке, не нужна; одна сторона не прочь отнять у нее и то, что есть, другая — ограничивается посулами либо отдает по пословице «На тебе, Боже, что нам негоже» — то, что самой не по зубам — журнал «Ленинград», например, или «Ладогу». Иногда кажется, что те, кто хулит провинцию и ничего доброго не обещает, и те, кто хвалит и обещает, приводимы в действие какой-то одной силой, цель которой взбодрить истощенную, ослабленную, деморализованную, изъеденную комплексом неполноценности провинцию, то подзадоривая ее кнутом, то приманивая пряником. Потому что если бы это было не так, какая-нибудь заинтересованная в возрождении провинции сторона давно стала бы делать для нее что-нибудь реальное...

Культура провинции не сможет стать на ноги, если всей экономикой культуры будет распоряжаться Москва. Кстати, руководство Госкомпечати долгое время отписывалось, что для открытия ликвидированных при Хрущеве областных издательств и изданий не хватает бумаги. Но вот пришел 90-й год, и мы с удивлением увидели, что центральные газеты выросли в тиражах до десятков миллионов экземпляров и начали выпускать миллионными тиражами самые разные приложения. Нет, не отсутствие бумаги и средств, видимо, не дают возможности перейти провинции к самостоятельности и самоуправлению, а старое стремление держать и не пущать, владеть общественным мнением. Вот тогда становится понятным, почему нет бумаги для издания областного альманаха, переиздания краеведческой книги или издания шедевров провинциальной живописи, а для миллионных тиражей календарей с голыми красотками бумага находится. Понятно, почему в начале века Бежецкий уезд Тверской губернии заваливал маслом и сметаной Петербургскую масляную биржу и почему Бежецкое земство могло выпускать в уездной типографии труды местных агрономов и кооператоров, такие как «Молочный промысел в Бежецком уезде» в двух томах, например, а сегодня бежечане читают бульварную газетку «Совершенно секретно», которой буквально забиты все киоски. Так и хочется сказать вершителям подобной издательской программы: «Вот и намазывайте ее импортным эрзац-маслом», да боюсь, как раз у них-то с сыром и маслом все и порядке...

О многом говорит опыт самостоятельного развития литературной провинции и в наши дни. Журналы «Волга», «Подъем», альманах «Кубань», как только вырвались изпод жесткой опеки центра (за которую, кстати, не забывают ратовать наши демократы, в то же самое время желая слыть плюралистами), — сразу стали явлением провинциальной культуры, тиражи их многократно выросли; в «серой» провинции явились люди не только предприимчивые, но и с самобытными идеями, со своим пониманием литературного процесса. Как удар по культуре русской провинции рассматриваю закрытие в 1963 году ряда областных издательств. Много за этой акцией изломанных судеб молодых литераторов, немало трагедий. Вот что написал мне директор Омского книжного издательства А. П. Токарев в ответ на мое выступление на VII пленуме СП РСФСР, проходившем 19—20 марта 1990 года:

«Семнадцать долгих лет (1963—1980) мы были (по выражению злого писателя) под новосибирским игом. Бедные омичи издавались где угодно, но только не в Новосибирске, в родном Западно-Сибирском издательстве. Ибо: «В Омске молодые литераторы? Что вы! Там и старых-то... Иванов, Петров да Сидоров (Читай, П. Ребрин. — А. Т.)». И вот произошел разлом. Образовались Омское (1981), Новосибирское (1982) и Томское (1982). И обнаружились удивительные вещи. В нашем Омском за 9 лет вышло 60 (!) книг местных авторов. Не все они равнозначны, но они стали фактом культуры. Стал возрождаться писательский дух, появился литературный зуд, что тоже небесполезно для писателя. Вот и альманах открыли в 1990 году. По нашим книжкам уже приняты в СП семеро. Но мы так «жиманули», что В. Н. Мурзаков, ответственный секретарь нашей писательской организации, за голову оберучь схватился. В прошлом году он еще заслал шесть дел в приемную комиссию СП РСФСР. Это не значит, что принимали всех подряд и без разбору. Просто случилось так, что весь «подрост» пришелся на тот год, и каждый молодой уже имел по 2—3 книжки. И какой-то литературный фон образовался, и молодежь увидела перспективу, а не песок под ногами, как во многих областных городах, не имеющих книжных издательств.

О денежной стороне я Вам не пишу. Не бедствуем. Не будет бедствовать и любое новое издательство. Беда в другом. Мы государству даем немало прибыли, да жаль, что оно, любимое, мало дает и нам, издателям, и вам, писателям. Любовь в одностороннем порядке».

Что тут скажешь?.. Что прибавишь? Империя столичных издательств и журналов-миллионников — это культурные и литературные ведомства, узурпировавшие культурный и издательский процесс, они наносят провинции вреда не меньше, чем пресловутый Минводхоз, осушая на местах аралы инициативы, предприимчивости, культуры...

Сегодня много пишут об упадке доверия к КПСС, о возвращении партии былого уважения. Думаю, если бы партия взялась за подъем культуры в стране, разработала программу возрождения того, что было уничтожено под ее непосредственным руководством, включая реставрацию храмов, выкуп проданных за рубеж ценностей и т. д., она бы вернула к себе уважение. Думаю, если бы партийное издательство «Правда» за счет своих миллионных доходов и фондов отдало бы 10—15 процентов издательских мощностей провинции, она нашла бы себе сторонников. Пока же у всех культурных людей вызывают тревогу бесконтрольное пользование КПСС бумагой, беззастенчивое отнимание доходов у областных газет, убийственная программа «хозрасчетной» культуры, которая была принята при ее участии.

Мое глубокое убеждение — культура должна быть убыточной, и только тогда она начнет приносить и пользу, и прибыль. Как известно, А. С. Пушкин оставил своей семье более тридцати тысяч долга. Император Николай I повелел погасить все его долги за счет казны. Великий русский поэт, переходя на язык экономики, был убыточен для казны. Но за 150 лет своей бессмертной жизни произведения Пушкина принесли России еще и миллионы рублей дохода. То же можно сказать и о многих других русских классиках, которые при жизни испытывали нужду. Но и в эту проблему партия внесла свою лепту. Обрекая в свое время таких писателей, как Андрей Платонов, Анна Ахматова, Михаил Зощенко на нищету, она получает за счет издания их книг сегодня в издательстве «Правда» миллионные доходы, которые идут, увы, не на развитие культуры. А ведь это всенародное достояние. Поучиться бы партийному издательству у дореволюционных издателей Сойкина, Сытина, Некрасова и других, которые исповедовали и книгоиздательстве некоммерческий подход к делу, издавая себе в убыток книги, несущие культуру и просвещение народу. Издательство «Правда», наверное, сегодня единственное издательство в стране (исключая, конечно, кооперативные), которое нацелено только на прибыль. И в этом забвении русской просветительной традиции безусловно скрыто подсознательное отношение руководства КПСС и к культуре, и к просвещению, и к народу.

Литературная провинция, культура провинции не поднимутся на ноги, если все журналы, все издательства, все картины художников, произведения материальной культуры (а от нас, как из колонии, было вывезено в двадцатые—тридцатые годы все ценное, включая тверские клады), будут находиться в Москве, в Ленинграде. (Вот подлинная причина стремления к привилегиям!) Мы не сможем быть великой державой, если писатель, совесть народа, будет ездить в Москву с протянутой рукой за каждым рублем, за каждым килограммом бумаги, ощущая «подлость» в каждой поджилке, если в нас будут развивать рабский комплекс зависимости, если провинция не обретет самостоятельности. Потому что она, а это понял еще Александр II, учредив земства на Руси, имеет свои местные, культурные, социаль-

ные и хозяйственные проблемы, которые за нее не сможет решить ни Москва, ни надежда наших радикалов — Запад, а без разрешения их России не жить.

Провинция уже вдоволь насытилась культурно-просветительскими миссиями Москвы — всеми этими «зимами», «веснами», «днями», «неделями» и «месячниками». Пора переходить к делу. Если кто-то действительно любит Россию и готов жизнь за нее положить, самое время приехать сюда вместе с журналами, идеями, театрами, оркестрами, как «приезжала» в прошлом веке русская интеллигенция, а то ведь скоро не за что будет и жизнь отдавать...

Подчеркивать сегодня скудость обобранной, попранной, униженной русской провинции, распятой на всех перекрестках советской истории, да еще жить с сознанием исключительной миссии, как живут писатели и деятели культуры Москвы и хотят жить в Ленинграде — мне видится это продолжением политики сталинского монополизма. Требовать перемен не для России, а только для себя — значит не отличаться сознанием от тех же критикуемых «врагов перестройки». Кстати, не в этом ли «монопольном» сознании истоки пафоса культа личности, который питал советскую литературу, начиная с ее рождения. Критики сталинизма сами не могут обойтись без кумиров, это их метод воздействия на общественное мнение. Творят кумиров на каждом шагу: «Булгаков — великий прозаик», «Пастернак — великий поэт», и даже — «Эйдельман — великий историк». Это рядом с Пушкиным, Лермонтовым и Блоком? Рядом с Толстым, Достоевским и Гоголем? Рядом с Соловьевым и Ключевским? Побойтесь бога, вспомните святую заповедь: «Не сотвори себе кумира».

Когда я слышу требование особых условий, исключительности, мне всегда хочется спросить: «А за счет кого?» За счет тверской, псковской или рязанской земли, где смертность уже несколько лет превышает рождаемость? За счет тверского писателя Юрия Козлова, прожившего в дымах Каменского бумкомбината и не имевшего возможности до 55 лет выпустить своей книги? Или за счет того провинциального мальчика, которому по уровню подготовки в провинциальной школе никогда не поступить в творческий вуз, а если и поступить, то годам к сорока, когда его московские сверстники станут уже лауреатами и народными витиями, возбуждающими неприязнь к России? А все дело в том, что в школе, где учился мальчик, не было учителя рисования, музыки, пения, иностранного языка. А учителей не хватало потому, что местный Совет и те крохи, что ему перечисляют местные предприятия и хозяйства, отдает в общесоюзный бюджет. Многие местные Советы за 70 лет Советской власти не выстроили ни одной квартиры для учителей, врачей, библиотекарей. В старинном русском городе Угличе местная интеллигенция рассказывала мне, что за годы Советской власти здесь не построено ни одного здания, которое по красоте и сложности инженерного решения смогло бы соперничать с творениями безымянных зодчих. На культуру Угличского района (а это около 50 тысяч человек) в год выделяется всего 40 тысяч рублей, т. е. по 80 копеек на человека. И при том, что Угличский часовой завод приносит десятки миллионов рублей дохода. Создалось положение, при котором трудовой человек, живущий в русской провинции, десятилетиями недополучает то, что он зарабатывает; идет скрытая эксплуатация государством провинции...

Русская интеллигенция всегда была на стороне униженных и оскорбленных, это ее родовая и роковая черта. Почему же часть передовой интеллигенции забывает об этом? Когда-то, помнится, столичные интеллигентные мальчики публично уступали места в университетах способным, но не имеющим связей и подготовки мальчикам из провинции. Почему-то не слышно ни об одном современном московском или ленинградском мальчике, который бы уступил свое место в консерватории или университете, архитектурном институте или институте международных отношений не менее способному, но менее эрудированному и подготовленному мальчику из провинции? Столичная интеллигенция растеряла свой жертвенный пафос. Почему-то и «левые» и «правые» по отношению к провинции сходятся на одном: отпихнуть ее, обойти, утвердиться в собственной избранности и исключительности. Получить образование за счет народа, а потом уехать за рубеж? А ведь процент талантливых детей в поколении не зависит ни от места рождения, ни от социального положения, ни от национальности. Недаром многие уехавшие специалисты работают за рубежом мусорщиками. Сколько же Платонов и Невтонов теряет Россия ежегодно из-за бесправия провинции?.. Не пора ли государству стать на защиту народных интересов?

Так куда ж нам плыть? Продолжать искать причины небратского отношения в других? Или начать с себя? Мне кажется, пока идея исключительности, избранности, будет жить в интеллигентной среде Москвы и Ленинграда, ни о каком возрождении духовных ценностей, ни о какой культуре и ни о каком братском единении в России не может быть и речи, и мы будем катиться в пропасть невежества и междоусобиц. Культура — не сумма знаний, которую можно транслировать по телеканалам или привозить в почтовых вагонах, это живая, конкретная жизнь: библиотека, оркестр, музей, картинная галерея, журнал, консерватория, университет. И если говорить о национальном согласии, давайте обратим взор туда, где в культуре нуждаются, быть может, более, чем в хлебе насущном — на русскую провинцию. Воздадим ей должное за терпение, за муки, за унижение достоинства, за утраты, которые она претерпела и терпит, поклонимся ей и попросим прощения за все. Главное же, отступимся от мысли создавать собственное благополучие за ее счет. У нее на это уже не хватает сил. Те же, кому провинция кажется только серой, неразвитой, нищей, бескультурной Вандеей, вероятно, люди без сердца, так как они никогда, по-видимому, не задумывались, что ее серостью и нищетой они заплатили за свою культуру и образованность. Им хотелось бы напомнить великие слова из Евангелия о времени, когда первые станут последними; «ибо кто превозносит сам себя, — сказано там, — тот унижен будет...»

И грош всем нам будет цена, если становление это вновь пойдет не через свет культуры, а через тьму насилия...

ПЕТРОВ Михаил Григорьевич — прозаик и публицист. Член СП СССР. Родился в 1938 году в селе Чередово Омской области. Его детство и юность прошли в Сибири. Работал на заводе, в редакциях районных и областных газет, на телевидении, в театре. В 1978 году закончил Литературный институт имени А. М. Горького СП СССР. Повести, рассказы и очерки М. Петрова печатались в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Советская литература», «Литературная учеба», в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «Советская Россия». Он автор книг о жизни и проблемах русской провинции: «Иван Иванович» (1983), «Сны золотые» (1985), «Затяжная весна» (1986). Тема его последних очерков — провинциальная культура и история русского народного хозяйства.



Фото ЮРИЯ САДОВНИКОВА.

ПОЧТЕННЫЙ «БРОКГАУЗ»



Признаться, давно не бывал я в Ленинке, и, может быть, именно это обстоятельство и стало причиной той внезапной душевной боли, даже стыда, которые нежданно охватили меня после знакомства с полками справочной литературы в самом большом и посещаемом читальном зале — третьем. М-да... Заметно поредели ее ряды. Немало томов знаменитого «Брокгауза» и других отечественных энциклопедий исчезли напрочь, а в других, пока еще устоявших на месте, судорожно, так, что выпростаны наружу, как обнаженные нервы, нити крепления блоков, вырваны целые статьи. И легко догадаться: нет, не недоумок это сделал, не малограмотный, потому что Ленинка хотя демократично и зовется публичной библиотекой, да не всякий сюда войдет — чтобы записаться, необходимо иметь определенный образовательный и служебный ценз. К примеру, полностью выдрана «с мясом» из «Брокгауза» немалая статья о Российской Академии Наук — видно, потребовалась очень ученому и весьма занятому мужу, переписывать ему было некогда, так что, чего там церемониться — выдирай, неси домой, чтоб под рукой лежала. Захочешь и заглянешь: как там велись дела в Российской?..

Так что ряды справочных изданий здесь не только укорачиваются, но и каждый оставшийся том уже доживает, как видно, свой недолгий век (собственно, недолгий — определение, так сказать, фигуральное, ибо Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона, ставший предметом этих заметок, начал выпускаться сто лет назад — в 1890 году, и вряд ли его создатели предполагали тогда, в конце XIX-го столетия, когда книгоиздательство России, не в пример сегодняшнему, находилось на подъеме, что к концу века XX-го так варварски будут обращаться с их словарем вовсе не от недостатка образования...).

Глядя на это разорение, первым движением моей души было желание возмутиться, возвысить голос, обратиться к скромной женщине-библиографу: мол, куда смотрите. Даже выкрикнуть на весь гулкий зал: наследство-то пощадите — и так почти ничего не сохранилось, уже и из заграницы его выбираем, то, что там уцелело, что им отдавать не жалко. Хотя вот уже и тамошние владельцы озадачены — в недоумении разводят руками, как сделал это один из потомков знатной российской фамилии, вопрошая с телеэкрана: зачем же я буду продолжать переправлять вам сохранившиеся реликвии, если и те, которые передал ранее, где-то свалены, сыреют, может быть даже разворовываются, а значит, видно, никому у вас не нужны...

Вспомнился мне по этому поводу один разговор. Некто из моих друзей каждый год выкраивал несколько дней, чтобы навестить живущего в деревне старика-отца, и, имея знакомого в местной потребкооперации, покупал каждый раз подарок — дешевенький костюмчик из таких, какие обычно «забрасывали» у нас именно в сельпо по причине их неуместности на городских прилавках. И каждый раз отец благодарил сына за «гостинец», а потом, склонившись над сундуком, долго и аккуратно укладывал подарок в его темное нутро. В один из последних наездов мой друг спросил: «А что это вы, папа, костюмы мои не носите, только в сундук складываете?» «То не твоего ума дело, — ответствовал старик, — твое дело покупать, мое хранить, как распоряжусь — моя забота». И видится в этом жизненном случае в общем-то обычное — исконное стремление крестьянина к «откладыванию» про черный день. Но такое отложенное всегда хранилось на Руси в радении. Не в пример нашим музейным и библиотечным заведениям, которые из-за своей вопиющей бедности вынуждены наблюдать, как пропадет Великое Наследство и без того оскудевшее от многочисленных разорений войнами, революциями и прочими потрясениями Отечества. А прироста пока не предвидится...

Так что даже начав возвышать голос против тех, кто беззастенчиво выдирает страницы из «Брокгауза», тут же, одумавшись, и замрешь на полуслове, потому что как бы против воли своей входишь в положение «книгодралов» — слишком затянулся и стал, к сожалению, уже привычным голод на качественную, независимую, а стало быть непредвзято составленную, авторитетную справочную книгу, высокая репутация которой удерживалась бы десятилетиями без всякого урона, как это и произошло с Энциклопедическим Словарем Брокгауза и Ефрона с того самого момента, когда из Семеновской Типо-Литографии, что находилась в Санкт-Петербурге, на Фонтанке, 92, появился первый его том. И сегодня, несмотря на почтенный возраст этого издания, вся череда из его 86 книг, облаченных в благородные — черные с золотым тиснением переплеты, набранные специально отлитым, убористым, но четким шрифтом, являются и по сей день источником весьма глубоких и авторитетных сведений из всех областей жизни, особенно русской, чему в немалой мере способствовала важнейшая особенность — независимость или как мы сказали бы сегодня — внепартийность.

Уместно также напомнить и о том, что Энциклопедический Словарь появился на свет усилиями, так сказать, совместного предприятия — издательской фирмы Ф. А. Брокгауза из Лейпцига и петербургского издателя и типографа И. А. Ефрона. Такое содружество позволило вести дело неимоверно быстро и на высоком уровне, поскольку русская часть Словаря писа-

лась отечественными авторами, а остальная была заимствована из немецкого издания, которое уже много лет периодически выпускалось в Германии фирмой «Брокгауз».

Не занимаясь здесь подсчетами величины урона в экономике и культуре, которые понесла наша страна после самоуверенного и полного отказа к началу тридцатых годов от создания совместных с иностранными предпринимателями предприятий, напомню лишь одну полезную новацию фирмы Брокгауз и Ефрон. Стремясь к увеличению числа подписчиков, это издательство впервые в России затеяло продажу своих книг в рассрочку с выплатой их цены в течение полутора лет. Можно предвидеть, что конкурентные условия свободного рынка наших дней и неуклонно растущие цены на книги станут вскоре причиной их залежей и тогда-то, видимо, придется прибегнуть к опыту Брокгауза и Ефрона — продавать многие тома в рассрочку.

Итак, год 1890-й — время рождения «Брокгауза», как называют знаменитое издание в обиходе. А год 1891-й — другая дата. Именно тогда, по свидетельству очевидца, «громадная толпа во главе с покровителем Санктпетербургского Училища Правоведения принцем А. П. Ольденбургским провожала в последний путь *Ивана Ефимовича* Андреевского. На ленте серебряного венка от студентов столичного университета было начертано: «Идеальному ректору, любимому профессору и честному человеку».

Сегодня это имя, пожалуй, ничего не говорит даже тем, кто регулярно открывает «Брокгауз». И станет понятно почему, если я приведу другие, относящиеся к данному случаю строки: «Редакторы европейских Энциклопедических Словарей всегда дают в них биографические сведения и о себе. Но покойный Иван Ефимович так болезненно-брезгливо относился ко всему, что имело даже самую отдаленную тень «рекламы», что между Андреевскими, вошедшими в 1-й том Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона, себе совсем не уделил места». А места этого он заслуживал, как и множество других деятелей русской мысли, имена которых ныне стерлись из памяти, легкомысленно отринуты или забыты, чьи труды одновременно со всяческими переменами, ниспровержениями и переустройствами жизни в Отечестве были невольно (а чаще насильно) вычеркнуты из строя нашей культуры и памяти народа, нередко предварительно подвергшись не только отвержению, но и пуще того — осмеянию. Огромен этот мартиролог! В нем стоит и имя Ивана Ефимовича Андреевского — личности, несомненно, замечательной, поэтому сказать о нем хотя бы несколько слов весьма уместно.

Он был сыном одного из лучших медиков столицы — Е. И. Андреевского, учредителя и первого президента Общества русских врачей. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Защитил магистрскую диссертацию «О правах иностранцев в России до половины XV столетия», в которой пришел к выводу, что «древняя история прав иностранцев в России свидетельствует о правильнейшем взгляде русских на чужеземцев, и потому имеет большее внутреннее достоинство, чем история прав иностранцев у прочих европейских народов». Читал лекции по русскому праву в Петербургском университете, возглавлял кафедру энциклопедии и истории русского права в Училище Правоведения. «Одаренный большим ораторским талантом, своеобразной, но в высшей степени приятной дикцией, Иван Ефимович приковывал к себе всеобщее внимание слушателей, когда с высоты профессорской кафедры ратовал за великие начала свободы личности и общественного самоуправления», — писал о нем коллега. Будучи одним из самых популярных профессоров России, Андреевский некоторое время руководил Петербургским университетом.

Однако венцом жизни этого подвижника было другое — упорная и кропотливая работа по редактированию русского «Брокгауза», который он довел до буквы В, считая, что все это предприятие чрезвычайно соответствует потребности времени, так как дает возможность отечественному читателю в объективной форме (что очень важно, ибо сегодня становится все более очевидным, насколько содержание многих наших энциклопедий, вышедших после 1917 года, весьма далеко лежит от беспристрастия, правдивости и точности) ознакомить общество с плодами западно-европейской мысли и культуры, подвести итог всему, что сделано по изучению родной страны.

После смерти Андреевского «Брокгауз» продолжал выходить уже под началом других редакторов — известных русских ученых К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского, Д. И. Менделеева, А. И. Воейкова, В. Т. Собичевского, В. Соловьева, С. А. Венгерова... И с каждым новым томом Энциклопедический Словарь становился все более русским и по содержанию, и по языку. А его 54-й и 55-й полутома полностью посвящены описанию России конца XIX века, так что можно посоветовать читателям обратить особое внимание на эти две книги, ибо в свете сегодняшнего выбора — стремления к суверенитету России, возрождению ее самобытного великого духа, уклада жизни и воскрешения духовных традиций — чтение это не только чрезвычайно полезно глубоким проникновением в суть проблемы, но и окажется очень полезным для ведения конкретных дел. Оно поможет многое прибавить — живой мысли, верных указаний, позволит короче пройти дорогу, которую, петляя то в одну, то в другую сторону, никак не могут одолеть наши законодатели всех уровней во многом оттого, что более полагаются на собственную сметку, изворотливость, ораторское искусство, чем утруждаются в обращении к извечной русской идее и. богатству отечественной мысли.

И еще об одном хочется сказать — об уважительном отношении издателей к тем, кто работал над русским «Брокгаузом». Я имею в виду те 300 портретов редакторов и сотрудников, которые завершают 82-й полутом. Люди давным-давно ушли из жизни, а память о них до сей поры сохранена — можно прочесть их фамилии и даже взглянуть им в лицо...

Излишне настойчиво доказывать, что мы имеем дело с одной из лучших энциклопедий в мире, национальной гордостью. Тем более прискорбно, что некое предприятие предпринятое им недавно начинание преподносит читателям как необычный дар. Я имею в виду начало выпуска «Брокгауза» (разумеется, репринтного) московским издательским центром «Терра». Да, действительно, все в нем будет как прежде — переплет, бумага, шрифт. Но возникает у меня по крайней мере два недоумения, которые, несомненно, разделят и читатели. Оказывается, продаваться Словарь будет на валюту. Интересно — кто же эти просвещенные «валютчики», которым потребуется «Брокгауз». И что останется в конце-концов делать тем, кто валютой не располагает — неужто напрочь и до конца разорвать по листкам остатки «Брокгауза» в Ленинке? И второе недоумение — труд переиздать Энциклопедический Словарь могло бы взять на себя и издательство «Советская энциклопедия» вместо того, чтобы более всего печься о создании «идеологически выверенных» справочников, которые, по мысли их составителей, должны бы сохранять свою непререкаемость по меньшей мере лет сто, а на деле теряют доверие и уважение к себе чуть ли не каждую пятилетку. Так что чувство неловкости, даже стыда за нерасторопность, за здакую «юбилейную кляксу» остается. Хотя честь и достоинство самого Энциклопедического Словаря от этого не пошатнутся — «Брокгауз» есть «Брокгауз». Так что спешите, читайте, пока еще остались на полках изящные тома в черном с золотым тиснением переплете!

ЮРИЙ ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ,
обозреватель «Слова»

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ

ТАЙНА АРХИВА КАРАМЗИНА

Отправимся в Дугино, бывшее имение Никиты Ивановича Панина, где до сих пор, по преданию, таится бесценный сундук с архивами Карамзина... Как попали его письменный стол и сундук с архивами в имение Панина? За сотни верст от Санкт-Петербурга?

В 1911 году в журнале «Русский архив» его редактор П. И. Бартенев, человек довольно осведомленный, рассказал, что в имении Дугино Сычевского уезда Смоленской губернии у внука Н. И. Карамзина хранятся неопубликованные бумаги писателя. Можно ли сомневаться в утверждении Бартенева? И что это за личность? Петр Иванович Бартенев родился в 1829 году, окончил историко-филологический факультет Московского университета, стал известным в России историком и библиографом. Ко всему этому — был археологом. В течение полувека издавал журнал «Русский архив». В нем опубликовал много литературно-библиографических находок о А. С. Пушкине.

Утверждение Бартенева о нахождении архива Н. М. Карамзина в Дугино поддерживали и другие его современники: ученые, писатели, библиографы и даже старожилы самого Дугино.

Владельцем Дугино был внук Н. М. Карамзина и сын той, кому посвятил А. С. Пушкин стихотворение, известное теперь как «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной».

В 1828 году Екатерина Николаевна, дочь Н. М. Карамзина, вышла замуж за князя Петра Ивановича Мещерского. Вскоре у них родился сын Николай. Прошли годы. Однажды молодой князь Николай Петрович Мещерский повстречал на балу редкостную красавицу — Марию Александровну Панину...

Вернемся к истории Дугино. Молодой царь Петр I имение это пожаловал с окрестными деревнями, лесами, полями и лугами родственникам первой жены. Затем Дугино несколько раз отбирали в государственную казну. Потом оно принадлежало боярам Ромодановским. Кому именно — неизвестно. 15 мая 1682 года в Москве во время стрелецкого бунта раздавались вопли: «Вон боярина Ромодановского поволокли к Лобному месту!» При Екатерине I один из рода этого — И. Ф. Ромодановский — работал в Преображенском приказе, который заменил Тайную канцелярию времен Петра I. После владельцем Дугино стал Николай Андреевич Корф. Известно, что при царице Елизавете Петровне — дочери Петра I — он был русским посланником в Дании.

В ноябре 1769 года имение покупает Матвей Федорович Кашталинский. Есть сведения, что он родом из-под Смоленска. Через него Дугино вновь поступает в казну и, наконец, к Панину... О нем история рассказывает щедро, есть его биография, написанная Д. И. Фонвизиным, а потому вспомним лишь кратко.

Никита Иванович Панин — граф, видный русский дипломат и государственный деятель, возглавлял коллегию иностранных дел. Он был посланником в Швеции, Дании; заключал договоры с Пруссией, Англией, облегчивших войну России с Турцией.

Кроме государственной и дипломатической деятельности, Никита Панин был воспитателем Павла Петровича — будущего императора. Екатерина II подарила Панину 186 селений с 4512 домочадцами...

Никита Панин прожил 65 лет и умер в 1783 году.

После смерти бездетного Никиты Ивановича Панина имение Дугино унаследовал его племянник Никита Петрович, сын Петра Ивановича Панина.

У его сына Александра родится единственная наследница — красавица Мария. Она станет княгиней Мещерской... Помните, мы упомянули, как сын Екатерины Николаевны — дочери Карамзина повстречал на петербургском балу Марию Александровну? Именно она по существующим правилам наследия и станет хозяйкой имения Дугино со 128 селеньями, в которых к тому времени проживало крепостных мужского пола 4365 человек, женского — 4866; станет хозяйкой 19764 десятин земли: из них пашни — 598 десятин, лесов — 7324 десятины... Кроме как память о жестокой эксплуатации и угнетении людей — бывшая светская красавица из рода Паниных ничего у современников не оставила. Она даже ухитрялась выколачивать по 50 копеек у крестьян и их детей, пожелавших в ее многочисленных лесных владениях пособирать грибы, ягоды.

Иные воспоминания сохранились о ее муже. Николай Петрович Мещерский много сил отдавал общественной работе, являясь попечителем Московского учебного округа. Старался он улучшить состояние просвещения в Сычевском уезде и многих селеньях Бельского уезда, входивших тогда в Московский округ. А еще князь был мировым посредником.

Екатерина Николаевна и ее муж — князь Петр Иванович Мещерский часто бывали в гостях у сына в Дугино. Итак, многознающий редактор «Русского архива» Петр Иванович Бартенев в 1911 году в своем журнале утверждал, что архив с богатым собранием неопубликованных бумаг Карамзина находится у его внука Мещерского в имении Дугино Сычевского уезда Смоленской губернии.

Теперь давайте поразмышляем, когда бесценный архив мог попасть в Дугино.

Екатерина Николаевна умерла на шестьдесят первом году жизни, в 1867 году, муж пережил ее на девять лет. Так может, незадолго перед смертью или после смерти князя были перевезены письменный стол и архив Карамзина в имение сына? Возможно и так.

Но скорее всего это сделала умная и просвещенная Екатерина Николаевна! Сделала для того, чтобы спасти в тихом отдаленном Дугино стол отца, за которым создавалось гениальнейшее многотомное произведение: чтобы спасти бесценный архив и чтобы документы того архива не смогли увидеть свет...

Последнего владельца имения Дугино, князя Мещерского, многие старожилы Сычевского и Новодугинского районов помнят и по сей день. Возникает вопрос: почему он и его предшественники, обладая бесценным сокровищем — архивами, не обнародовали их, не сделали достоянием России? Загадка? Да, загадка. Скорее всего, в тех документах Карамзина хранилась тайна, при обнародовании которой он не возвысился б перед царем. Значит, не все мог Карамзин высказать по ряду причин при жизни. Не могли этого сделать сыновья, дочери и даже внуки. И на это имелись причины.

Куда же исчез архив? Давайте вновь порассуждаем логически. Может, вывезен за границу последним владельцем Дугино? Но ведь семья князя с декабря 1917 года находилась в Сычевке под арестом. Имение и имущество были реквизированы Советской властью, и семейный архив Мещерских сегодня находится в Центральном архиве древних актов — более двух тысяч документов.

А известно, что сундук с архивами стоял рядышком с сундуком семейных архивов Мещерских в кабинете, где находился и письменный стол Карамзина. Там же были бронзовая статуя Никиты Панина, бюст его отца и бюст жены брата. Видимо, там же хранился альбом Екатерины Николаевны. Где сундук с архивами? Сгореть он не мог, реквизирован не был. Значит, спрятан... А альбом? Где стол Карамзина и бюсты? В 1918 году в связи с тем, что князь не совершал контрреволюционных действий, его отпустили, и он даже жил в Дугино. Потом его выселили, уехал в Москву, затем тайно пробрался на юг и во Францию. Увезти с собой спрятанный большой архив Карамзина князь в 1918 году никак не мог, выселили его представители ЧК. А если бы и свершилось чудо, то многие документы бесценного архива уже за границей Мещерские обязательно бы опубликовали.

Что же собой представляла усадьба графа Панина, а затем князя Мещерского в Дугино? На левобережье реки Вазузы раскинулся красивейший парк. Одни аллеи из дуба и кавказской липы, другие — из туи, третьи — из березы. А над Вазузой со звонкими родниками склонялись белые ивы, а их покой и грусть, будто витязи на часах, охраняли канадские тополя. По берегу еще пролегала аллея из берлинских тополей. На северо-восток от парка таинственно шумела дубрава, а рядом с парком, храня весь день полумрак, зеленела пихтовая роща.

В парке насчитывалось более восьмидесяти видов деревьев, среди них — много экзотических. А по обширному парку раскинулись живописные полянки, зеленеющие лужки, чистые пруды и озера, искусственные гроты, изящные мостики. Если оставаться точным, то это был не парк в 34 гектара, а ботанический сад. Посреди парка возвышался дворец с двумя флигелями. В его залах висели картины

Материал печатается в сокращении.

Репина, Левитана, Серова, Айвазовского, Коровина, имелась большая библиотека с редкими старинными книгами, среди них книги с автографами А. Пушкина, В. Жуковского, П. Вяземского, В. Соллогуба, В. Даля, Н. Гоголя, В. Одоевского, Д. Веневитинова, А. Муравьева, поэтессы графини Ростопчиной, французского историка Леве-Веймара, приезжавшего в 1836 году в Петербург, и многих других писателей и мыслителей России и Европы. Многие книги на иностранных языках были завезены из европейских стран, когда Никита Иванович Панин и его племянник Никита Петрович находились там на дипломатической работе. Имелись и тома «Современника», издаваемого А. Пушкиным.

Фасад усадьбы и часть парка обрамляла каменная со множеством башен стена с воротами к мосту через Вазузу. Некоторые современники утверждают, что под усадьбой и парком имелись даже подземные переходы и тайники. Один из таких подземных ходов от пещеры «Грот» будто бы тянулся на несколько километров до сегодняшней лесной дачи «Загон».

Лауреат Государственной премии СССР, одна из создателей сычевской породы скота, В. П. Добруцкая в двадцатые годы училась в Дугинской школе. Она вспоминает: «Мы, учащиеся школы, часто ходили на поляну в дачу «Загон» и видели выход из подземелья, выложенный кирпичом. Только войти в подземелье было опасно: своды уже обрушивались». Другие сомневаются в этом.

Однако, надежно спрятать архив Карамзина и другие архивы, редкие книги, а возможно, и ценности — труда для князя не составляло. Могли быть тайники под дворцом или флигелями.

Дворец сгорел в 1918 году. Стену с башнями и воротами, какой больше не было в селах Смоленщины, разобрали, церковь разрушена, флигеля приходят в негодность. Библиотека исчезла. Пихтовая роща вымерла, многие ценные реликтовые деревья погибли, пруды заплыли, родники на светлынь-Вазузе заглохли, да и сама река после того, как разрушили плотины, обмелела... Что случилось — то случилось! А ведь Вазуза долгие годы связывала дугинцев с Санкт-Петербургом.

Многое уничтожили или разграбили и фашистские варвары. Многое уничтожил жуткий ураган в 1966 году...

Писатель Лев Любимов после долгой эмиграции в феврале 1948 года вернулся в Советский Союз, а в 1957 году в журнале «Новый мир» опубликовал документальную повесть «На чужбине». Так вот в той повести есть строки: «В этом отношении примечательна эволюция одного из князей Мещерских, который отправился в первые же месяцы войны в Россию. Это был *молодой человек из эмигрантской «верхушки»*, с большими связями во французских и иностранных кругах. Поехал, как говорили, чтобы скорее войти во владение своим бывшим имением где-то под Смоленском. Однако очень скоро... стал злейшим врагом немцев, вернулся во Францию, поступил в тайную армию Сопротивления, доблестно сражался против фашистов, удостоился высоких французских боевых наград и остался на службе во французской армии».

Эти строки я прочитал в том же году *глухой полярной ночью далеко от родной* Смоленщины, и с той поры они не давали мне покоя.

И вот однажды в журнале Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом выступила родственница Мещерских. Ее выступление было посвящено совсем иной теме, но я написал ей письмо. С каким же нетерпением ждал ответа из Франции!

Надеялся и не надеялся... И все же дождался. Она сообщала, что из разговоров родственников помнит лишь одно: Мещерские в 1941 году ни в чем не нуждались, а ездил князь в Дугино с надеждой узнать о судьбе архива далеких и близких родственников. Но узнать ничего не удалось.

Я думаю, кто такие далекие родственники — объяснять не следует.

В 1980 году в журнале «Турист» в одной из статей говорилось: «История Дугино наделена множеством тайн и загадок. Неясно, например, куда делась библиотека. Может быть, она хранилась где-то в тайниках подвалов? А что за деньги странной треугольной формы были найдены однажды в реке? Чей склеп с мумифицированным телом обнаружили под несколькими полами церкви?»

Некоторые тайны удалось раскрыть. *Живет в Дугино ветеран педагогической* и просветительской деятельности, замечательный краевед Павел Меркурьевич Меркурьев. Старожил Дугино рассказывает, как когда-то через тайные дыры в сводах дугинской церкви пробрался в склеп: «Я долго хранил череп графа Петра Ивановича Панина с удостоверением его личности. На его груди лежала металлическая дощечка с надписью: «Его сиятельство генерал-аншеф и разных орденов кавалер граф П. И. Панин родился в 1721 году, умер 15(26) апреля *в 1789 году в 2 часа по полудню*».

Эту находку учитель собирался отвезти в Москву в какой-нибудь музей, да грянула война. А ведь принято считать, что генерал-аншеф Петр Иванович Панин умер в первопрестольной. Здесь напрашиваются две версии: или он завещал похоронить себя в имении сына, или, навестив сына, умер в Дугино. А где похоронен сын? Видимо, в том же склепе дугинской церкви.

И вторую тайну приоткрыл Павел Меркурьевич: «В 1924 году я был принят в пятый класс Дугинской школы *и помню, как возами отправляли* княжескую библиотеку в Сычевку. В 1930 году я был уже учителем этой школы, и в это время в нижней части библиотечных шкафов еще оставалось множество книг. Никто ими не дорожил, никто не обращал внимания». Вдумайтесь, 13 лет прошло после Октября, а множество книг, возможно ценнейших и с автографами великих людей, брошены были на произвол судьбы... Так погибла ценнейшая библиотека, свыше 10 тысяч томов.

Однако возможно, что самые ценные *из них, скажем с автографами* Пушкина, Карамзина, Жуковского, картины великих художников спрятаны где-то здесь. Может, вместе с архивом Карамзина? А где знаменитый альбом Екатерины Николаевны Карамзиной? Вдруг он находится вместе с архивами отца? Ведь если уж отправляли в Дугино, в надежные руки сына стол и архив, то едва ли оставили б в Петербурге драгоценный альбом. Документы подтверждают, что имущество князя было реквизировано. Однако эти-то документы и заставляют серьезно задуматься. Ведь наивно верить, что у князя, владевшего 19-ю тысячами десятин земли и огромными лесами, тянувшимися на два уезда лесничеством, лесопильным заводом, имелись лишь серебряные ложки да монеты, что были реквизированы и сданы в Сычевский банк... Только ли серебряными ложками и прочей мелочью располагал князь? Конечно же, нет! Вывод: основные-то ценности князь спрятал. Иных версий пока нет.

А где же письменный стол Карамзина, на котором создавалась «История Государства Российского»? Судьба его заслуживает большой новеллы: искал я его очень долго. Но в этой статье скажу кратко: в 1919 году стол из имения Дугино *перевезли* в Сычевский музей, в 1920 году уездный отдел народного образования отправил стол в Петроград в Академию наук. Смоленская газета «Рабочий путь» 14 августа 1920 года сообщала, что Академия наук за ценный подарок выразила не только благодарность, но и наградила уездный отдел юбилейной пушкинской медалью.

Сегодня стол историка с медной дощечкой и надписью на ней «Стол, за которым историк Н. М. Карамзин писал «Историю Государства Российского» находится на последней квартире А. С. Пушкина в Ленинграде — набережная Мойки, 12.

Павел Меркурьевич утверждает, что картина неизвестного художника с изображением Пугачева находится в Москве в Историческом музее, внизу полотна надпись: «Вывезена из имения Дугино»; бюст жены Петра Ивановича *находится в Третьяковской галерее*; бюст отца Паниных — где-то в смоленском музее.

Ну, а бронзовый Никита Иванович Панин находился в Сычевском музее, в 30-е годы перевезли его в тенишевский музей «Русская старина», где он, пережив страшные годы оккупации, встречает сегодня каждого входящего...

А деньги треугольной формы? Не из глубины ли древности?

Вот как много тайн хранит Дугино и дугинский парк. Старожилы утверждали и утверждают, что Василиса Кожина похоронена в ограде села Хотьково, что рядом с Дугино. Об этом говорил еще в 1936 году дугинский зоотехник П. Г. Зелле и нынешний краевед П. М. Меркурьев, всю жизнь связавший с Дугино.

И напрашивается закономерный вопрос: почему же в Дугино не создать музей? Почему парк и леса дугинские не объявить заповедником? Сколько бы людей со всей страны и из-за рубежа потянулось в Дугино! Сколько бы людям оно принесло радости, упоения, *скольких бы подтолкнуло* к воспоминаниям и размышлениям об Отечестве... А пока ничего этого нет. А ведь здешние предки не были Иванами, не помнящими родства. Они берегли родной мир. А мы?

МАКСИМОВ Евгений Васильевич — прозаик и публицист. Родился в 1936 году в деревне Козицыно Сычевского района Смоленской области. В 1969 году закончил ВПШ при ЦК КПСС. Член Союза писателей с 1972 года. Автор книг «Бабье лето» (1976), «Вереск — свет осенний» (1981), «Когда шумит рожь» (1974), «Тайна сон-травы» (1986) и других. Живет в Смоленске.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

к 100-летию со дня рождения



Куда мне деться в этом январе

В двадцатых числах октября 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам писал брату Александру и жене Надежде Яковлевне: «Дорогой Шура! Я нахожусь — Владивосток, УСВИТЛ, 11 барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей...» Это, видимо, последние дошедшие до нас строки поэта. 27 декабря О. Мандельштам умер в больничном бараке в пересыльном лагере 3/10 «Вторая речка» под Владивостоком. Ему было сорок семь лет. Тридцать из них он безраздельно отдал поэзии.

Его имя, его творчество находились под запретом в течение десятилетий: тридцать лет отделяют его последнюю прижизненную публикацию на родине (три стихотворения в «Литературной газете», 1932) от первой посмертной (четыре стихотворения в «Дне поэзии». 1962), сорок пять лет — последнюю прижизненную книгу («Стихотворения», 1928) от первой посмертной («Стихотворения», Большая серия «Библиотеки поэта», 1973).

15 (3) января 1991 года исполняется сто лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама. Однако до сих пор мы не удостоены чести иметь ни собрания его сочинений, ни свода воспоминаний о поэте, ни его биографии и иконографии, как, впрочем, не имеем мы таковых, относящихся и к его старшим и младшим современникам: В. Хлебникову, И. Северянину, К. Бальмонту, А. Белому, Н. Клюеву, М. Кузмину, Вяч. Иванову, Н. Гумилеву, М. Волошину... Дивитесь, народы, сколько у России прекрасных поэтов! Но еще более дивитесь, что никак не дают им глубоко, полноправно и полнокровно войти в наш духовный мир.

Много лет тоталитарная система поддерживала и опекала только то, что служило ее укреплению. Наших «идеологов»-правителей страшили духовные истины, выраженные в художественном слове, в слове мыслителей, подлинные эстетические ценности. Потому что невозможно бесконтрольно командовать людьми, которые осознают себя людьми.

Много горя и испытаний выпало на долю народа, много их было и в судьбе этого прекрасного поэта. Он был одним из тех, кто не смирился, кто сохранил свою душу. Стихи его наполнены свежестью и светом высокой Поэзии. И, может быть, Мандельштам есть Мандельштам не столько в исключительно смелом и даже «сенсационном» для своего времени стихотворении о Сталине «Мы живем, под собою не чуя страны» (1933), с которого начался его мученический путь по ссылкам и лагерям, сколько в иных, истинно поэтических шедеврах.

Предлагаем вниманию читателей несколько стихотворений О. Мандельштама из «Воронежских тетрадей» (1935—1937), которые в полном виде были впервые изданы в США в 1980 году. В нашей стране эти стихи стали известны любителям поэзии совсем недавно.

ЮРИЙ ЧЕХОНАДСКИЙ

***

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини.
Шарманщика смерть и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине.

Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскинутых стайку,
Несется земля — меблированный шар, —
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц — разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе застыл талисман —
Движенье, движенье, движенье...

***

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, —

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

***

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа, не знаю чья, жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще — разумейте...

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И, все-таки, земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как и ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

***

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки...

***

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый?
Не еловый, а лиловый.
И какая там береза,
Не скажу наверняка —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка.

***

Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста, —
На холсте уста вселенной, но она уже не та:

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль,
В синий, синий цвет синели океана въелась соль.

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

***

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись, —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шепотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу...



Рембрандт.

БОРИС КОЗМИН

КРАСОТА И ПЕЧАЛЬ ДУШИ

Роль сыграна моя, и все, что ни встречается в жизни радостного и печального, все выпало на мою долю.
К. Хойгенс

В пору нашей молодости, неизбалованной соблазнами развлечений, но сконцентрированной на избранных путях познания, отдельные имена, пример их земного бытия необыкновенно воодушевляли, учащенней заставляли биться сердце. Божественно недосягаемыми, единственными в своем роде воспринимались явления художественного творчества, душа которых зиждилась на дидактике непререкаемых нравственных идеалов. Яркими вспышками в сознании возникали понятия и имена, — греческая классика, Ренессанс, Моцарт, Пушкин и, конечно же, Рембрандт, — этот удивительный голландский самородок, — мастер единственный как у себя на родине, так и во всех странах и во все времена. Библия, Евангелие, — предмет его неистощимого интереса и художественного освоения.

Познав Свет и Тень бытия, — славу и забвение, — он и в искусстве этими категориями оперировал с непостижимым успехом. Немногие в потомстве удостоились столь устойчивой славы и безусловного признания. Слава далеких веков и не столь отдаленных, продолжая волновать чарующими звуками, божественным глаголом, волшебными красками, волнует и с подмостков театральных сцен представлениями об отдельных светочах общечеловеческой культуры.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», как справедливо заметил поэт. Попытаемся и мы в робкой надежде проникнуть в таинственный мир творчества голландского художника.

Гете говорил: «Не будь счастлив, а родись вовремя». Это положение вполне применительно к Рембрандту, жившему в эпоху исключительно бурную. Его родина Голландия — первая европейская страна победившей буржуазии. Она, по выражению К. Маркса, стала «образцовой капиталистической страной семнадцатого столетия», в которой сложились благоприятные условия не только для развития экономики, но и для большого подъема культуры. Искусство перестало быть достоянием узкого круга меценатов. Оно проникло всюду в массы, где только был хотя бы относительный достаток. Известно, что русский царь Петр получил эстетический импульс именно в Голландии, так плодотворно отозвавшийся на российской почве возникновением бесценных эрмитажных коллекций.



Голова старика в восточном наряде. Офорт.

В этих условиях сложились новые формы мировоззрения художников, работавших уже на более массового и демократического потребителя, нежели прежде. Их художественные вкусы ориентировались теперь не на отдельного покупателя-мецената, а на рыночную стоимость продукта их труда. В этих условиях каждый художник в большей степени, чем раньше, развивал субъективные особенности своего дарования. В этом надо усматривать и прогресс, и трагедию личности творца, опередившего эстетические запросы и бюргерские вкусы современников. Наблюдается быстрое совершенствование каждого в отдельности вида живописи: портрета, бытовой композиции, пейзажа, натюрморта и т. д. И в искусстве произошло разделение труда. За редким исключением, в Голландии работало значительное число мастеров, специализировавшихся в каком-либо одном жанре и достигших исключительных результатов: Франс Хальс поднял на небывалую высоту искусство портрета, Янн Вермеер — бытовой жанр, Якоб Рейсдаль — область пейзажной живописи.

В стороне от этой традиции осталось творчество великого Рембрандта, оказавшее сильнейшее влияние на все жанры живописи и графики. Этому художнику в высшей степени свойственно было умение воплотить в своих произведениях национальный дух и в то же время по устремлениям и идеям выйти далеко за пределы своей маленькой Родины, став художником общечеловеческого значения. Рембрандт никогда не выезжал за пределы своей страны, не стремился он и в Италию, как

многие его современники, считая, что на родной земле вполне достаточно возможностей для художника, чтобы развить и усовершенствовать свое мастерство. Однако это ни в малейшей степени не говорит за то, что он был равнодушен к классике или игнорировал ее.

Это была уверенность национального гения, способного творить новые формы классического искусства. Достаточно вспомнить его восхищение «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи или портретом графа Кастильоне Рафаэля, чтобы увидеть ту преемственную связь мастера семнадцатого века с корифеями Возрождения, которая значительно расширила его художественный мир и помогла ему преодолеть «бюргерскую ограниченность голландского искусства и его узкожанровую раздробленность». Насколько глубоко впитал и органически переработал в собственном творчестве Рембрандт достижения великих предшественников, показывают его совершеннейшие композиции на сюжеты из Библии и непревзойденные психологические портреты позднего периода.

Еще в молодости у Рембрандта обнаружилось совершенно особенное отношение к жанру автопортрета. Как сквозь магический кристалл, всматриваясь в тончайшие движения собственной души, он через это с редкостным успехом постигал психологию своих соотечественников-современников. Это пристальное всматривание в собственные физиономические черты не было одним лишь желанием как-то потрафить самому себе, чему примеров художественного лукавства немало; изначально это было способом углубленного исследования.

Рембрандт, сын лейденского мельника, был плоть от плоти своего народа, по сути только что вышедшего из тяжелой освободительной борьбы против испано-габсбургского гнета и устремившегося в своих делах и помыслах к национальному самоутверждению. Но неизбывными на всю жизнь остались его младенческие впечатления. Он еще захватил ужасы, творимые испанскими завоевателями, неслыханные страдания своих ближних и лейденских горожан, принужденных жестокой судьбой противостоять то вражескому булату и огню, то чумному мору, то постоянно грозившим океанским валам, сотрясавшим дамбы, ограждавшие город от потопов. Случалось и их ему пережить. В его прирожденном художественном восприятии запечатлелись те трагические события и то, что в несчастии все были равны.

После изгнания захватчиков жизнь быстро стала брать свое. Все выше и выше поднималось солнце над разоренной страной. Под его живительными вешними лучами таял и испарялся лед оцепенения, наполняя вечно продуваемые ветрами низины медленно смещавшихся к Рейну вод. Освобожденные от мутно-серебристой ряби низкие долины все более пестрели изумрудом ухоженных угодий да пурпурными волнами тюльпанов, будто это сошедшие в землю жертвы войны взывали о памяти к себе. Неусыпному действу поминовения денно и нощно вторило и бойкое верчение и скрип ветряных мельниц. Запах пота и мучной пыли, — спутники его мужицкой молодости, — въелся в его сознание так глубоко и неистребимо, что потом уже всю дальнейшую жизнь со всеми ее счастливыми взлетами к достатку и утонченной роскоши, мрачными пропастями несчастий и нищеты сроднился с терпким духом его мастерских.

И он сам, и отец его, и старшие братья Геррит и Адриан — все они, как и большинство лейденцев, выдубленные жестокими бедами и напастями, в той или иной степени несли на себе печать скрытого мужицкого мученичества. Рембрандт же, от природы отмеченный дарованиями, в семье, особенно в лице отца, нашел сочувственное понимание и даже нéчто, похожее на самолюбивую надежду, что благодаря этим способностям фамилия Харменсов возвысится в глазах лейденского общества. Искусство живописи почиталось за великое благо, потому что через него согревался суровый быт и простирался в наглядностях путь к божественным откровениям. Дарование Рембрандта оказалось особого рода, не сводившееся только к освоению приемов мастерства, но к широкому и углубленному познанию всего сущего.

Несостоявшееся завершение университетского образования, на что затрачены были средства и усилия всей трудовой семьи, не повергли в безнадежное уныние старшего Харменса. Он постоянно следил за успехами сына в живописи, которая стала для него истинным университетом, где он скоро оставил позади своих первых учителей и Яна ван Сваненбюрха, и Питера Ластмана. У него с молодости главным нравственным девизом был: «Познай самого себя!» С годами через трудный собственный опыт он пришел к твердому убеждению: «Человек лучше и быстрей всего учится сам, освобождая глаза свои от заемных образов и беспощадно устремляя нелицеприятный взор в тайники собственной души». Отсюда у него такое влечение к автопортрету — к возможности постоянного самовыражения и самопознания.

Смерть мельника, на котором зиждилось укреплявшееся фамильное благополучие, выявила подспудные тревоги всех обитателей дома. Нужно было что-то делать, кому-то впрягаться в тяжелое и беспокойное мельничное хозяйство. У каждого же были свои обстоятельства и личные интересы, отстаиваемые с болезненной ранимостью. Правда, старший брат Геррит, несчастный калека, переломавший себе ноги на этой самой мельнице, в расчет не шел, поскольку за ним самим требовался уход. Средний — Адриан, — вечно недовольный, почитавший себя в семье ущемленным и как бы обойденным родительским вниманием в пользу младшего — Рембрандта, — талантливого и преуспевающего на легкой стезе, как ему всегда казалось и даже за счет его, Адриана, несбывшихся надежд стать священником, а ставшего башмачником. Сестра Лисбет, — невеста на выданье, девушка, наделенная тонким умом, не могла безучастно следить за тяжбой единокровных существ, в которой, как ей казалось, быстрее хотят выдать ее замуж, и дело с концом.

По всему выходило, что наследство отца должно было перейти Рембрандту, но сама мысль о том, чтобы во имя этого пожертвовать искусством, ему была невыносима. Тяжелый горячий ком смятения поднимался у него от живота к горлу и давил тем сильнее, чем неотвратимее разыгрывалось воображение. Спасла его мать, разрешив все хлопоты. «Отец хотел, чтобы он был художником», — сказала она тогда, глубоко и отрешенно вздохнув и всхлипнув вдовьей слезой.

В этот тягостный и печальный период жизни память и огненное его воображение высветило и запечатлело в душе те минуты, когда жив был еще отец и которому особенно в последний период наносил он сердечные раны своей юношеской гульбой и периодами беззаботной жизни в среде друзей. Его поздние возвращения домой и тревога в глазах у поджидавшего отца; объяснения с невысказанными горькими упреками и какие-то особенно трепетные объятия в знак всепрощения. Все пережитое тогда глубоко залегло в душе и постепенно успокоилось, чтобы с годами вызреть до мудрых и ясных откровений великой живописной поэмы о «Блудном сыне».

Невзгоды и несчастья, если они не ранят смертельно, — закаляют молодые цельные натуры, развивают сильные стороны характера, устремляют их к быстрому возмужанию. Со все возрастающим успехом совершенствовал он свое живописное и графическое мастерство. Весь лейденский период продолжительностью в шесть лет, с 1625 по 1631 годы говорит об этом. И хотя созданные молодым Рембрандтом вещи, подобные «Принесению во храм» (1628 г.), еще не лишены признаков ученичества, они в отдельных компонентах уже вполне мастеровиты. Пристальный взгляд позволяет уловить в них ростки будущего психологизма персонажей и драматической напряженности сюжета. Раскрывались безграничные возможности его композиционного мышления.

Исключительно сильным творческим импульсом в судьбе молодого Рембрандта стала его страстная любовь к Саскии ван Эйленбюрх, ответившей художнику счастливой взаимностью. В 1632 году окончательно перебрав-

шись в Амстердам, молодой мастер, полный неуемной энергии, стремительно вошел в фавору художественной жизни. Коммерция становилась альфой и омегой всех помыслов обитателей новой капиталистической мекки.

По свидетельству друга Рембрандта поэта Иеремиаса Деккера: «Это место, которое в полдень кишит разнообразными народностями, место прогулок, где мавр ведет торговлю с нормандцем, где встречаются еврей, турок и христианин, это школа всех языков, рынок всех товаров, биржа, которая дает силу всем биржам мира». Рембрандту — прирожденному реалисту по своим эстетическим воззрениям, — кажется, и пожелать-то уже было нечего. Для штудии бесконечного разнообразия форм и блеска предметного мира свезено было сюда решительно все. «Кажется, все четыре страны света ограблены, чтобы обогатить этот город и выбросить на его рынок все, что есть достопримечательного и исключительного», — свидетельствует современник художника.

Саския — богатая, юная фрисландка, с хорошими манерами и слегка кокетливая, что прибавляло ей очарования, сама изъявила желание позировать входившему в моду живописцу. В процессе сеансов цепким и проницательным взглядом Рембрандт открывал в своей прелестной модели достоинства здоровой чувственной красоты. Это был именно тот случай, который почти неизбежен в судьбе всякого истинного художника; среди бесчисленной череды портретируемых встречается та единственная модель, в работе с которой живописец реализует весь пыл сердца и ума, достигая истинного творческого озарения.

Это и знаменитая «Флора» Эрмитажного собрания, и «Флора» Лондонской национальной галереи, — и в той, и в другой художник кажется неистощимым в искрометной своей фантазии, наряжая юную супругу в дорогие наряды из своей богатой коллекции реквизитов, на которые он не жалел денег. Саския в восхищенном представлении Рембрандта выступает в образе юной богини, убранной зеленью и цветами. Плавный абрис ее слегка склоненной головки с нежным, лучистым, задумчивым выражением светло-карих глаз создают неотразимый по жизненной правдивости образ, предвосхищающий ценнейшие достижения позднего Рембрандта. Эти достижения характеризуются способностью мастера передать живописными средствами диалектику переживаний, дать им полнокровную жизнь в пространстве и времени. Саския хоть и представлена в образе мифологической богини, но чувства и мысли, наполняющие ее юную головку, вполне понятны каждому.

Апофеозом мажорного мироощущения стал его прославленный «Автопортрет с Саскией на коленях». Одна из драгоценнейших жемчужин Дрезденской галереи, эта картина осталась лучшим свидетельством земного счастья, которым судьба редко награждает гениальных людей. Созданием же группового портрета «Урок анатомии доктора Тюльпа», украсившего зал Собраний хирургической гильдии в 1632 году, Рембрандт открыл для себя путь к славе, потеснив в популярности старшего своего современника из Гарлема Франса Хальса.

Бесчисленные заказы различных корпораций и отдельных богатых бюргеров, стремившихся увековечить свои персоны кистью знаменитого мастера, оплачивались щедро. Вокруг него разрасталась настоящая школа молодых талантливых учеников. Чтобы не утратить степени достигнутой популярности, он едва ли не в каждом заказном портрете самым подробным образом моделировал лица, руки, одежду, драгоценные украшения и делал все это с великолепным мастерством. Создавалась галерея разнообразных типов, наделенных неповторимыми индивидуальными чертами и в то же время объединенных общностью социального происхождения.

Чаще всего заказчики у Рембрандта изображались в костюмах своего времени, однако нередко художник шел навстречу любителям экзотики и обряжал модели в роскошные восточные одежды из личной коллекции. Так появился на свет под условным позднейшим названием «Знатный славянин», этнически весьма мало имеющий сходства с представителями восточной Европы. Это несоответствие можно отнести за счет искусствоведческого курьеза, однако, принимая во внимание пристрастие Рембрандта к собирательству дорогих восточных нарядов и драгоценностей, можно не сомневаться, что делал он это с глубокой творческой осознанностью. От костюмированных персоналий — «Знатный славянин», «Николас Рютс» или «Якоб Трип» — пролегает путь к этнически достоверным и психологически глубочайшим композициям на сюжеты из Библии, такие как «Давид и Ионафон», «Давид и Урия», «Ассур, Аман и Эсфирь».

Парный портрет «Проповедник Ансло с женой» 1641 года в известной степени примечателен. В жизни и творчестве художника исподволь надвигались великие перемены. Счастливая пора супружества с Саскией заканчивалась, а с ней и незыблемость материального благополучия. Творческий рост Рембрандта совершился бурно. Подчас против собственной воли он осложнял себе жизнь, шокируя богатых заказчиков все более частыми художественно-техническими новациями. Гордый, бескомпромиссный характер, впитанная с молоком матери верность идеалам борьбы за свободу, зревший в душе протест против разительного социального размежевания в обществе, — вот те слагаемые, которые при наличии громадного дарования скоро уготовили ему положение одинокого исполина.

Огромный групповой портрет «Ночной дозор», заказанный бюргерами-стрелками во главе с ротным капитаном Баннингом Коком и лейтенантом ван Рейтенбергом вдруг был демонстративно отвергнут. Не потому, что заказчиков не устраивало качество живописи. Она как раз становилась все более зрелой, а в отдельных фрагментах была изумительной по своим цветотональным откровениям. И высокий героический пафос сцены, напоминавший о славной поре освобождения, не принимался в расчет. Глаза же им застилала все нараставшая неприязнь предубеждения к Рембрандту, как к зарвавшемуся, слишком возомнившему о себе классовому чужаку. Эти настроения ловко и исподволь культивировались завистниками, среди которых не последнюю роль сыграли и родственники Саскии — Эйленбюрхи. Вчерашние ласкатели явились злобными хулителями. Теперь на каждом шагу и сам художник, и его многочисленные ученики сталкивались с нелицеприятными суждениями относительно тех новых направлений в искусстве, которые определял Рембрандт. Круг учеников стал приметно сокращаться.

Несмотря на то, что наиболее глубокие и проницательные поклонники, такие как Ян Сикс, доктор Тюльп, поэт Деккер, повидавшие мир и знавшие толк в искусстве, с еще большим восхищением провозглашали великую хвалу своему гениальному современнику, их голоса тонули в бюргерской разноголосице. Безвременная смерть Саскии, его горячо любимой подруги, подарившей ему столько творческого вдохновения, злополучная история с гильдией стрелков, ошельмовавших его великую картину, — все разом в один год обрушилось на него. Эти житейские потрясения еще больше сблизили духовный мир Рембрандта с неизбывной мудростью Священного Писания и через него сосредоточили пристальный взгляд на окружающей жизни, на неприметных тружениках, спасших Отечество и не порабощенных властью Золотого Тельца.

Роскошный дом на Бреестрат, уставленный дорогой резной мебелью, украшенный реликтами древности и шедеврами живописи Рейсдаля, Браувера, Сегерса, Ластмана, дом полная чаша, когда царила в нем Саския, а он самозабвенно творил, наполнился мертвенной тишиной, хотя вокруг продолжалась повседневная суета. По мере отдаления той страшной минуты, когда его подругу опустили в сырую землю, ему все чаще приходили мысли о тех восьми безоблачных годах, когда их любовь торжествовала над любыми напастями. А ведь и тогда рок стучал в их дом. Он вспоминал несчастных своих младенцев, умиравших при первом глотке воздуха. Болью в сердце отзывалась укоризна брата Адриана, известившего о смерти матери, брата Геррита и сестры Лисбет,

умершей так рано, как и его свояченица Тиция. По желанию Саскии их выживший ребенок наречен был Титусом. Теперь только сын да искусство, в которое он погружался с неиспытываемой до этого лирической самоуглубленностью, давали силы, чтобы не сорваться в пропасть небытия.

Мажорное жизнеощущение Рембрандта отошло в прошлое, как и годы молодости. Овдовев в тридцать шесть лет, он всю творческую энергию сосредоточил на неприметно обыденном, направив ее в медитативное русло, где все более открывался для него новый, необъятный мир неброской поэзии. «Святое семейство», небольшая картина из собрания Эрмитажа, написанная три года спустя после смерти Саскии, навеяна глубоко личными переживаниями. Душевное сиротство все эти годы, как могли, скрашивали обитатели его огромного дома: и Клартье, и верная нянька Титуса Гертье, и экономка Диркс.

Медленно все стало преображаться с приходом в его дом двадцатилетней Хендрикьё Стоффельс, взятой из деревни Рансдорп по совету Клартье на должность служанки. Черты лица Марии, ее тихие плавные жесты, без всякого сомнения, напоминают эту женственную миловидную крестьянку, как и в златокудром младенце Христе нельзя не узнать маленького Титуса. Любовь художника теплым сиянием озарила всю эту человечнейшую сцену.

И вновь в который уж раз писал он себя, писал почти во весь свой рост, расправившийся и преодолевший грозные накаты житейских бурь. Писал страстно и мощно. Его живописная манера обретала совершенно иной характер, чем тот, который утверждался, продиктованный модой рафинированного буржуа, и которому теперь в высшей степени отвечал столь же рафинированный изыск гладкописи фламандца Ван Дейка. Спектр цветотональных возможностей Рембрандта необычайно расширялся за счет того, что ему с величайшим искусством удавалось сочетать возможности и эффект светопреломления. Такое многих шокировало.

Известен консерватизм эстетического восприятия, но вместе с тем нельзя было не поразиться силе воздействия такого метода, который привел живописца к желанной цели, сформулированной в письме к Константину Хойгенсу: как стремление «выразить наивысшую и наиестественнейшую подвижность», имея в виду диалектику души. Этот автопортрет — гордость собрания венского Исторического музея, — одна из абсолютных вершин портретной живописи. Четвертое столетие пронизывает он неотразимым, всепонимающим взглядом бесчисленных своих посетителей. И вполне естественно, что на недавней эрмитажной выставке шедевров западного искусства он явно доминировал, окруженный блестящими работами живописцев Веласкеса, Гойи, Рубенса, Ван Дейка.

Этому творческому взлету, безусловно, содействовала близость, а затем и женитьба на Хендрикьё Стоффельс, — представительнице того же социального круга, что и он сам. Двадцатилетняя, крепкая, ладно сложенная чернобровая шатенка, она была носительницей здравого житейского смысла и женственной прелести, не оценить которой жизнелюбивый Рембрандт не мог. К тому же ей удалось обогреть младенчество Титуса, — это отражение святой памяти Саскии.

Тихо, ненавязчиво, с редкой деликатностью завладела она душой художника и на многие годы сделалась и хранительницей его домашнего очага, и вдохновительницей творчества, более всего на свете заботясь о покое и сосредоточенной работе гения. Феномен Рембрандта ни разгадать, ни объяснить обыкновенными представлениями нельзя, — при колоссальной творческой плодовитости над каждой вещью он работал подолгу и основательно. И, кажется, ничто не могло выбить его из колеи.

Однако судьба с этим человеком продолжала свою жестокую и мрачную игру. Не зная досуга, разве что на ходу выпив стакан-другой любимого пива, он вновь становился у холста, либо погружался в смрад кислотных испарений при обработке очередной медной доски офорта на евангельский сюжет, и все более погружался в трясину долгов. Кабальные условия покупки дома на Бреестрат, житейская непрактичность художника медленно вырисовывали надвигающийся крах несостоятельного должника.

Все для Рембрандта возвратилось на круги своя. Его духовное родство с людьми из трудного детства вызвали к жизни целую галерею незабываемых портретов-картин. «Портрет старушки» (ГМИИ), превосходно организованный по колориту, совершенный по композиции и глубокий по раскрытию внутреннего мира. Пожилая женщина спокойно сидит, сложив руки на коленях. Из темно-коричневого прозрачного пространства выступают лицо и руки современницы художника, посредством тончайших тоновых переходов Рембрандт дает почувствовать живую плоть во всей ее неуловимой изменчивости. Подобно позднему Тициану, он значительно сужает цветовую палитру своей живописи и переводит главный акцент на колебание едва уловимых тонов, тем не менее полотна от этого не стали носить монохромный характер. За счет дополнительных цветов он усилил светосилу положенных на холст красок. С большой рельефностью из темноты фона мастер высвечивает лицо и руки. Зритель невольно оказывается как бы сопричастным невеселым думам, «безмолвно развивающим свой длинный свиток».

Мастерство исполнения поднимается до такого совершенства, что его и не замечаешь. Все максимально органично и подчинено строгой внутренней логике. Темная одежда женщины как бы растворяется на сумрачном фоне, усилив местами плотность и интенсивность черного, коричневого и красного цветов, живописец убедительно передает пространство фона, и вся фигура кажется окутанной воздушной средой.

В отличие от портретов прежней поры представителей класса имущих, изображавшихся в дорогих нарядах и драгоценностях, здесь все строго и просто, и лишь скромный перстень, поблескивая на пальце правой руки, словно напоминает о редких радостях в жизни этой беззаветной труженицы с доброй горчинкой в лице и в узловатых изработавшихся руках. В портретах этого периода изображению рук Рембрандт придавал исключительно важное значение, достигая непревзойденного мастерства в усилении этим характера натуры.

Осенью 1654 г. художник съездил в свой родной Лейден. Какая-то неведомая сила порой влечет людей кровно родственных, долгие годы находившихся в размолвке, для предсмертной очистительной встречи. Брат его Адриан с женой Антье, изнуренные бесконечными мельничными делами, житейскими тревогами, ревматизмом, заметно истаивали. За обедами и ужинами и Рембрандт, и Хендрикьё все больше проникались чувствами родственной близости к скромным, непритязательным в быту старикам. Среди обстановки, чуждой самой мысли о какой бы то ни было роскоши, за столом с небогатой снедью в тяжелой оловянной посуде, они оба; он, — отпрыск Харменсов, и она, — дочь сержанта, с детских лет познавшие трудное счастье, погружались в благостные воспоминания о далеком отеческом крове. Поездка оставила неизгладимый след в душе художника. С исключительным эмоциональным подъемом работал он над портретами брата Адриана и его жены. Благословенные дни возрождения кровной любви и примирения после долгой череды лет холодного отчуждения, в чем он и себя не мог не винить. Но сама судьба развела их по разным ипостасям. Одного через испытания духа для Истории и Славы, другого для житейских волнений и тяжелого однообразного труда. В благодатном порыве любви и раскаяния волшебная кисть Рембрандта запечатлела на века живое дыхание и невеселые бесконечные думы брата и свояченицы.

Величайший гуманист по природе своего интеллекта и реалист по средствам выразительности, Рембрандт всегда руководствовался в своей работе некой идеей, — составляющей до конца непостижимую тайну лучших его творений. Эта тайна и в том, что, зачастую изображая голландцев, евреев, с их специфическими национальными и социальными особенностями, он сообщает им черты

духовной близости со всеми европейцами. «Я стократ видал точь-в-точь в картинах Рембрандта такие лица», — замечает Пушкин в своей петербургской повести «Домик в Коломне».

По возвращении на Бреестрат Рембрандт завершил свою «Вирсавию», в облике которой нельзя не узнать тридцатидвухлетнюю Хендрикье, подобно тому как в созданной восемнадцать лет назад «Данае», — одухотвореннейшем образе дочери аргосского царя Акризии угадываются черты Саскии, не раз служившей живописцу вдохновительной моделью. В зрелые и поздние годы на смену рано умершей златокудрой Саскии в круг постоянных живописных экспериментов вошла смуглая шатенка Хендрикьё. То вдохновляет его знаменитый сюжет о Сусанне и старцах, и тогда для создания образа прелестной библейской героини он в качестве адекватной в его представлении натурной модели использует свою богобоязненную супругу. То пишет очередной ее портрет, любуясь кротостью и душевной красотой этого существа, разделившего с ним все его невзгоды (1652 г. Лувр). То изображает усталой и отрешенной (1658 г. Берлин-Далем, Музей), то в образе великолепной богини Юноны.

Порывы творческих страстей Рембрандта неистощимы. И поразительно, что, кажется, не было в мире таких сил, которые бы победили его неукротимый дух. Невзгоды, несчастья, беды стучали в его обитель с нарастающим постоянством и все вероломнее. Едва возвратились они из Лейдена, как пришло известие о смерти брата Адриана; докучные кредиторы все бесцеремоннее следили за каждым его шагом; погиб при взрыве порохового склада лучший и талантливейший его ученик Карел Фабрициус. Заказы, как по дьявольскому сговору, почти прекратились, а то, что он создавал, не находило отклика у богатого покупателя. Когда ему пеняли на отсутствие тонкости и вкуса и вкрадчиво советовали не игнорировать господствовавшую моду, он решительно отметал подобные домогательства, — «как пес хвостом, я кистью виляю». Признавая талант, они считали его грубым мужиком и неумолимо затягивали долговую удавку.

В 1656 году он испытал смрад долговой камеры, а через год все его имущество: и вызывающе громадный дом на Бреестрат, и ценнейшая коллекция живописи и графики европейских мастеров, дорогие реквизиты и семейные драгоценности — были пущены с молотка за бесценок на погашение долгов. Он был разорен до нитки, но не пал духом, не погиб. Потеряв все, что с такой тайной страстью и самоотвержением собиралось десятилетия, он нашел поистине мужскую твердость и мужество утешить ближних: «Не стоит слез, — во мне остался весь блеск потерянного». След пережитого несчастья запечатлен в автопортретах этой поры и в портрете Хендрикьё 1658 года (Берлин—Далем, Музей).

Прошло несколько месяцев мытарств, тяжелых семейных сцен, тягостных недомолвок, прежде чем семейство Рембрандта окончательно обосновалось на Розенграхт, — в бедном еврейском предместье Амстердама. Все чаще в одинокой задумчивости вспоминал художник свое лейденское детство, скромный родительский дом, мать, отца, сестру и братьев, — все уже умерли... Что сказали бы они, окажись вдруг в новом его жилище; как отнеслись бы к новому его состоянию после банкротства. Во всяком случае, мать с недоверием относилась к его родству с семейством Эйленбюрхов, к вызывающей роскоши и странным запросам несостоявшегося мельника и его изнеженной супруги. Этот же, затерянный среди многих неприметных серых домов бедного предместья, превосходивший даже их, лейденский, ничем не выделял сына голландского мельника и уже не мог вызвать погибельной зависти, которая его разорила. И этот дом, и это его состояние у матери скорее вызвало бы понимание и материнское сочувствие.

Повинуясь уроку горького опыта, Рембрандт без сопротивления уступил Хендрикье и Титусу все права и заботы по распоряжению скудными семейными средствами. Отныне у него не было другой заботы, как только стоять у мольберта или склоняться над медной доской. В «Автопортрете с палитрой и кистями» 1660 г. (из лондонского частного собрания) предстает пожилой человек, полный еще могучей энергии, хотя и изрядно потрепанный невзгодами. Это особенно заметно в сравнении с автопортретом почти десятилетней давности из собрания Венского музея. Белый и мятый платок на голове, взамен берета, одутловатое багрово-землистое лицо с крупным мясистым носом, обрамленное поредевшими седыми патлами волос, раздавшаяся вширь, как бы придавленная к земле, фигура стареющего человека, — вот таким входил величайший художник в полосу забвения. Таким его видели современники, — отстраненным от всего, что не отвечало его сокровенным творческим исканиям. Искал же он, часто теряясь в пестрой толпе бедняков, появляясь у церквей и синагог, среди раввинов и ашкеназов живых прототипов для образа Христа и библейских персонажей.

В скромном своем жилище на Розенграхт среди медленных трудов, рождавших таинства соприродного искусства, — портретов-картин: «Старик-еврей», «Мужской портрет», «Старик в красной кофте», все новые и новые автопортреты, запечатлевшие щемящую глубину драматизма, исподволь вынашивал Рембрандт заветную тему о блудном сыне. Гениальное воплощение известного сюжета обрело жизнь не прежде, чем художнику суждены были новые испытания. В 1661 году сквозь мрак нужды промелькнул яркий луч надежды. Он получил заказ на групповой портрет «Синдиков гильдии суконщиков» и хорошо заработал.

Этот успех вдохновил немногих, но влиятельных друзей Рембрандта хлопотать о передаче ему еще более значительного заказа по оформлению вновь построенной ратуши. Он создал громадное историко-патриотическое полотно «Заговор Юлия Цивилиса», которое постигла та же судьба, что и «Ночной дозор». И хотя, выпалив гнев и негодование на всех и вся за то, что вновь позволил себя втравить в презренный соблазн, не один раз взвыв как раненый лев, он и теперь выстоял, — это сокрушило тех, — самых близких, которые оградили его от докучных мелочей жизни, — Хендрикьё и Титуса.

Осенью 1663 года он второй раз овдовел, а пять лет спустя похоронил и двадцатисемилетнего сына Титуса. Нити, связывавшие его с миром живых, рвались неотвратимо. Последние силы были отданы самой исповедальной и задушевной его картине о блудном сыне, о несокрушимой силе любви, прошедшей через тернии и страдания. Он живо вспоминал свою молодость и нередкие порывы к ветреным увлечениям; помнил горестные минуты объяснений с отцом и трепетные его объятия. Теперь старый, одинокий, похоронивший всех своих близких, подобно евангельскому старцу, он тем более не мог забыть недавних назиданий и примирительных объятий с несчастным Титусом. Все это глубоко пережитое Рембрандт воплотил в совершенной живописной форме, полной глубоких неразгаданных тайн.

Эжен Фромантен в свое время сделал любопытное наблюдение, заявив, что «Рембрандт — наименее голландец из всех голландских художников, что он, хотя и принадлежал своему времени, но никогда полностью». Самая существенная его часть принадлежала грядущим временам и всему человечеству.

●



Автопортрет с Саскией на коленях



Давид и Ионафан

Портрет Бертье Доомер.

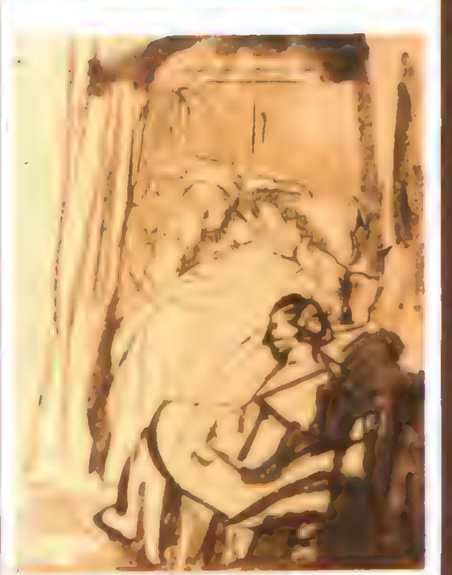
Рисунки



Кухонная сценка.



Автопортрет в рабочей одежде.



Больная.



Лев.

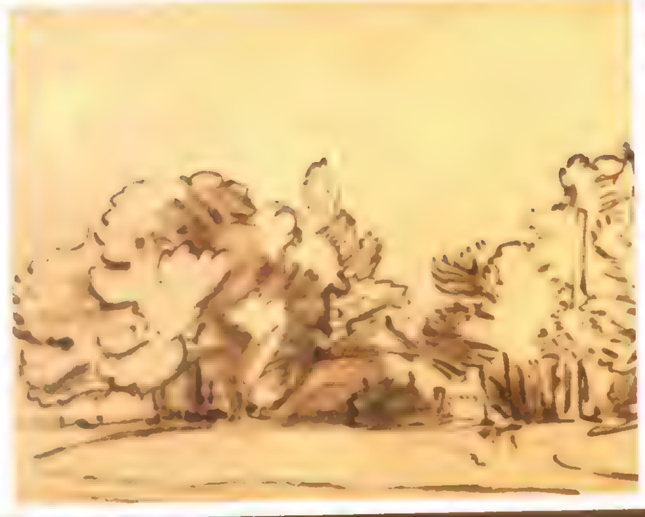


Хождение по водам.

Женщина, примеряющая серьгу.



Зимний пейзаж.



Крестьянская хижина и большие деревья.

Флора.



ЭКОЛОГИЯ

Природа. Гибель. Спасение.

АНАТОЛИЙ ШВИДЕНКО

БОЛЬ МОЯ О РУССКОМ ЛЕСЕ

Фото Юрия Садовникова.

«Начало жизни у меня есть конец, конец — начало, я не знаю, откуда прихожу, не знаю, где нахожусь, и не ведаю, куда опять завтра пойду»...

Нет, не приемлю я Твоей мудрости, Симеон Новый Богослов, ибо можно веровать в существование духа человеческого помимо древа жизни, но что заменит человеку обыкновенную радость его земного бытия?.. Нет, никто и ничто не оправдает и не поправит смерть живого, есть грани, за которыми нет ничего, кроме торжества знаменитого третьего начала термодинамики (...Все процессы в мире свершаются в направлении деградации энергии, сложности и порядка...).

...Над Мончегорском — пронзительное голубое небо, свободные ветры арктических пространств шевелят разноцветные дымы знаменитого комбината. Стране нужен никель. Никто, правда, не знает, сколько его действительно нужно для счастья и процветания народа. Впрочем, ни количества ракет, ранее столь необходимых для утверждения нас в образе империи зла, ни времени их уничтожения тоже пока никто не знает, равно как и количества подлежащих демонтажу блоков АЭС. Известно только, что это обойдется тому же народу в такую же необозримую копеечку, что и их создание...

Под Мончегорском — техногенная пустыня, непривычные пока человеку могильные пространства холодом окаменелой пустоты обвевают душу. Почти сто тысяч гектаров погубленной тайги, медленно, но неотвратимо расползающаяся смерть. Есть понятия предельно допустимых концентраций (ПДК) и нагрузок (ПДН), после длительного воздействия которых приходится уповать лишь на то самое третье начало. «Горы обезлесили, леса обезлисили, лисы облысели»... Что думал Велимир Хлебников там, в рассветной сумяти двадцатых? Прозрение гения, видящего суть человеческую и временную траекторию, по которой поведет человека эта суть? Предвидение грядущего апокалипсиса, тоска неотвратимости постчернобыльских пустынь?

Впрочем, Мончегорск — даже не середнячок и далеко не лидер: из 64 городов нашей страны, выбросивших в прошлом году вредных веществ в атмосферу более 200 тысяч тонн, он на 49-м месте. И не числится он ни среди трех десятков городов с наибольшими концентрациями конкретных «ядохимикатов» в воздухе и на земле, ни среди 68 — с наибольшим суммарным индексом загрязнения атмосферы (есть такой, определяется по пяти наиболее представленным загрязнителям). Великий и, надеюсь, непревзойденный в будущем рекордсмен здесь — славный город Норильск, прочно стоящий на фундаменте вечной мерзлоты, намертво скрепленный костями политзэков. Знаменитый комбинат, почти вся таблица Менделеева. Стране действительно нужна вся таблица Менделеева. Но тогда, разумеется, и иной счет погубленного пространства: два миллиона гектаров, из них — 500 тысяч северной тайги, защитницы южных земель. Впрочем, судите сами — выбросы вредных веществ предприятиями Норильска в прошлом году составили два миллиона триста шестьдесят тысяч тонн. Можете посчитать, сколько получается всяких ПДК и ПДН, если, например, среднесуточная ПДК для сернистого газа составляет 0,05 мг на кубический метр воздуха, и ни для одного из учитывающихся ныне основных загрязнителей она не превышает 0,6 мг/м^3.

Впервые в прошлом году с данных по стране, характеризующих состояние среды нелегкого нашего выживания, снят гриф секретности, и, собранные вместе, они производят удручающее впечатление даже на профессионалов, знакомых с проблемой не понаслышке. Почти треть проверенных рек имели превышение ПДК в 10 раз и больше. По-прежнему травят Байкал. Десяток заболеваний — одно страшнее другого — несет величаво Северная Двина: в реке (как и в тысячах других) слишком много органики. Ореолы загрязнений вокруг промышленных и урбанизированных агломераций Европейской части, отчетливо вырисовывающиеся на зимних космических снимках, скоро сомкнутся. Их площадь достигла 300 млн. гектаров. По скромным оценкам, 10 млн. гектаров используемых сельскохозяйственных земель заражены сверх всякой меры, но, думается, это далеко не вся правда — ведь только сверхнормативный «дуст» ДДТ присутствует в 16% проверенных земель. Треть пашен имеют повышенную кислотность...

Это то, чем мы и дети наши дышим, что едим и пьем. И в конечном счете самое страшное не в тех проявлениях деградации, которые можно увидеть, изучить, оценить. Мы очень мало знаем о глубинных процессах, протекающих в живом, и сегодня никто не скажет, сколь необратимо поражены наследственные механизмы, какой будет всплеск мутаций и к чему он приведет.

Беда эта, конечно, общая. Не мы одни преуспеваем в этом. Десятками миллионов гектаров оцениваются поврежденные леса Европы. На территории ФРГ, Франции, Нидерландов и многих других стран повреждено каждое второе дерево. 15 тысяч озер погублены в Канаде, 20 тысяч — в Швеции... Этот перечень бесконечен. И никто не может спрятаться друг от друга. Чернобыльское облако достигло калифорнийского побережья на десятый день после взрыва (и американские эксперты предсказывают повышение количества раковых заболеваний!). Никакие таможни не задерживают трансграничный перенос загрязнений: скажем, из 1 млн. 300 тыс. тонн серы, которую получила в 1989 году украинская земля, «своих» — 800 тысяч, остальные пришли к нам из благословенного запада. Не меньший «подарок» получила Прибалтика, не обделена многострадальная Белоруссия...

Хватит, скажет читатель, надо же что-то делать!.. Что-то, увы, уже мало. Нужны немедленные совместные, чрезвычайно дорогие и целенаправленные усилия по коренной перестройке промышленности, переход на безотходные, экологически чистые производства. Нужно искать технологии возвращения к жизни умерших пространств: самой матери-Природе, если ей дадут выжить, на это понадобятся многие столетия. Для реализации этого нужна, по крайней мере, половина из того триллиона долларов, который собратья по цивилизации тратят ежегодно на оружие.

Впрочем, проклятый капитализм (или как он там ныне именуется), точнее то, что называется развитым капитализмом, взялся за это дело с присущей ему энергией и напором. До предела ужесточается экологическое законодательство. Убираются подальше грязные производства и отходы (к нам, например). Беспрецедентные по масштабам акции неформалов и средств массовой информации стали одним из регуляторов государственной политики. Ряд европейских стран разработал долгосрочную перестройку промышленности. Мы только начали этот путь. Принятые в последнее время законы продвигают нас, безусловно, в правильном направлении. Вместе с другими европейцами мы вступили в «клуб 30%» (обязательство снизить выбросы серы к 1993 году на тридцать процентов). Есть надежда, что скоро мы станем полноправным участником международных экологических движений... Но — слишком много гласности, слишком мало перестройки. Реальное продвижение ничтожно, и нет уверенности, что очередной Минводхоз не проглотит очередные 20 млрд. рублей на очередное крупномасштабное разрушение природы. Кстати, примерно в такую сумму обошлось американцам спасение Великих озер, и, смею вас уверить, вода в этих озерах сейчас почти такая же прозрачная, как в тех частях Байкала, куда еще не дошла деятельность еще одного знаменитого комбината.

Есть у не поумневшего пока человека великий союзник в борьбе с деградацией, верный и незаменимый хранитель земли и жизни на земле, душа живая, наиболее устойчивая преграда процессам разрушения — л е с. Это он хранит 82% фитомассы суши. Российский лес каждому жителю нашей страны ежегодно дает 10 тонн кислорода и забирает 12 тонн углекислоты. Это он — владетель той, видимо, единственной красоты, у которой нет изъяна. Глубинный источник духовного обогащения человека, его представлений о гармонии. Может, нет ничего изначальней куска хлеба, но стремление к красоте — такой же атрибут и непременное условие существования человеческого духа, как и стремление к познанию.

Человечество может жить без всех продуктов, которые дает лес, но оно не выживет без самого леса — это не фраза, а отражение суровой действительности.

Человечество уничтожает своего союзника. «Естественный лес — совершенно другой лес, непохожий на наши

ШВИДЕНКО А. З., профессор, доктор сельскохозяйственных наук, директор ВНИИ лесоресурсов, постоянный автор нашего журнала (см.: № 5, 1989 г., № 6, 1990 г.).

искусственные создания. Все его внутренние свойства — результат тысячелетнего процесса приспособления в дарвинском смысле, процесса, в котором в полной мере приняты в расчет все временные и местные опасности и соблюдены все условия для продолжительного равномерного существования. Только против одного врага и он бессилен — против человека, и как мало может лес сопротивляться разрушительной силе этого врага, всюду доказывают тысячи его кровоточащих ран». Это начало века, посмертно опубликованные записки Карла Гайера, светлого старца и истинного ученого, прожившего длинную жизнь в удивительном согласии с лесом, совестью и убеждениями.

Похоже, что он, мудрец, знал все уже тогда. Недавно два ученых с американского континента написали книгу под симптоматичным названием «Исчезающие русские леса», и боюсь, что для этого у них было достаточно оснований. Если всмотреться, как мы обращаемся с нашим российским лесом (а в России — 95% союзных лесов), то становится «стыдно и страшно» (Леонид Леонов).

Крайняя неравномерность размещения наших лесов (в Европейско-Уральской зоне, где проживает три четверти населения страны, около четверти лесов; громадные степные пространства практически лишены лесной защиты) порождает трудноразрешаемые проблемы. Доказано, что даже при экологически щадящем природопользовании для предотвращения деградации природных ландшафтов необходимо, чтобы стабилизирующая растительность — лесная — занимала не менее трети территории; этому правилу, кстати, следует подавляющее большинство европейских стран. Лесистость наших основных житниц редко достигает лишь третьей части этой нормы. Многочисленные кампании по защитному лесоразведению проблему пока не решили: стране требуется 18 млн. гектаров агролесомелиоративных насаждений, сегодня их всего пять. Давно назрела необходимость всестороннего осмысления проблемы оптимизации структуры ландшафтов, сохранения и воссоздания лесного каркаса территорий. Небольшие сдвиги в этом есть — разработан проект Государственной программы лесовосстановления, но лесная отрасль получает сегодня не более трети средств, необходимых для качественного и полного восстановления лесов (примерно 3% от затрат на заготовку и вывоз леса). Сегодня посадка лесов производится только на половине вырубленных территорий (и примерно на четверти с учетом выгорающих площадей), причем не менее 30% посадок погибает, не успев стать лесом. Нет, общая площадь лесов последние десятилетия в стране не уменьшается, природа — великий сеятель, но слишком долгое понадобится время, чтобы восстановленное по вырубкам и гарям стало полноценным лесом.

То, что землю надо спасать, доказывать не требуется. Наши земельные ресурсы в глубоком кризисе, и не видно пока спасения от бездумных и бездушных временщиков. Судите сами. Из 606 млн. гектаров сельскохозяйственных земель подвержено ветровой и водной эрозии 475, из 227 млн. гектаров пашни — 177. А ведь земли пахотной, кормилицы, у нас немного: при оптимуме один гектар на человека — в 1985 году мы имели 0,82, прогноз к 2000 году — 0,7—0,65 гектара. И это при том, что за последние 40 лет была и целина, и другие попытки расширить площади пахотных земель. Протяженность оврагов превысила 1 млн. километров, ежегодно добавляется на сельских нивах 4 млн. га разрушенных почв. Ежегодно поля теряют 150 млн. тонн гумуса: так его хватит на считанные десятки лет. За счет эрозии мы не добираем ежегодно более чем треть урожая, не менее 25 млрд. рублей в год. Конечно, есть еще и несостоятельность системы земледелия. Средняя масса сельскохозяйственной техники за последние четверть века увеличилась вдвое; за счет чрезмерного уплотнения почв их плодородие упало на треть. Добавим, что треть урожая теряется из-за вредителей и болезней. Прилагаются громадные усилия, но... из 20 млн. гектаров орошаемых земель уже выпало из хозяйственного оборота пять. Бездарные технологические решения (попробуйте сыскать в стране хотя бы одну действующую осушительно-оросительную систему) ведут ко вторичному засолению и гибели почв. Ежегодно в водоемы смывается до 1,5 млрд. тонн продуктов разрушения почв вместе с загрязняющими веществами, включая 30% вносимых пестицидов. Эти цифры — грозный символ деградации, беды настоящего и будущего. Это песок миллиона гектаров развеваемых земель Калмыкии над Парижем, соленая пыль Арала на южнороссийских землях... Только по одной Калмыкии Совет Министров России (прежний) принял 4 постановления, и как сказал один неспокойный человек, с этой проблемой мы справимся: половину разрушенных земель закроем постановлениями, а другую — бумагами о том, почему эти постановления не выполняются.

Как бы нас ни утешали, что леса наши благоденствуют, факты говорят совсем о другом.

За последние 5 лет запасы спелого леса в стране уменьшились почти на 3 миллиарда кубометров; с учетом поспевания — это уже не менее четырех миллиардов. Два из них вырублено, но где же остальные?! За тот же период уменьшился запас спелых лесов в Якутии почти на полтора миллиарда кубометров (рубки здесь в ничтожных размерах), на 1,4 млн. га уменьшилась площадь кедровых лесов в Тюменской области, на 200 тысяч гектаров стало меньше дубрав в России. В Хабаровском крае запас спелой древесины сократился на 250 млн. кубометров (рубили около 15 млн. — в год), уничтожено 300 тысяч гектаров ельников, идет безостановочное разрушение уникальных лесов корейского кедра (в 1966 году их было 1460 тысяч гектаров, в 1988 — 800 тысяч). К тому же ежегодно в пожарах гибнет около 2 млн. гектаров лесов.

В европейской зоне, где особый древесный голод и сложная экологическая ситуация, леса многих областей крайне истощены. Но мы десятилетиями допускали значительные перерубы высококачественных хвойных насаждений, оставляя гнить на корню десятки миллионов кубометров лиственной древесины.

Так, спелого леса в Костромской и Вологодской областях осталось не больше, чем на 20 лет, в Карелии — на 30. Да и многие сибирские края находятся не в лучшем состоянии: завозит себе лес Новосибирская область, а треть леспромхозов Красноярского края — под угрозой закрытия в ближайшие 10—15 лет. А за этим — не только искалеченные леса, но и необходимость закрытия многих десятков леспромхозов, неустроенные люди, брошенные поселки и гибнущие дороги, словом, очередной виток все той же непобедимой бесхозяйственности.

Многие десятилетия никто не интересовался стратегией размещения лесозаготовительных предприятий в таежных местах: хищнически вырубались наиболее доступные, высокопроизводительные леса, и чтобы изменить это «пятнистое выедание», требуются громадные средства. Исповедовалась порочная теория перемещения лесозаготовок в многолесные районы — там, где рубился лес, в лучшем случае создавались лесопильные производства, но не было никакой глубокой переработки.

Во всем мире существует прекрасный принцип — «технология под сырье». Но только не у нас. Мы везем лес сегодня в среднем на расстояние чуть меньше 2000 км, вызывая изумление всего цивилизованного мира (это о наших перевозках придумали специфический термин «синдром географических ножниц»). Результат — громадные потери: в лучшем случае из трех вырубленных деревьев до готового продукта доходит одно, десятки миллионов кубометров гибнут в лесу и горят в отвалах. Вырубая больше всех круглого леса, мы производим в расчете на душу населения меньше в сравнении, например, с США целлюлозы — в 8 раз, бумаги и картона — в 7, фанеры — в 9 раз. По выработке бумаги и картона страна на 49-м месте в мире...

Мы — печальные рекордсмены почти по всем направлениям лесной индустрии. У нас самая антиэкологическая лесозаготовительная техника в мире. Никто из уважающих себя стран не пользуется двадцатитонными гусеничными монстрами, оставляющими после себя пустыню.

Уничтожение всего живого корейскими концессиями в районе БАМа, после чего на сотнях тысяч гектаров цар-

ствует один багульник. Почти 30 млн. куб. метров молевого сплава — это миллионы килограммов фенолов и прочей химии в воде. Сейчас на водохранилищах Ангаро-Енисейского бассейна находится в заливах и на прибрежной полосе более 5 млн. куб. метров древесины. Хотя с 1970 по 1988 год на Братском водохранилище выловили 5,3 млн. куб. метров древесины, плавающего леса не становится меньше. Вывозим за рубеж почти исключительно круглый лес, от чего отказались уже Филиппины и Таиланд...

Оставим «изобличительный» поток и спросим: откуда это? Из того времени, в котором вся истина заключалась в слепом следовании разлагающей демагогии? Еще в тридцатых годах единственно разумный принцип рационального хозяйствования в лесу — принцип непрерывного и неистощительного пользования лесом — предавали анафеме, а его сторонников объявляли врагами народа. До последних времен бытовал миф о неизбывности отечественных лесов и о том, что лес — дар природы и ничего не стоит. В это, наверное, нелегко поверить, но и сегодня лесную землю любое ведомство получает бесплатно, а кубометр древесины, отпускаемый на корню, — в 10 раз дешевле, чем на Западе. За последнее пятилетие площадь гослесфонда Сибири уменьшилась на 6 миллионов гектаров, а счет навсегда уничтоженных нефтяниками северных земель идет на миллионы гектаров, однако это не дает ни одного рубля лесоводам для восстановления лесов, улучшения неразвитой инфраструктуры, нищенской и допотопной социальной сферы.

Бесспорно, времена начали ощутимо меняться. Верховный Совет принял решение сосредоточить все леса в ведении единого государственного органа. Запрещена уничтожительная рубка кедра. Разработан проект нового лесного законодательства, в ближайшем будущем должны вступить в силу механизмы экономической оценки лесов, подготовлен проект об аренде, создается корпус лесничих, задача которых — управление лесами от имени государства. Но как медленно, а то и неразумно многое делается в нашем государстве! Вот и борьба за власть становится важнее подлинной заботы о природных ресурсах, в том числе и лесных. Кричим о собственности народа на землю — правильно, конечно, но управление лесами требует масштабного, общегосударственного подхода — иначе не решить главнейшие природоохранные проблемы. Передали два года назад Минлеспрому двести миллионов гектаров лучших лесов — и разорили лесную службу. А промышленники по-прежнему требуют преступного переруба будто бы из-за «исключительной сложности момента»...

А над древними склонами Шагонара, совсем близко над нами, победно сияют звезды, не признающие ущербную луну, и в их непостижимом свечении смутно прорисовываются очертания затихшего внизу в долине тувинского селения. Затухшие угли костра светлеют в холодном дыхании августа. Бугрятся уходящие к югу, в Монголию, хребты, пустынность которых заменяет сейчас ночная таинственность простора. Темная массивность кедров перемежается ажурностью лиственичных крон. Исконные российские деревья — аккумулированная веками таинственность живого, неразгаданная тайна прошлого и будущего.

О многом переговорено у этого костра с нашими коллегами. Здесь и американский профессор Джордж, столь похожий на типичного русского интеллигента из прошлого века, и бодрый голландец, не потерявший угловатости юности. Вместе нас собрала проблема глобального потепления и неизбежного изменения северных лесов: еще одну заботу создало себе человечество.

Вдруг Джордж обрушивается на свою собственную бюрократию и милитаризм, говорит о том, что ни одно государство никогда не было заинтересовано до конца в истине, и только развитие независимых организаций может быть подлинным регулятором нелегкого процесса сближения природы и человека.

Я достаю записную книжку и читаю ему поразившие меня еще в далекой юности слова, которыми ровно сто лет назад один из основоположников российского научного лесоводства Ф. К. Арнольд закончил трехтомный «Русский лес», разъяснявший широкой публике место лесов в существовании человека и суть незадолго до этого принятого и высочайше утвержденного первого в нашем отечестве лесоохранительного закона:

«...Заговорив о русском лесе в такую пору, когда правительство и само решилось на жертвы для сбережения этого богатства, и твердою рукою указало своим верноподданным на необходимость таких же жертв, — в такую пору, говорим, можно ли умолчать о том, что смысл и значение этих, несомненно больших жертв, не может быть объяснен с точки зрения космополита, или как говорят теперь, общечеловека, что оне понятны только для гражданина своей страны.

Мы все хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был. Мы соль земли, мы свет.
Когда голодныя толпы в годину бед
Из темных долов к нам о хлебе вопиют,
Прокормим как-нибудь мы этот темный люд,
Чтобы не умереть ему, не голодать —
Нам есть пока что дать.

Но если б умер в нем живущий идеал,
И жгучим голодом духовным он взалкал,
И вдруг о помощи возопиял бы к нам,
Своим старейшинам, пророкам и вождям; —
Мы все хранители огня на алтаре,
Дабы всем виден был и в ту светил бы тьму —
Что дали б мы ему?»

Вот почему автору «Русского леса» казалось недостаточным повторить вслед за учеными всех стран стереотипное «сберегайте леса». Вместо этого он решился высказать эту мысль пространнее:

«Будем хранить родные леса, как часть дорогой нам России, за которую кровь наших дедов и отцов обильно лилась и на полях Европы, возделяющей и нашим богатствам, и в грозной стихийной Азии».

Текст не очень легкий для перевода на английский, но Джордж все-таки схватывает оттенки мысли удивительно быстро, и, мне кажется, ощущает незаурядный слог автора. И мы снова молчим, и смотрим на угли, а я вижу рядом в записной книжке еще две цитаты, уже выписанные мной «у американцев»:

«...Настоящая программа реформ в основе своей несовместима с русской культурой, политической идеологией и социальной силой...»

«Горбачевская «гласность» — так же, как и хрущевская «оттепель» — может оказаться временным и, до некоторой степени, эфемерным явлением, связанным не с настоящими переменами в системе, но, скорее, с консолидацией власти в руках руководителя и замены одной элиты другой...»

Трудно, конечно, когда рушатся идеалы. И какую долю истины видят те, кто отказывает русской культуре в понимании пути к подлинному возрождению? Уповать на то, что кто-то «твердою рукою укажет своим верноподданным» — пожалуй, не пройдет, это уже было. Но если боль и страдание — сущность в духовном очищении, то, видимо, в будущее можно смотреть с оптимизмом...

Ночь закономерно катится к концу, белесые туманы начинают прорастать над озябшей землей, сумеречно светлея к востоку. Светла ли наша печаль и тверда ли вера? Выстоят ли и наш народ, и наш лес, столь сродненные судьбой, терпением и неброским величием в это изломное время?.. Но нет сомнения, что в нашем возрождении всегда должна жить заповедь: мы не получили природу в наследство от своих предков, мы взяли ее на время у своих детей.

●

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Предлагаем вашему вниманию главу из книги Л. Миллер «Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна». Книга была издана в Западной Германии (изд-во «Посев») в ознаменование 1000-летия Крещения Руси и посвящена всем гонимым и страждущим за веру православную в России. Это бесхитростный, основанный на фактах, рассказ о судьбе женщины, которая даже перед лицом смерти осталась верна своей стране и народу и молила Господа об убийцах своих, ибо «не ведят бо, что творят».

К сожалению, несмотря на то, что Великая княгиня Елизавета была причислена к лику святых Русской Православной Зарубежной Церковью, до последнего времени мы ничего о ней не знали. Прежде всего потому, что принадлежала она к царской фамилии и была родной сестрой последней императрицы Александры Феодоровны. Между тем, дела ее, как справедливо писал игумен Серафим («Мученики христианского дела», Пекин, 1920 г.) еще «воспоют в стихах». Вскоре после смерти мужа, убитого террористом Каляевым, распродав свои драгоценности и ценные предметы искусства, Елизавета Феодоровна основала Марфо-Мариинскую обитель Милосердия (1909 г.). Приняв постриг, она вела настоящую жизнь подвижницы, совершила много подвигов и приняла добровольную мученическую смерть, оставшись до последней минуты верной своему христианскому долгу. Пришло, наконец, время, и великая княгиня Елизавета Феодоровна вновь вернулась в свою обитель. В августе 1990 года состоялось открытие памятника этой удивительной женщине. Автор памятника скульптор, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР В. Клыков. (См. вторую страницу обложки и цветную вклейку.) Издательство «Столица» готовит к печати книгу Л. Миллер. И хочется верить, что «вновь засияют золотом купола и кресты поруганных храмов и монастырей, и по всей воскресшей Святой Руси понесется ликующий пасхальный перезвон колоколов. И там, где стояла Марфо-Мариинская обитель любви и милосердия, трудами православного народа, вероятно, будет воздвигнут величественный храм во имя св. Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы».

Св. Преподобномученица ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА



Фото А. И. САВЕЛЬЕВА.

Елизавета Феодоровна на открытии нового храма.





«...Святой Кремль, с заметными следами этих печальных дней, был мне дороже, чем когда бы то ни было, и я почувствовала, до какой степени Православная Церковь является настоящей Церковью Господней. Я испытывала такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот, что я чувствую каждый день. *Святая Россия не может погибнуть...»*

Из письма
Великой княгини
Елизаветы Феодоровны
к графине
А. Олсуфьевой
за несколько дней
до ареста,
апрель 1918 г.

ЛЮБОВЬ МИЛЛЕР

У ПОСЛЕДНЕГО ПОРОГА

Великая княгиня Елизавета Феодоровна и остальные узники были привезены в Алапаевск 20 мая 1918 года и помещены в Напольной школе на краю города*.

Эта школа представляла собой каменное здание коридорной системы из четырех больших и двух маленьких комнат.

Угловую комнату заняла охрана. В первой большой комнате разместились Великий князь Сергей Михайлович, князь Владимир Палей и служащие Ф. М. Ремез и Круковский. В следующей комнате — князья-братья Константин Константинович и Игорь Константинович. В угловой — жила Великая княгиня Елизавета с сестрами Варварой и Екатериной. Другую угловую комнату занимал князь Иоанн Константинович, а рядом — служащий Калин.

В комнатах школы стояли простые железные кровати с жесткими матрацами, несколько столов и стульев.

При школе была кухня, где готовили приходящие поварихи Кривова и ее помощница. Караул состоял из шести лиц: мадьяр-красноармейцев и местных рабочих, назначавшихся Совпедом или Чека.

Князья и Великая княгиня работали в огороде, где своими руками сделали гряды и цветочные клумбы. Школьный двор они вычистили и привели в порядок так, что там получился уютный уголок.

Елизавета Феодоровна руководила посадкой в школьном огороде, и князь Владимир Палей писал матери, что тетя Элла знает об овощах больше, чем кто-либо из них.

Обедали все, кроме Елизаветы Феодоровны, в комнате Сергея Михайловича. Великая княгиня обедала отдельно у себя в комнате. Она занималась рисованием и подолгу молилась. (Из показаний во время следствия поварихи Кривовой.)**

С разрешения разводящего красноармейца караула, заключенные ходили в церковь и гуляли в поле, которое прилегало к школе. Ходили они там без охраны.

Повариха Кривова на следствии говорила, что красноармейцы, охранявшие узников, были разные. Одни жалели их, а другие были грубыми и придирчивыми. Около трех раз дежурными были красноармейцы-австрийцы. Они были очень жестокими и по ночам почти через каждый час врывались в комнаты заключенных и производили там обыск. Великий князь Сергей Михайлович протестовал против такого насилия, но на его протесты не отвечали.

Е. М. Алмединген в «An Unbroken Unity» пишет, что все узники Напольной школы очень сдружились. Владимир Палей, некоторые письма которого дошли до его матери, писал много о «дяде Сергее», которого все они успели полюбить. Писал он и о «тете Элле» и о ее большой к нему доброте.

Елизавета Феодоровна не знала хорошо сына Павла Александровича от его второго брака — Владимира Палея. Теперь же, в ссылке, она очень полюбила своего племянника.

* Н. Соколов. «Убийство Царской семьи». Изд. «El Verbo Ruso», Буэнос-Айрес, 1978.

** Н. Соколов. «Убийство Царской семьи».

Как видно, жизнь заключенных в Алапаевске протекала в большой дружбе и взаимной любви. Они хорошо узнали друг друга, и их общее положение сроднило их всех.

Для вечерней молитвы все собирались в комнате Елизаветы Феодоровны, и молитвы читал или князь Иоанн Константинович, или Великая княгиня.

Елизавета Феодоровна делала также рисунки для вышивки для супруги Иоанна, Елены Петровны, которая некоторое время жила в Алапаевске*.

Определенно, что у узников было и некоторое общение с местным населением. Среди вещей Великой княгини Елизаветы в Алапаевске было найдено полотенце грубого деревенского полотна с вышивкой и надписью:

«Матушка Великая княгиня Елизавета Феодоровна, не откажись принять по старому русскому обычаю хлеб-соль от верных слуг царя и отечества, крестьян Нейво-Алапаевской волости, Верхотурского уезда»**.

21 июня жизнь заключенных резко изменилась к худшему. У них были отобраны личные вещи и деньги: обувь, белье, платье, подушки, золотые и серебряные вещи. Оставлено было только носильное платье, пара обуви и две смены белья. Всякие прогулки вне школьной ограды были запрещены. Теперь несчастные жертвы уже были лишены и последнего утешения — посещения церкви.

Эта перемена произошла по приказу из Екатеринбурга.

Великий князь Сергей Михайлович послал телеграмму в Екатеринбург председателю Областного совета. Он в телеграмме писал следующее:

«...Не зная за собой никакой вины, ходатайствуем о снятии с нас тюремного режима. За себя и моих родственников, находящихся в Алапаевске, Сергей Михайлович Романов».

Телеграммой из Екатеринбурга, на имя комиссара юстиции Алапаевска Соловьева, в облегчении положения узников было отказано.

В это приблизительно время от Великой княгини были взяты ее келейницы Варвара и Екатерина и отправлены в Екатеринбург.

Ниже приводится об этом сокращенное повествование игумена Серафима в «Мучениках христианского долга».

Прощание сестер с Елизаветой Феодоровной было очень тяжелым. Все трое плакали, думая, что расстаются навсегда. Оставшись одна, Великая княгиня часто плакала, молясь перед иконой Божией Матери. Хотя она и была подготовлена принять со смирением смерть, но как человек она боялась предсмертных мучений.

Сестер Варвару и Екатерину привезли в Екатеринбург и привели в Областной совет и там предложили им идти на свободу. Когда обе сестры стали умолять чекистов

* Княгиня Елена Петровна не была арестована, но добровольно сопровождала своего мужа в Сибирь. Их дети остались на попечении бабушки в Петрограде. Когда еще положение узников в Алапаевске было сравнительно спокойное, она поехала обратно в Петроград, чтобы навестить своих детей, но по дороге, в Перми, была арестована и посажена в тюрьму, где сидела вместе с графиней Гендриковой и г-жой Шнейдер. Из тюрьмы она освободилась только в 1919 году и уехала с детьми за границу.

** Протопресвитер М. Польский. «Новые мученики Российские», том 1, с. 282.

вернуть их обратно в Алапаевск, то их стали стращать мучениями, которые предстоит вынести Великой княгине Елизавете Феодоровне, и сказали, что если они не хотят разделить этой пытки с их настоятельницей, то должны уехать.

Самая близкая к Елизавете Феодоровне келейница Варвара Яковлева не испугалась и сказала, что готова дать подписку даже своей кровью, что желает разделить судьбу с Великой княгиней. Коммунисты растерялись. Они не думали, что эта молодая женщина вместо свободы пойдет на страдания и смерть, и им ничего не оставалось делать, как отправить ее обратно в Алапаевск.

Крестовая сестра Марфо-Мариинской обители Милосердия Варвара Яковлева была одной из первых, которая пошла по стопам Великой княгини Елизаветы и стала служить ближним в созданной Елизаветой Феодоровной обители. Она была келейной сестрой настоятельницы и одной из самых ей близких сестер. Но этим она не гордилась и была ласкова и доступна всем. Все, кто ни соприкасался с ней, любили ее. Родные Елизаветы Феодоровны хорошо знали ее и называли «Варей».

Из какой среды и из какой местности пришла сестра Варвара — нам неизвестно. Она осталась верной своей Высокой матушке до конца и добровольно пошла за ней на страдание и смерть, исполнив этим завет Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн 15, 13). Приняла она свою мученическую кончину, когда ей было, вероятно, около тридцати пяти лет.

Игумен Серафим пишет, что алапаевские узники знали, что их ждет в недалеком будущём. Они все сознательно готовились к смерти и просили Господа укрепить их и чтобы их тела не остались на поругание коммунистам, а были бы с честью похоронены Православной Церковью.

Вскоре все служащие были удалены из школы. Оставлены были только при Сергее Михайловиче Федор Ремез, а при Елизавете Феодоровне — ее верная сестра Варвара.

17 июля в 12 часов дня в школу явились чекист Петр Старцев и несколько рабочих-коммунистов. Они отобрали у заключенных оставшиеся у них последние деньги и объявили им, что их ночью перевезут в Верхне-Синячихинский завод, расположенный недалеко от Алапаевска. Они удалили из школы красноармейцев-охранников и сами заменили их.

Повариха Кривова во время следствия показала:

«Меня большевики очень торопили с обедом; обед я подала в 6 часов, и во время обеда большевики все торопили: «Обедайте поскорее, в 11 часов ночи поедем в Синячиху». Я стала укладывать продукты, но большевики сказали мне, чтобы я отложила укладку и что я могу завтра привезти их в Синячиху»*.

Жители Алапаевска около трех часов утра услышали звуки выстрелов и взрывов гранат, и некоторые видели рассыпанные недалеко от школы цепи красноармейцев.

Ночью чекисты подбросили к зданию школы тело мнимого «бандита», которого якобы убила охрана красноармейцев при «похищении князей». В действительности это был крестьянин Салдинского завода. Он заранее был арестован чекистами для их замысла и содержался несколько дней в алапаевской Чека, а потом был убит и подброшен к зданию школы.

Явный обман здесь был ясен не только жителям Алапаевска, но и самим участникам этой мистификации — красноармейцам.

Рано утром, 18 июля, путем обмена телеграммами между чекистами Абрамовым и Белобородовым из Екатеринбурга, была распространена ложь, что на школу напала «неизвестная банда».

В этих телеграммах, которыми обменялись Абрамов и Белобородов по заранее условленному плану, а также и в советских газетах, имени Великой княгини Елизаветы Феодоровны не упоминалось. Это было сделано по приказу Ленина из Москвы с целью оградить себя от возможных неприятностей со стороны немцев. Дело состояло в том, что после убийства графа Мирбаха немецкие власти хотели ввести в Москву батальон своих войск. Когда большевики отказали, немцы пошли на уступки и стали требовать от коммунистов гарантии, что жизни Императрицы Александры Феодоровны, наследника и Великой княгини Елизаветы Феодоровны будут сохранены.

Когда произошло убийство Императорской семьи в Екатеринбурге, Свердлов, боясь немцев, говорил только о «казни» Царя, особо выделяя, что Императрица и наследник живы. По этой же причине коммунисты не упоминали имени Елизаветы Феодоровны, зная, что немцы не поверят их сообщению об «увозе ее белыми».

Адское злодеяние Алапаевска произошло в ночь на 18 июля, когда Православная Церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Это был день Ангела покойного супруга Елизаветы Феодоровны, Великого князя Сергея Александровича.

Узников разбудили ночью и повезли в нескольких повозках по дороге в направлении деревни Синячихи.

Недалеко от этой дороги, приблизительно в 18 километрах от Алапаевска, находился заброшенный железный рудник. Одна из шахт рудника, Нижняя Селимская, которую выбрали чекисты для зверского плана, была в 60 метров глубиной. Она состояла из двух отделений: рабочего, где раньше добывалась руда, и машинного, где когда-то стояли насосы для откачки воды. Стены шахты были выложены бревнами, которые торчали теперь, полусгнившие, в разных направлениях.

С площадной руганью палачи стали бросать в эту яму свои жертвы, избивая их прикладами. Эта свирепая расправа с невинными была до того страшная, что даже некоторые ее участники не выдержали. Двое из них сошли с ума*. Это были люди из местных большевиков, увлекшиеся идеями коммунизма. Но они еще не озверели до того, чтобы принимать участие в таком кошмарном деле.

Вблизи этой шахты находился местный крестьянин. Он видел, как к шахте подвезли группу узников и побросали их живьем в шахту.

Первой столкнули в зияющую чернотой яму Великую княгиню Елизавету. Она громко молилась и крестилась, говоря: «Господи, прости им, не знают, что делают!» Потом стали бросать остальных. Всех столкнули живыми, кроме Великого князя Сергея Михайловича. Он единственный был мертвым, прежде чем достиг дна шахты. В последний момент он стал бороться с палачами и схватил одного из них за горло. Тогда выстрелом из револьвера в голову он был убит. Когда все жертвы были уже в шахте, чекисты стали бросать туда ручные гранаты. Они хотели взрывами засыпать шахту и скрыть следы своего преступления. Только один мученик Федор Ремез был убит гранатой. Его тело, извлеченное из шахты, оказалось сильно обожженным взрывом**. Остальные мученики умерли в страшных страданиях от жажды, голода и ранений, полученных при падении.

Святая Великая княгиня Елизавета упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. С нею рядом нашли князя Иоанна с перевязанной раненой головой. Это Св. Великая княгиня, сильно ушибленная и с повреждениями в области головы, сделала ему в темноте перевязку, употребив свой апостольник.

Свидетель крестьянин слышал, как из глубины шахты стала раздаваться Херувимская песнь. Это пели мученики во главе с Елизаветой Феодоровной. Святая Великая княгиня пела молитвы и укрепляла других до тех пор, пока ее душа не отошла от тела, и к ней навстречу понеслись другие, райские напевы, и над ее главой не засиял мученический венец.

Промыслом Божьим было устроено так, что Елизавета Феодоровна и Иоанн Константинович упали на один выступ шахты. Св. Великая княгиня была особенно при-

---

* Н. Соколов. «Убийство Царской семьи», с. 259.

* Протопресвитер М. Польский. «Новые мученики Российские», том. 1.

** Captain Paul Bulygin. «The murder of the Romanovs», Hutchirson and Co. Ltd., London, 1935.

вязана к князю Иоанну, с которым при жизни часто беседовала на духовные темы. Они были одинаковы по духу, и оба жили для вечной жизни.

Капитан Павел Булыгин в «The murder of the Romanovs» на с. 255 писал (пер. с англ.):

«Бессердечное избиение и отвратительная работа по разрубке и уничтожению тел*... ужасны почти сверх всякого человеческого воображения, но даже и это бледнеет перед историей преступления в Алапаевске...»

В газете «Новое русское слово» от 11 августа 1984 года (Нью-Йорк, США) была помещена статья гр. Радина под заглавием «Палачи». В этой статье передается рассказ одного из палачей алапаевских узников — Рябова.

Рябов и другие изуверы, побросав свои жертвы в шахту, думали, что они утонут в воде, которая находилась на дне шахты. Но когда они услышали их голоса, то Рябов бросил туда гранату. Граната взорвалась и наступила тишина. Потом опять возобновились голоса и послышался стон. Рябов бросил вторую гранату. И тогда палачи услышали, как из шахты понеслось пение молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя». Ужас охватил чекистов. В панике они завалили шахту хворостом и валежником и подожгли. Сквозь дым еще долетало до них пение молитв...

* * *

Когда Белая армия адмирала Колчака заняла район Екатеринбурга и Алапаевска, то началось расследование злодеяний большевиков по убийству Императорской семьи и узников Алапаевска.

Путем допроса свидетелей и оставленных убийцами улик был найден старый рудник вблизи Синячихинской дороги. Одна из шахт, Нижняя Селимская, была засыпана сверху свежей землей. Это и привело следователей к догадке, что там находятся тела алапаевских мучеников.

Была затрачена неделя времени и приложено немало усилий, чтобы раскопать шахту и достать тела мучеников, которые находились на различной глубине шахты.

8 октября 1918 г. было найдено тело Федора Ремеза; 9 октября — инокини Варвары и князя Владимира Палея; 10 — князей Константина Константиновича, Игоря Константиновича и Великого князя Сергея Михайловича; 11 октября были найдены тела Великой княгини Елизаветы Феодоровны и князя Иоанна Константиновича. Все тела были в одежде. В карманах у них находились документы и некоторые вещи.

Великий князь Сергей Михайлович был брошен в шахту мертвым. Медицинская экспертиза доказала это: при вскрытии тела его было обнаружено круглое пулевое отверстие в черепной коробке покойного.

От взрывов гранат (см. выше) погиб только мученик Федор Ремез. Остальные жертвы, как показало вскрытие, скончались в длительных мучениях. Они умирали в неописуемой агонии от полученных ранений от ударов прикладами и ушибов при падении на дно шахты, а также и от истощения.

Во рту и желудке князя Константина была найдена земля. Это показало, что князь так мучился, что в предсмертной агонии грыз и глотал землю, чтобы облегчить желудочные спазмы. На его темени было обнаружено две больших рваных раны и несколько кровоподтеков.

Голова князя Игоря Константиновича имела трещину в черепе; у него были большие кровоподтеки в области груди и живота. Тело князя Владимира Палея носило следы нескольких кровоподтеков и кровоизлияний. Все тело мученицы Варвары было покрыто кровоподтеками. Иоанн Константинович имел сильный кровоподтек в височной части головы, в области плевры и живота.

Медицинское освидетельствование тела Великой княгини Елизаветы Феодоровны: в головной полости, по вскрытии кожных покровов, обнаружены кровоподтеки: на лобной части, величиною в детскую ладонь и в области левой теменной кости — величиною в ладонь взрослого человека; кровоподтеки в подкожной клетчатке, в мышцах и на поверхности черепного свода. Кости черепа целы...

В кромешной тьме шахты, изнемогающая от собственной боли, Святая Великая княгиня Елизавета исполняла свой последний долг на земле — облегчать страдания других. Она ощупью, осторожно, чтобы не упасть с выступа шахты вниз, сделала перевязку раненой головы князя Иоанна. И своим пением молитв она подбадривала других и помогала им превозмогать боль и ужас надвигающейся смерти и нестись в молитвах к Богу.

Елизавета Феодоровна была найдена с иконой Спасителя* на груди. Икона, украшенная драгоценными камнями, и на обороте ее сделана надпись:

«Вербная Суббота 13 апреля 1891 года».

Этот день — 13 апреля 1891 года — был днем перехода Великой княгини Елизаветы Феодоровны в православие.

Вероятно, Елизавета Феодоровна спрятала эту дорогую для себя икону на груди, чтобы не нашли ее чекисты, и молилась, прижимая ее к себе, во время длинных предсмертных часов своей жизни.

Рядом с Великой княгиней лежало две неразорвавшихся гранаты. Господь не допустил, чтобы тело Его угодницы было разорвано на части. Пальцы правой руки святой подвижницы были сложены для крестного знамения. В таком же положении пальцы были и у инокини Варвары и князя Иоанна. Как будто они хотели перекреститься, откинув уже холодеющую руку со сложенными для креста перстами.

Один из главных чекистов — Старцев — на следствии показал, что убийство алапаевских узников произошло по приказанию из Екатеринбурга, и для руководства им оттуда приезжал Сафаров.

Судебный следователь Николай Алексеевич Соколов пишет**:

«Всего лишь сутки отделяют екатеринбургское убийство от алапаевского. Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление. Тот же прием и здесь.

Ложью выманили Царскую семью из ее жилища. Так же поступили и здесь.

И екатеринбургское, и алапаевское убийство — продукт одной воли одних лиц».

---

* Убийство Императорской семьи, происшедшее в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме: Государя с семьей и их приближенными разбудили ночью и приказали одеваться по причине якобы спешного выезда из города ввиду приближения Белой армии.

Царская семья спустилась в полуподвальное помещение дома. Царевич Алексей был болен и не мог стоять. Были принесены стулья, на которые сели Государь с больным наследником и Государыня. Вокруг расположились Великие княжны — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Тут же стояли доктор Боткин, Харитонов, Трупп и Демидова. Они все ожидали отъезда и не знали, что «карета» давно их ждет у ворот. Это был 4-х-тонный грузовик, на котором должны были везти их тела.

Через некоторое время в комнату вошли 12 палачей во главе с Юровским. Подойдя к Государю, Юровский сказал: «Ваши родные хотели вас спасти, но это им не удалось. Мы вас сейчас убьем». Государь только прошептал: «Что? что?» Начались выстрелы. Смерть Императора, Императрицы, которая успела перекреститься, трех дочерей и камердинера Труппа была скорой. Наследник Алексей Николаевич был ранен и стонал. Юровский несколькими выстрелами добил Цесаревича. Палачи штыками прикончили Анастасию Николаевну и Демидову.

Тела убитых были перенесены в грузовую машину, которая направилась к железным рудникам Верх-Исетского завода. Здесь, в урочище «Четыре брата» находился старый заброшенный рудник. Грузовик остановился у шахты «Ганина яма». Тела были раздеты донага, разрублены на части и сожжены при помощи бензина и кислоты.

Убийство Императорской семьи было совершено по приказу Ленина из Москвы. Местными исполнителями являлись Янкель Свердлов, Янкель Юровский, Шая Голощекин, Белобородов и др.

---

* Неизвестно, какая это была икона Спасителя. Если это был образ Нерукотворенного Спаса, то, по всей вероятности, это была та икона, которой Император Александр III благословил Елизавету Феодоровну при переходе ее в православие.

** Н. Соколов. «Убийство Царской семьи», с. 264.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Фёдор Достоевский



Прижизненный портрет Ф. М. Достоевского с автографом писателя.

НАШИ АПОСТОЛЫ, НАШИ УЧИТЕЛЯ

Трудна судьба зиждителей и апостолов русской духовности. Трудна она при жизни и не менее тяжела после смерти. При всех катаклизмах истории разбушевавшиеся массы направляют свой гнев именно на них. Вместе с памятниками Ленину опрокидывают памятники Пушкину, не чувствуя разницы, что одному ставила их партийная команда, другому — народная любовь.

Злословят по поводу графа Льва Толстого, якобы обласканного вниманием первого большевика. Не понимая того, что сам граф, сочувствуя революционерам, не допускал и мысли о их верховенстве в обществе, верно предполагая, что может стать с обществом под пятой их революционной диктатуры. И сомнений на сей счет не держал. Не случайно революционное правительство большевиков-коммунистов и его идеологи, можно сказать, сокрыли на семьдесят лет Льва Николаевича Толстого — мыслителя, философа, духобора, беспощадного критика несовершенных, а порой и просто убогих революционных «философий». Доживи он до Февраля-Октября 1917 года, может быть мы узнали бы более беспощадного и мудрого критика новых порядков, чем Иван Алексеевич Бунин, открывший всему миру трагические «Окаянные дни».

И все же больше всех от большевиков досталось Федору Михайловичу Достоевскому. Они не могли простить ему пророческих «Бесов». От архибранных ноток Ленина и до тупо-тяжеловесных, чугунных словесных упражнений всякого рода кирпотиных, от изощренно-витиеватых атак Набокова и до смердяковских воплей современных прогрессистов — все смешалось в одном дьявольском желании принизить гений Достоевского, якобы изобличившего все гнусности в характере русского народа.

Да, писатель не щадил свой народ, но из любви к нему. А оппоненты-то действуют с дальной целью: обокрасть духовно и народ, и самого Федора Михайловича.

Уловки старые, но живучие. Поэтому в декабрьском номере, ежегодно, раздел «Вечные спутники» мы намерены посвящать жизни, деятельности и творчеству Федора Михайловича Достоевского, так же как в июньском номере — Александру Пушкину, в сентябрьском — Льву Толстому.

Мы глубоко убеждены, что русские люди должны не просто знать литературные произведения своих духовных апостолов, но и уметь нравственно воспринимать деяния духовных учителей.

Последуем же примеру замечательных философов Бориса Вышеславцева и митрополита Антония.

Предлагаем вниманию читателей главы из работы основателя Русской Православной Зарубежной Церкви митрополита Киевского и Галицкого Антония (1863—1936) «Ключ к творениям Достоевского». Первое издание настоящего труда под заглавием «Словарь к творениям Достоевского» напечатано в Софии Российско-Болгарским Книгоиздательством. Книга эта была написана Владыкой в заключении, куда он был помещен вскоре после октябрьского переворота 1917 г. В ней митрополит обратился к русскому обществу со словами ободрения и поддержки в трудные для Родины дни. Девизом книги являются слова: «Не должно отчаиваться», а сама книга составляет «нравственно-патриотический катехизис русского человека». Почитая Достоевского истинным пророком русской земли, митрополит Антоний поставил своей целью изложить его идеи в форме нравственно-патриотической программы.

Кроме книг митрополитом Антонием написано множество статей, опубликованных в церковных и патриотических изданиях «Новое время», «Русский военный вестник», «Царский вестник» и др. Материал печатается из «Сборника избранных сочинений блаженного Антония, митрополита Киевского и Галицкого», Монреаль, 1986 г. В СССР публикуется впервые.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ

НАРОД И ОБЩЕСТВО



Не столько форму, сколько содержание нашей народной жизни должны мы восстановлять: таков наш ответ на заголовок настоящей главы.

Пусть, наконец, наш писатель заговорит сам от себя. Отвлечемся, читатель, на время от гаданий о нашем будущем и обратим взор к прошедшему. От времени кончины Достоевского прошло уже 40 лет, а от его «Дневника Писателя», если не считать последних двух брошюрок этого журнала, — 42 года. Тогда еще не совсем забыто было крепостное право, да и интеллигенция в значительном большинстве была дворянского сословия. Понятия и симпатии читателей, публики много разнились от современных. И, однако, *исходной точкой* всех призывов, крайним обоснованием всякой мысли у Достоевского было то знамя, которое с меньшей искренностью, но с таким же постоянством поднимают и современные нам устроители революции: «народ! для народа! за народ!» Уже поэтому никто да не сочтет учение Достоевского несовременным. Итак, начнем с изложения его *центральной идеи*, с его учения о русском народе и об отношении к нему интеллигенции и обратно.

«Народ наш есть богоносец», так приблизительно начинает свою страстную речь раскаявшийся социалист Шатов в «Бесах». «Велики и святы идеалы русского народа», поясняет Достоевский в «Дневнике Писателя» (20, 49). «Велика Россия своим смирением», пишет он в другом месте (17, 60).

Жалкая критика высмеивала эти выражения, как будто бы общие и неопределенные, но они не были таковы. Автор облекал их в весьма определенную одежду и пояснял и то, в каких свойствах души сказываются преимущественные качества русского человека, и в чем выражается достоинство его религиозности, и каковы его мировые стремления и чаяния, и каково его отношение к различным людям и народам.

Однако, для пояснения первого отличительного свойства русской души я принужден снова отвлечься от нашего писателя...

Прошу, читатель, обратить внимание на такое изречение писателя: «Народ наш не считает факта нормой и чужд самооправдания, а интеллигентское юношество наоборот» (20, 47). «Народ наш, если грешит, то сознает грех и приносит покаяние» (21, 452). Поэтому русский человек и чужд презрения к падшим. Народ, пишет Достоевский, велик и тем, что преступников он называет «несчастными» (19, 168). — К этим мыслям о том, что, не будучи свободен от греха и пороков, русский народ никогда не одобряет зла и не оправдывает себя в пороках, Достоевский возвращается многократно, но с особенной силой раскрывает эту мысль спившийся чиновник Мармеладов («Прест. и наказ.»), когда предсказывает, как на суде Божием после смерти он и подобные ему падшие люди примут обличение от Спасителя за свое глубокое падение, но тут же и милостивое прощение, потому что они никогда не оправдывали своего падения, но сознавали свою виновность и горько укоряли себя. Мармеладов, хотя и не был простолюдином, но в этом случае и более поверхностный (как Грибоедовский Репетилов) сохранил чисто народное отношение к себе и чисто народную ясность совести.

Разумеет ли читатель, какая великая черта духа найдена здесь Достоевским у русского народа? Не думает ли он, что это нечто второстепенное? Горе ему, если так. Пусть же он знает, что этим признаком определялась погибель или спасение человеческой души, когда к ней обращалось слово Христово или апостольское. Многие уважаемые люди отвергали это слово жизни и погибали навеки; многие порочные и презираемые его принимали и спасались: какими же свойствами души определялось у людей отношение к словесам вечной жизни? А вот именно тем, которое Достоевский указал в русской душе. Люди, не оправдывающие себя в недобром, сознающие себя грешниками, принимали проповедь евангелия, даже если были порочны и преступны, а люди, исполненные гордого самооправдания, отвергали его, даже если и были одарены многими почтенными качествами и окружены общим уважением. Первая из десяти и главенствующая заповедь Ветхого Завета была заповедь единобожия, а первая из девяти и главенствующая заповедь Нового Завета гласит: «блаженны нищие духом, яко тех есть царство небесное». И эту заповедь русский народ исполнил и наполнил ею свою душу, и уже по одному этому он есть народ евангельский, народ-богоносец.

Впрочем, да не подумает читатель, будто сказанным свойством определяется только чисто религиозное сознание или религиозная только жизнь русского народа. Нет, готовность всегда признать свою вину и стать выше самолюбивого оправдания обнаруживает высокую нравственную культуру души, как выражается Достоевский, — не желающий признавать факт нормой и быть *рабом* обстоятельств, и нести на себе укоризну Пушкина:

О люди, жалкий род, достойный слез и смеха,
Рабы минутного, поклонники успеха.

Достоевский любит в этом смысле противополагать западно-европейского человека русскому в том же духе, как противопоставил Л. Толстой П. Безухова тому самодовольному французику, которому он спас жизнь. Вспомните «Игрока» с партнерами Бабушкой, с самозваным французским графом и торговкой Жюли, или первого жениха Грушеньки в «Карамазовых» и т. д. Впрочем, к сравнительной характеристике русских и иностранцев у Достоевского мы еще возвратимся, а пока скажем, что не только в области жизни чисто религиозной, но и в общественной, семейной, школьной и какой угодно, если вы встретили человека, исполненного духом самооправдания, то знайте, что ни на какое серьезное и трудное дело он не годится и в близких отношениях совершенно невыносим. Напротив, встретив человека, готового признать свою ошибку и вину, беритесь за него обеими руками, — вы нашли сокровище, — сокровище, в русском народе встречающееся постоянно, в обществе — довольно редко, а в западном мире — почти никогда. Там факт отождествляется с нормой. Там современное состояние умов и управление считаются образцом, и исторические эпохи ценятся не по существу, но по степени их сходства с современностью. Отсюда выработалось сложное учение о прогрессе: что было недавно, то более похоже на современность, а следовательно, оно лучше того, что было раньше, ибо тогда этого сходства не было.

Также неглубоко и суждение европейцев при оценке чужих культур; они обнаруживают полную неспособность понять последние и общаться с ними. Культивирование Европою Америки, Австралии и Африки выразилось в том, что основное население двух с половиною материков было истреблено почти поголовно.

Упоминаем обо всем этом, чтобы показать, какое

огромное значение имеет указанная Достоевским *ясность совести русского человека,* сохранившаяся даже у пропойцы Мармеладова, и у героев Мертвого Дома (их бред во время сна), и у развращенного социалистами каторжника Федьки, который обличает своего повелителя-социалиста Верховенского за его «бессердечие и безбожие» (13, 303). Здесь противоположность русского характера европейскому или европеизированному. Наши каторжники, пишет Достоевский, сознают свою виновность, а Биконсфильд и европейцы оправдывают жестокость (21, 143). Эта ясность совести, это постоянное преднесение пред собою идеи должного и недовольство собою обусловливает в русском человеке немало и нравственных, и умственных, и общественных талантов, о коих говорит наш писатель.

И прежде всего, всегда различая сущее от должного, русский человек, по Достоевскому, никогда не бывает рабом в душе, — ни в крепостной зависимости, ни в состоянии крайней бедности. Чем беднее и ниже человек, заявляет автор, тем более в нем боголепной правды (17, 60). Русский человек сохраняет достоинство и в рабском положении и всегда спокоен (14, 193). Тип такого величественного в своей бедности характера представляет собою Макар Иванович в «Подростке». Сам подросток, почти студент и почти неверующий, проникся к нему таким благоговением, что почитал его «исцелением от всякого душевного недуга» (для его собеседников — 15, 140). Особенно его поражало отсутствие в старике всякого самолюбия и «постоянное умиление» (15, 162). Последнее не только не отступало пред страхом надвинувшегося смертного часа, но еще светлее озарило старческую душу, и Макар Иванович с сердечною ласкою, умирая, пригласил своих близких приходить к нему на могилку и поверять там ему свои думы.

Наряду с сохранением внутренней свободы при послушании и внешней зависимости у русского человека преимущественно пред всеми народами развито чувство милосердия и сострадания, тоже тесно связанное с указанною ясностью совести и способностью отрешаться от своего эгоизма. «Мужик Морей» является типичным представителем такого евангельского свойства русской души.

Кроме внутренней свободы и жалостливости, русское смирение и его далекость от самооправдания прививали русской душе честность, правдивость и откровенность, которой более всего удивляются в конец изолгавшиеся сыны Западной Европы. Нет шпажной чести у русского, говорит Достоевский: но он чище душою, нежели интеллигенция (21, 149). В старину и у наших бояр не было европейской чести (это — понятие чисто языческое, враждебное нашей религии), но была своя нравственная (21, 148).

Русская душа, исполненная недовольством собою и смиренномудрием, отражает влияние этого основного свойства своей души и на всех своих общественных понятиях и чаяниях; не только для себя, но и для своего отечества, и для всего мира она желает, чтобы факт излился в норму, чтобы воцарилась Божья правда и победила бы неправду. Сердце русского человека, пишет Достоевский, всегда лелеет в себе великую жажду благообразия (общего — 15, 159). Народ и сказки потому любит, что там открывается возможность иного, лучшего мира (19, 132). При сем народ наш совмещает в своем сердце и горячий патриотизм, и космополитичность симпатий. Об этом наш писатель упоминает многократно. Идея народа — благо и мир всего человечества (21, 21). Однако, это человеческое всеединство русские понимают не мечтательно, как немецкие пиетисты, а весьма реально. Первый шаг к тому — освобождение царем страдающих православных братьев от власти иноверцев, а дальше — умножение и расширение православной веры и церкви. Войну русские признают только одного рода — за святую веру, и идут на нее вовсе не для славы или корысти; это отличительное свойство русского взгляда на ратный подвиг отмечает и покойный генерал Драгомиров в своих книжках о русском солдате. — Русский народ ищет подвига на войне; он непоколебим в своих убеждениях (20, 335), читаем мы у Достоевского. «Православное дело» — вот что располагает сердце народа к Восточному вопросу (20, 275). Автор с умилением описывает, как магометане замучили солдата Фому Данилова (в Средней Азии) за веру, и он не отрекся от нее, хотя мог бы тем спасти свою жизнь; мучения были медленны и ужасны. Из общества никто бы этого не выдержал, замечает автор (21, 15).

Идея народа, заключает Достоевский: вселенская церковь, это и есть наш социализм (21, 498).

На этом положении нам достаточно остановиться, ибо Достоевский развивает его настойчиво и в этом видит сущность того гибельного отделения общества от народа, в коем он находит источник всех бедствий России, как целого, и всех душевных недугов общества, всей меланхолии русского интеллигента. — Списывая историю своего отечества с немецких образцов, авторы коих — иконоборцы — взирают на православие (и на католичество), как на идолопоклонство, мы усвоили то в высшей степени нелепое и несогласное с историей предубеждение, будто наши предки, как и современные русские крестьяне, приняли от христианства только ритуал, а не его нравственное учение. Достоевский со всей энергией утверждает противоположное. Он говорит: народ наш понимает христианство гораздо лучше, чем наше общество (вспомним о первой заповеди блаженства, совершенно отринутой в Европе и ее подражателями — 20, 134). Начала народной жизни взяты целиком из православия (20, 135 — наша сельская община это сокращенный русский монастырь). Народ наш давно просвещен разумением христианства (21, 449). Поэтому нам нечему учить русский народ (21, 16), а надобно у него поучиться. Общество потому не понимает народа, что не понимает православия (20, 134). Кто не понимает православия, никогда не поймет русского народа (21, 498); и такового народ никогда не признает своим человеком (21, 499). Неверующий талант ничего не сделает с русским народом. Народ встретит атеиста и поборет его, ибо народ сей есть богоносец (17, 58). Неверующий толстовский Левин не дошел до ясных убеждений, он еще вопрос (21, 240), народом он не сделается, сколько бы времени ни прожил с народом (21, 243). «Атеист не может быть русским» (12, 345). Кто отрывается от народа, тот отрывается от Бога и наоборот (12, 49). Мода на Редстокизм (штунду) — проявление отчужденности от народа (20, 115). Это основная тема Достоевского во всех его повестях, к которой мы еще возвратимся, а пока продолжим его афоризмы о народе.

Мы сказали, что в народном идеале совмещается широко конфессиональное (вероисповедное) начало с общечеловеческим и жажда общего мира с стремлением к ратному подвигу в священной войне. В осуществлении этого единства между торжеством истинной веры и всеобщего благоустройства на земле народ наш, по Достоевскому, видит призвание России, свое призвание. Великий народ, заявляет нам писатель, должен верить в свое мессианское (всемирное) призвание (21, 18). — И русский народ в это верует и в горячие времена охватывает сею верою даже сердца общества.

Вот что писал Достоевский в эпоху славянско-турецкой войны 1876—1878; колоссальные жертвы на Герцеговине показали, что дело сие наше, общенародное (20, 239). Религиозный подъем в виду восстания славян объединил все слои русского общества и народа (20, 277—278). Война турецкая в глазах народа — защита христианства, и ради него-то идут люди на ратный подвиг (20, 416), — и не славян только, но и всех православных христиан (20, 417), так что если бы Россия отказалась от войны за веру, то отказалась бы от себя самой (20, 417), и сила войны 1877 года — союз царя с народом; проглядели это наши западники (21, 110). Истина этого афоризма, скажем кстати, художественно освещена писателем из совершенно другого лагеря, бывшего добровольцем на этой войне — В. Гаршиным в очерке «Четыре дня». — Народ взирает на царя, — продолжает Достоевский — как на защитника православного христианства от восточного магометанства и западных ересей (21, 74); эту же идею он воплотил в древнем герое своих былин Илье Муромце — заступнике за

обиженных (21, 76). Вообще же, выступая на историческое дело (1877 г.), народ наш представляет собою единомыслие, чего нет у европейских народов (21, 426); в этих и в подобных событиях народ вбирает в себя и общество, и правительство, и не последние, а он сам диктует решения правителей. Так было, прибавим от себя, и в 1812 г., и в 1877 г., и в 1914 г., ибо и эта война предпринята исключительно с религиозно-благотворительной целью охранить Сербию от разрушения ее Австрией. Приводим выражение нашего писателя о войне 1877 г.: Россия *народна, и в важные моменты истории ее выражает* именно народ (а на правительство только — 21, 80). Россия сделает это (освобождение восточных христиан) ради подвига любви и будущего блага племен (21, 362).

Да, хотя убеждения и стремления нашего народа строго вероисповедные, и в народе нашем, кроме православия, нет никакой идеи (21, 497), но идея эта широка и гуманна; это есть, как выражается Достоевский, — «идея Вселенской Церкви», а ее идея — соединение всех людей во Христе (21, 498). Соединение предполагается свободное, соединение любовью по духу Христову, а образ Христа, *пишет наш автор*, сохранился только в православии, у прочих же народов он затемнен (20, 212); мы еще обратимся к весьма определенным выражениям Достоевского о протестантах, сектантах и католиках. В русском христианстве, заявляет он, нет даже мистицизма, а только проповедь любви (20, 309).

Последнее замечание, скажем кстати, особенно ценно в наше время. Во времена Достоевского врагом веры нашей был в Европе и России псевдорационализм, а с легкой руки Вл. Соловьева наше общество и даже нашу философскую мысль одолел суеверный мистицизм и хлыстовщина с ее дикими суевериями и гнусными оргиями. Все это сроднилось с теософией и необуддизмом и составило такую безобразную кашу, что, взирая на подобные извращения религиозной мысли и чувства, готов бываешь пожалеть о временах материализма, ведь материалистам никто не может пробыть дольше 35-летнего, много 40-летнего возраста, а с теперешним хлыстовским суеверием люди остаются до старости. Эти увлечения Достоевский тоже предвидел и писал: потеряв истинную веру, человечество обратится к грубому суеверию (16, 439); а в частности русские дойдут до ужасных безобразий (19, 307), и пришло уже время, говорит он в другом месте, когда обманщики смущают людей, говоря: се здесь Христос. Заявляя о немистичности христианства, Достоевский говорит то же, что и современные церковные *учители* — Еп. Феофан (1894) и Игнатий Брянчанинов, горячо обличавший своих знакомых за их приверженность к сочинениям мистиков — Фомы Кемпийского, Терезы и проч. «сумасшедших».

Но это между прочим.

Не то вера народная: там приняты к сердцу обе главные всеобъемлющие заповеди Евангелия — смиренномудрие и сострадательная любовь, и эти заповеди сделали близким русскому сердцу всех православных, а затем и все человечество.

Сила этой убежденности великая, и она захватывает собою всякого искреннего человека, сближающегося с народом. — Я вновь принял Христа от народа, свидетельствует Достоевский, утеряв его в европейской школе (24, 416). Итак, европейская высшая школа в России убила веру в юноше, а каторжники из простого народа оказались для него миссионерами, ибо обращение его произошло на каторге, как свидетельствуют его «Записки из Мертвого Дома». — Не года ссылки сломили нас, пишет автор, а уравнение с народом и близость к нему (19, 309). — А пока он был неверным, каторжники его чуждались и почитали преступнее всех уголовных; так же они взирали на неверовавшего Раскольникова, с которым они чувствовали себя, как люди разных наций (9, 380). Так не любит русский человек ренегатов своей веры, но он не враждебен иноверцам.

НАРОД И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Пушкин и его идеалы есть тот мост, через который наше денационализировавшееся общество может воссоединиться с народом. Мы упомянули уже о том, что разъединение это имеет причиной разность душевных расположений: народ православен и смирен сердцем, общество не любит своей церкви и гордо воспитано на рыцарских романах.

Позвольте, наконец, вскрикнет современный читатель: я понимаю, что идеализировать народ мог Достоевский сорок лет тому назад, но идеализировать злодеев, убийц, богохульников, грабителей — ведь это дико, нелепо. Кажется, события последних двух лет должны навсегда похоронить славянофильские фантазии о России и русском мужике. Но дело в том, что и Достоевский, как мы уже видели, не закрывал глаз на возможность у нас революции и антропофагии; мало того, он замечал, что «религия в народе начинает уже колебаться» (13, 40), что железные дороги оказывают развращающее влияние на народ (20, 22), отвлекая его от земли и от семьи на легкие заработки; он предупреждал от книжной идеализации народа, от любви не к действительному народу, а к созданному в нашей фантазии, в чем небезгрешны даже славянофилы *(20, 50)*; он прекрасно понимал, что растление нигилизма возможно впустить не только в Смердякова при помощи немецких миллионов, но и в значительные *слои народной молодежи, и*, однако, от своих надежд он не отказался. Сверх того, не должно смешивать народа с толпой каторжников, китайцев и латышей, завоевавших Россию. Народ тяготится ими и всем, что произошло, не менее, чем интеллигенция; он то там, то здесь поднимает восстания, но что может сделать безоружная деревня против вооруженной армии? Желания народа остались прежние, и молитва его та же, что и раньше; только пока ему приходится помалкивать. Не сам одинокий простой народ, но соединившись с обществом просвещенным, осуществит он свое назначение и искупит свое временное падение; такова идея Достоевского, таков его призыв к обществу — объединиться с народом. Он верил в возможность подобного объединения, хотя и не стеснялся резко обличать общество за отъединение; впрочем, обличал с любовью и надеждой, а надежду основывал на том, что «идеалы всегда восторжествуют над практической политикой» (20, 235). Не ошибался ли он? Это покажет будущее; но во всяком случае не ошибался в такой степени, как его антагонисты, напр., Струве и его левые думцы. Последние, когда думским представителям заявили, что *они вовсе не выразители народа и народных желаний*, о чем особенно горячо писал Л. Толстой в 1905 г. в статье «О современном общественном движении», уподобляя всех земцев и депутатов самозванцам, отвечали: «Скоро народ будет с нами, скоро мы пойдем рука об руку». Вторая революция была заготовлена в 1914 г., но ее пришлось отложить по причине войны, дабы уже потом двинуть ее, воспользовавшись военными неудачами и утомлением, как это было устроено в *1905 году*; в обоих случаях выбирался момент общего недовольства накануне благоприятного оборота войны, дабы *предупредить последний, уже совершенно подготовленный*. Итак, в 1914 г. в оппозиционной «Русской Мысли» ее редактор писал, что теперь народу уже открыты глаза; средостению между интеллигенцией и народом пришел конец; разъединения больше нет; в «этот период 1905—1914 годов народ *химически слился с интеллигенцией»*. Последняя фраза повторялась в статьях неоднократно и печаталась курсивом; характерны были хронологические

указания, обозначавшие закругленный девятилетний период от первой революции до второй, предназначенной к лету 1914 г.; но еще раньше наши трибуны, газетные и митинговые, приняли обычай разуметь под интеллигенцией только ее революционное меньшинство, безошибочно положившись на детскую доверчивость читателей, которые сразу так и поверят, что «интеллигенция» и «революционеры» два понятия, совпадающие по своему личному составу, и не дадут себе труда сообразить, что среди их знакомых близких и дальних едва ли десятая или двадцатая часть суть революционеры. В подобных случаях указанная Достоевским стадность русских людей достойна уже не похвалы, а слез и смеха...

Итак, 1917 г. и следующие показали думцам и г. Струве, как наш народ «химически слился с интеллигенцией», которой он начал бесцеремонно выпускать кишки. Процесс, впрочем, если хотите, пожалуй химический, даже физиологический, и ему подвергались по преимуществу те, которые ждали химического соединения с народом в ниспровержении трона и храмов, т. е. кадеты и студенты; журналы и газеты, предсказывавшие химическое соединение, тоже были упразднены, а интеллигентская оппозиция объявлена буржуями наравне с графами, камергерами, министрами и банкирами; но последние, впрочем, сумели откупиться, и живут себе.

Мне приходилось неоднократно наблюдать и ту степень теперешнего ожесточения против революции, которое залегло в сердца наших недальновидных либералов; особенно откровенны в этом отношении люди молодые, напр., студенты. Большинство их, т. е. именно бывших либералов, а не славянофилов, уже вовсе не желают не только химического слияния, но даже и механического сближения и более склонны повторять надменный стих латинского поэта:

«Odi profanum vulgus et arceo».

А слияние-то все-таки нужно: это и Ленин уже сознает, судя по его публичным декларациям; ведь с насильно пойманными генералами, посаженными во главу армии, далеко не уйдешь. — Так вернемся же поскорее к нашему учителю Достоевскому и спросим: как в самом деле помочь беде разъединения общества и народа, чтобы дождаться не полицейского, а действительного, не химического (с выпусканием кишок), а душевного, психологического, а следовательно и бытового слияния?

Достоевский, как видит читатель, не только горячо любил народ, но и благоговел пред ним. — Но он также горячо, мучительно любил интеллигенцию, не только в ее благоразумной части, но и в оппозиционной; мы уже привели одно его изречение, оправдывающее внутренние побуждения наших юношей, замышлявших перевороты. Приведем и другие его афоризмы о том же предмете.

Вот что проповедует наш писатель в области самого дорогого для него вопроса — религиозного. Не надо ненавидеть атеистов, ибо среди них есть и добрые (16, 279). Бунтующие против Христа часто бывают в душе Христовы, ибо высшего начала люди не имеют (16, 291).

Разделение интеллигенции с народом Достоевский вовсе не представляет как дело сознательной, злой воли со стороны первой. — У всех болит сердце, говорит он, о разделении общества и народа (20, 299), и только у некоторых петербургских франтов наблюдается остервенелое отвращение к народу (20, 128); а презрение либералов к народу, по его мнению, не более как остаток крепостного права; таким типам никогда не сойтись с народом (21, 497). В частности, Достоевскому очень надоели прописные либералы 60-х годов с их шаблонами по всем вопросам. Либералы 60-х годов устарели, пишет Достоевский, но еще продолжают считать себя передовыми (20, 301). Кстати, скажем от себя, что это писалось в 1876 году, а те старички и доныне ничему не научились и не подновили себя. Мечников, Сеченов, Ковалевский, Боборыкин, Михайловский и им подобные намного пережили Достоевского, а до смерти только и знали, что повторять Писаревские: аз, буки, веди.

Достоевский не щадит в своих обличениях и той части общества, которая сознательно не любит народа своего, и той части, которая, хотя и бессознательно повторяет их глупые фразы, но занимает уже такое положение в обществе, когда бессознательность непростительна; в этом смысле Достоевский отзывается так: наши профессора те же русские мальчики (16, 402), т. е., они, ничего не понимая в жизни, повторяют шаблонные фразы. Самый либерализм подобных болтунов внешний, напускной, а как дошло до дела, то наше земство и самоуправление (тоже оторванное от народной жизни) обратились всецело и произвольно в прежнее чиновничество (21, 509). — Современные русские интеллигенты — фельдфебели цивилизации и презирают народ (4, 429), будучи глупо уверены в непогрешимости форм европейской жизни (4, 432), причем еще хвалятся вместо того, чтобы стыдиться, когда говорят: я не понимаю России, я не понимаю религии (19, 155).

Да и немудрено, что этим хвастаются: отсутствие практического знания России в столичных кругах считалось добродетелью для высокого чиновника (11, 4), а если прибавить к этому, что Петербург вообще коверкает характер и что «Россией управляют петербургские характеры» (9, 270), то понятно, что в нашем чиновничестве и обществе и либералы, и консерваторы бывают «ненациональны» (11, 17); эти либералы-космополиты — продукт крепостного права (19, 159). Они были бы несчастны, если бы Россия была счастлива: они ее ненавидят (12, 187); да, русский либерал ненавидит самую Россию и злорадствует ее бедам (11, 20); иное дело либерал в других государствах: там нет такой ненависти к отечеству. Русская сатира, сказал один француз, боится хорошего поступка, отрадного явления в России (21, 25 — таков, прежде всего, Щедрин). Высшая дворянская школа, даже военная (вероятно, разумеются три привилегированные учебные заведения в столице), пишет автор, воспитывала юношество не на русских, а на западных идеях средневековых рыцарей (12, 396). Мудрено ли, что наша родовая интеллигенция чужда народной религии и народному духу? — Но и «интеллигентные разночинцы» не утешали Достоевского: они «образованы, но карьеристы и презирают родителей», (20, 341). Таковы в частности ренегаты церковной школы — семинаристы, покинувшие свое призвание: они особенно ненавидят Бога и религию (18, 132; 13, 71) — вложили порнографию в продававшиеся евангелия. Самолюбие у них бешеное (18, 134); они поэтому никогда не понимают шуток и вечно обижаются (18, 129), но мастера на карьеру (18, 130); Ракитин непременно наживет себе в столице дом и редакцию; в революционных идеях пропаганды они ограничены (12, 39), но отличаются беспримерным бесстыдством и нахальством (13, 181). Вообще, нигилистами бывают либо только дворяне, либо семинаристы, но и те, и другие ненациональны (11, 17).

Достоевский неоднократно оплакивает современное общественное безразличие к нравственным запросам, современный индифферентизм (20, 40). Могут ли люди такого сорта ценить Россию, когда ее ценность есть по преимуществу ценность религиозная? Мудрено ли поэтому, когда один либеральный герой повестей нашего автора составил реферат о том, что русский народ призван быть только материалом для благоустройства какого-либо другого народа (немцев или евреев; 14, 72). Русским стало так тесно в либеральном обществе шестидесятых годов, что раскаявшийся революционер Шатов выражается о себе так: «За невозможностью быть русским, я стал славянофилом» (13, 319).

Злоба против России и всего русского достигла таких пределов к 70-м годам, что когда один полупомешанный профессор выступил на литературном вечере с самым грубо ругательным памфлетом на Россию, то зала «завыла от восторга»: «Могло ли быть для общества что-либо приятнее: бесчестилось, обливалось помоями его отечество?» — восклицает автор. Оратору сделали шумную овацию и вынесли его на руках (13, 203).

Как же вообще Достоевский отзывается о таком обществе? Весьма безотрадно; он говорит: «Современный интеллигент — умственный пролетарий, беспочвенный межеумок» (20, 257).

БОРИС ВЫШЕСЛАВЦЕВ

ЧУВСТВО ГРЕХА

Русская стихия — она чувствуется каждым русским, как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы. Нужно сознаться, что и нам самим она не вполне понятна — «умом Россию не понять» — уму непонятна, хотя близка и знакома и родственна, ибо мы живем в ней и из нее рождены, из этой иррациональной стихии. Теперь уже иностранцы начинают ее чувствовать — «das Russentum», говорит Шпенглер, и переживает это, как особую стихию, глубоко отличную от западно-европейской культуры.

Шпенглер думает, что нужно ее понять, нужно — даже для запада. Но и нам нужно ее понять, чтобы не погибнуть в ее стихийности, чтобы не потонуть в ее бурях и вихрях... А может быть — будем верить в это — чтобы *создать из этого хаоса русской души* новый прекрасный космос.

Достоевский верил, что мы создадим *нечто великое для всемирной культуры.* «Народ-богоносец» — это звучит теперь наивно и претенциозно. Но его *вера не наивная вера,* она прошла через горнило величайших сомнений. Все произведения Достоевского вовсе не напоминают наивность Руссо, Толстого, с их верою в добрый народ, в сущность человека, которую вы тотчас получите во всей чистоте, лишь только уничтожите власть тиранов или всякую власть вообще: человек уже готов для земного рая — уничтожьте досадное заблуждение власти, и все устроится.

Достоевский обладал, напротив, редкой зоркостью ко злу; чувство первородного греха, «das radikale Böse», живет повсюду в его произведениях... Можно подумать, читая их, что он желал изобразить преступность, нигилизм, тиранство и лакейство русской души; грязь, пьянство, разврат, тьму русской жизни, ее призрачность, ее дикую фантасмагорию... Я вполне понимаю, что один немец, очень культурный и философски образованный, мог сказать мне, что произведения Достоевского внушают ему отвращение к России. Это так и должно быть, ибо в изображении Достоевского мы видим прежде всего х а о с стихийных сил и в этом хаосе замечаем прежде всего разгул зла, безумия, болезни душевной. Может ли быть что-нибудь более неприемлемое для представителя германской культуры с ее порядком, с ее здоровьем, с ее чувством долга?

Но Достоевский верит, что из русской хаотической стихии создастся дивный Космос, он, значит, видит в ней не одно только безумие, распад, преступление, но и еще что-то другое — какую-то бесконечную мощь, какие-то таинственные возможности. Ведь в х а о с е содержится потенциально все — и добро, и зло, и гармония, и диссонанс, и красота, и безобразие, в нем все титанически нагромождено и дико смешано. Такова и русская душа, полная невероятных противоречий, и она связана с русской природой, с ее могучими контрастами. Разве природа Италии, Франции, Германии знает контрасты огненного лета и ледяной зимы, бога Ярилы и Деда *Мороза с его вьюгами, разве там есть* эти снежные пустыни и раскаленные степи, где гуляет ветер? А медленное *таяние меланхолической весны, а завывание осеннего ветра?*

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?

Так говорит поэт, познавший связь *русской природы и русской души с хаотическим началом в мире;* он говорит о той же самой русской стихии, *о которой все время думает и пишет* Достоевский. Быть может, я лучше сумею показать, какую стихию я здесь *разумею, если приведу эти всем известные слова.* Представьте себе, что они прямо обращаются к Достоевскому, и они зазвучат для вас совсем по-новому и откроют некоторую таинственную сущность его творчества:

Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

Здесь высказано в одном слове и сразу то, что есть в этом хаосе могучего и сильного: это — б е с п р е д е л ь н о с т ь, жажда души слиться с беспредельным; есть беспредельность в русской природе и в русской душе, она н е з н а е т н и в ч е м п р е д е л а: в этом ее трагизм, порою ее комизм, иногда ее гибель, но всегда своеобразное величие!

Душа Запада закована в пределы, она вся оформлена и потому ограничена. Душа России неоформлена; она безобразна, и потому порою безобразна... Что Достоевский прежде всего усмотрел на западе? Его поразил порядок, дисциплина души, завершенность форм. «Париж — это самый н р а в с т в е н н ы й и самый д о б р о д е т е л ь н ы й город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения... так сказать, з а т и ш ь е п о р я д к а... И какая «регламентация», не внешняя, конечно, а колоссальная, внутренняя, духовная, из души происшедшая». «А *Лондон... исполинская мысль», дости*жение, победа, торжество: «в этом колоссальном дворце... что-то окончательное совершилось, *совершилось и закончилось». «Как! Вы бы ни были независимы, но вам отчего-то становится с т р а ш н о. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал?»* Но почему же страшно? разве плохо достигнуть *идеала? Вот загадка русской души* — она как бы любит бесформенность, незавершенность. И если французы *самый нравственный народ в силу ду*шевной дисциплины и порядка, то вывод очевиден: самый безнравственный *народ — это русские. Достоевский, ко*нечно, этого не думает, но в силу чего? Здесь поставлена основная проблема его творческой мысли: проблема русской стихии.

Во всех произведениях Достоевского изображена эта русская стихия, и в сущности только она одна. Он обладал по отношению к ней редким пророческим ясновидением. И если среди спокойного затишья 80-х и 90-х годов, когда русская стихия дремала и не было даже слышно подземных ударов, если тогда можно было говорить о Достоевском «больной талант» и «глубокий психолог преступления», полагая при этом, что он какой-то криминальный писатель, изображающий жизнь ненормальную, исключительную, невероятную, то теперь, когда русская стихия разбушевалась и грозит затопить весь мир, — мы должны сказать о нем, что он был действительно ясновидцем, показавшим нечто самое реальное и самое глубокое в русской действительности, *ее скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде всего самих русских.*

Что же такое эта русская стихия? Достоевский для ее изображения пользуется *средствами искусства.* Трудно было бы подойти к ней иначе, ибо имеешь дело с элементом иррациональным, *невыразимым в понятиях.* Его искусство гениально; поразительно, как он извлекает и показывает скрытую правду. Но теперь, когда она уже запечатлена в образах, можно попытаться дать и ее философский и психологический анализ.

Итак, что такое эта стихия? Она есть нечто д у х о в н о - д у ш е в н о е, нематериальное, хотя она связана с материальной природой и из нее черпает порою свои настроения. Это стихия души, стихия страстей, море страстей с его бурями. И оно бушует не только в сфере одинокой индивидуальной души, но и в отношениях между индивидуальностями, в сфере социальной, в душе народа. Достоевский все время видит сам и показывает читателю, что душевная стихия таинственна в своей сущности и скрыта в своей глубине, ее нельзя понять из того, что разыгрывается на поверхности; если она выбрасывает порою совершенно неожиданно то лаву, то пепел, то огонь, — то это в силу процессов скрытых, подпочвенных, происходящих под порогом сознания.

В русской душе эта бессознательная и подсознательная стихия играет особенно важную роль — отсюда те удивительные взрывы и вспышки, которые взрываются из души его героев.

Вот Ставрогин, красавец и «барич», человек сверхчеловеческой силы, *сумевший снести удар по лицу без вся*кой христианской кротости князя Мышкина, сверхчеловек, в которого *влюблялись все женщины и делались его ра*бынями, а мужчины тоже рабствовали и лакействовали перед ним. Ему Верховенский, *который поцеловал у него* руку, хотел вручить знамя Стеньки Разина *«по необыкновенной способности к преступлению», а Шатов хотел вру*чить ему знамя «народа-богоносца», знамя православия, и сделать его действительным Иваном-царевичем. И оба были проницательны, умели выбирать людей и искали героя для своих

целей: один для целей разрушения, другой для целей созидания. И странно — оба сошлись на Ставрогине. Вот настоящее воплощение мощи русской стихии, которая как бы создана для того, чтобы совершать нечто великое, от которой все ждут, что она совершит нечто великое; ну, и что же? что она совершает? Ничего, — хаос, бессмыслицу, дикое нагромождение добра и зла, которое кончается самоубийством.

Прикусывает губернатору ухо, женится на хромоножке; по словам Шатова, потому, что «тут позор и бессмыслица доходили до гениальности»..., «вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и жалкая, скудоумная, нищая хромоножка». Предается разврату, так что «Маркиз де Сад мог бы у него поучиться»; «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества...», «в обоих полюсах находит совпадение красоты, одинаковость наслаждения». В конце концов «теряет различие добра и зла».

Дикая, хаотическая, но бесконечно-мощная стихия. Самообладание его моментами так громадно, что он сносит публичную пощечину от Шатова, и затем с царственным, полупрезрительным великодушием предупреждает, после пощечины, Шатова о грозящей ему смертельной опасности.

Ум Ставрогина мощен. Все самое великое и самое страшное, что носилось пред Достоевским, он вкладывает в душу, ему приписывает; ему, и затем еще близкому по идеям и вообще однородному по стихийности — Ивану Карамазову. Над этой мощной стихией первозданного хаоса могли носиться только мощные формирующие идеи, и они были Бог, Христос и православие, с одной стороны («народ-богоносец...» и «атеист не может быть русским»...); и полный атеизм, нигилизм, бунт и разрушение — с другой стороны («сравнять высокие горы» и «все сжечь и разрушить...»). Как он сам формулирует в одном месте в разговоре с Шатовым, отвергая «разные пищеварительные философии»: «ведь мы с вами знаем, что все это вздор, и что есть только две инициативы: или вера, или жечь».

Ставрогин не выбрал того или другого: формирующие силы оказались бессильными, хаос бушевал по-прежнему, и он погиб в нем; его Я не могло овладеть стихийными силами, бушевавшими в душе и оно погибло; в чем же? в стихии безумия (галлюцинации, самоубийство, явление злого двойника).

Вот русская стихия во всем ее трагизме. Никакого оптимизма, никакого самохвальства! Самые мрачные пророчества! Но сила ее, мощь этого хаоса, то дающего огонь, взлетающий к небу, то падающий на землю пепел, смрад, разрушение и землетрясение, его напряжение — огромно. Ставрогин так говорит о себе сам в письме к Даше, где он вполне откровенен: «Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это», чтобы узнать себя. «На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел...», «я все тот же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие».

В записных книжках Достоевского мы находим материал к «Бесам», очень ценный. Тут мы прямо встречаем подтверждение нашего понимания «русской стихии» и Николая Ставрогина, как ее порождения и воплощения:

«Тип из коренника, бессознательно беспокоимый собственною титаническою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины или Данилы Филипповичи, или доходят до всей хлыстовщины и скопчества. Это необычайная, для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая на чем устроиться и что взять в руководство, требующая до страдания спокою от бурь и не могущая пока не буревать до времени, до успокоения. Он уставляется наконец на Христе» — так верует и так надеется Достоевский — «но вся жизнь — буря и беспорядок. (Масса народа живет непосредственно, тихо и складно, коренником, но чуть покажется в ней движение, т. е. простое жизненное отправление — всегда выставляет эти типы)».

Дальнейшие слова Достоевского уже прямо характеризуют то, что мы назвали «русской стихией»:

«Необъятная сила, непосредственная, ищущая спокою, волнующаяся до страдания, и с радостью бросающаяся во время исканий и странствий — в чудовищные уклонения и эксперименты до тех пор, пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе — идее, которая до того сильна, что может, наконец, организовать эту силу и успокоить ее до елейной тишины».

Здесь говорится о Николае Ставрогине, но стихия, в нем живущая, присуща в конце концов всем героям Достоевского, как женщинам, так и мужчинам: разве не все они живут в буре и беспорядке? волнуются до страдания? бросаются в искания и странствия, в чудовищные уклонения и эксперименты? Да и не в них одних живет эта таинственная подсознательная животная сила: она действительно и в Стеньке Разине, и в Пугачевых, и в хлыстовстве, и в скопцах. Это древнерусская стихия, яростная стихия бога Ярилы, уходящая во тьму времен. Недаром Грушенька говорит: «неистовая я и яростная». И все его женщины неистовы и исступленны и готовы резать себя на части и терзать ради оскорбленной гордости, ради любви и ради воображаемого подвига.

Русская стихия всюду трепещет в произведениях Достоевского, он говорит почти только о ней одной, но большею частью в образах и воплощениях, как художник; редко он определяет ее прямо и непосредственно, как философ. Мы привели одно место поразительной яркости и точности, определение, сделанное для себя и не напечатанное в романе. Но есть и другое место, совершенно ему соответствующее и вошедшее в роман «Идиот». Вот что говорит там князь Мышкин:

«И не нас одних, а всю Европу дивит, в таких случаях, русская страстность наша; у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление?»

«И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль».

«Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже может и поглубже еще!»

«Есть в нас какое-то Колумбово искание «Нового света!»

Здесь удивительное раскрытие русского национального характера, загадочного и странного; и оно дается через проникновение в сущность русской душевной стихии, обладающей поразительной степенью напряжения. И это та же самая стихия, глухо кипящая под порогом сознания, те же подпочвенные вулканические силы, которые в одних индивидуальностях взлетают гордым пламенем к небу, в других текут неудержимым потоком горячей лавы, ползущей по земле, в третьих — твердеют серой корою, делающей душу как бы телесною. Все три типа людей — пневматики, психики, гилики, т. е. люди духа, люди души и люди тела — сформированы у Достоевского из одной и той же стихии, — точнее, не сформированы, а пытаются ее формировать.

Характеры люциферианского и прометеевского типа, как Ставрогин, Иван Карамазов, Раскольников и даже Кириллов, по иному переживают русскую стихию, чем, например, Рогожин или Дмитрий Карамазов. Их пламенеющий дух все время ищет неба, их замыслы титаничны, но есть раздвоение, есть «дух отрицанья, дух сомненья» и потому падение назад, в стихию безумия. Это люди духа, русские философы, но как они непохожи на западно-европейских критиков и скептиков! Русская стихия, над которою витает их дух, делает их вулканическими, трагическими; ненахождение всекосмического центра делает их не насмешливыми, а безумными.

Иначе живут в родной стихии такие, как Рогожин и Дмитрий Карамазов. Их Я фатально пленено страстями души, оно захвачено потоком горячей лавы, но эта лава течет из тех же странных, скифских, азиатских вулканов, и в ней восточный фатализм, какая-то древняя мудрость земли:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

В любви они сознают гибель, любовь для них фатальна, женщины, которых они любят, для них «инфернальны». Дмитрий называл Грушеньку «инфернальной» женщиной, но и Настасья Филипповна инфернальна для Рогожина, она не сияет для него небесным светом, он не видит ее вечного, божественно-прекрасного прообраза, который открыт князю, а потому его любовь скорее похожа не на умиление, не на жалость, а на ненависть, и она приводит его к убийству, приводит его в infernum. Подобно Ромео, он влюбляется в нее с первого взгляда, бесповоротно и навсегда. И страсть его, по силе напряжения, не уступает юному итальянскому любовнику, но это другая стихия: там солнце любви, стремительный ритм действий, красивый жест,

пластика, форма; здесь пьяный угар, мрак душевный, темный хаос бессознательных и нецелесообразных действий. Как и Ромео, он является на бал со свитою друзей; но какая безобразная и нелепая *полупьяная свита!* и зачем он привез ее? И какая бессмыслица: *торгует за деньги женщину*, за которую трижды готов умереть! Однажды даже избивает ее до синяков — свою «королеву»! Нам скажут, что Ромео был рыцарь и дворянин; но Митя Карамазов тоже был дворянин и офицер, однако во многом он действует, как Рогожин — в нем та же стихия и он так же бессилен ее преодолеть.

В Рогожине громадная подсознательная мощь *страстей, унаследованная* от предков; там она проявлялась *иначе: в мрачном самовластьи, в тихом* скрытном накоплении денег; «у нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить», говорит Рогожин, — «одна расправа, убьет!» Этот родитель «говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень».

Есть поразительное прозрение в эту таинственную рогожинскую природу в следующих словах князя:

«А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, *пожалуй, точь-в-точь, как твой отец* бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женою, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы книги когда похвалил да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости...»

Здесь, в рогожинском доме, живет особый модус русской стихии. Как не *узнать, не почувствовать, что это все* та же она — и в скопцах, и в древних самосжигателях, и в сжигающих страстях Парфена!

А вот еще один странный и дикий модус той же субстанции:

«Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы серебряные на бисерном желтом снурке, которых, *видно, не знал у него прежде*. Этот человек был не вор, даже был честный, и, *по крестьянскому быту*, совсем небедный. Но ему до того п о н р а в и л и с ь э т и ч а с ы и д о т о г о с о б л а з н и л и е г о, ч т о о н н а к о н е ц н е в ы д е р ж а л: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: Господи, прости ради Христа! — зарезал приятеля с *одного раза, как барана, и вынул* у него часы».

Внезапно вспыхнувшее желание достигает такой стихийной силы, что опрокидывает все препятствия. Это бывает у детей, у дикарей... изумительно здесь это ясное сознание греха, это чувство присутствия Бога. Бог не потерян, но Я потеряно, человек «не в себе», самообладание потеряно; нет центра воли, а образовался какой-то неожиданный преступный центрик, вокруг которого завертелись все *страсти и все силы; это как бы бесовский* центрик: «бес попутал», говорит в *таких случаях народ*. Трудно после этого обвинить Достоевского в идеализации русского народа. И сколько, сколько еще раз желание украсть часы будет внезапно и стихийно определять поступки русского человека!

А этот потрясающий случай с *расстреливанием причастия, рассказанный* Достоевским, это странное *состязание парней в русской деревне: «кто кого дерзостнее сделает?»* Быть может, это дикое патологическое исключение, которое в счет не идет? О нет, совсем не так думает Достоевский. Этот факт и эти типы, по его мнению, — «в высшей степени изображают нам весь русский народ в его целом. Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти *временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением*). Это — потребность хватить через край, потребность *в замирающем ощущении*, дойдя до крайности, свеситься в нее на половину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой».

Не ту же ли стихию изображает Пушкин? Но *только, как поэт и как сын иного века*, он изображает ее в красоте, *в романтической дымке:*

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю...

Достоевский скептичнее, сатиричнее; он не романтизирует русскую стихию, *он говорит ту же правду о ней*, но говорит горше Пушкина. Его Рогожин и Митя Карамазов менее красивы, чем Алеко, но это братья по крови и духу...

Но замечательно: несмотря на этот самый крайний скепсис, несмотря на самую горькую правду о русском человеке, несмотря на самое неумолимое исповедание его грехов, Достоевский никогда не теряет веру в Россию и русский народ. В *той же самой* русской стихии, в ее могучем напряжении *он черпает свою уверенность: в стихийности* есть а ф ф е к т, жажда бытия, которая не может остановиться на разрушении. Как это ни странно, в самом разрушении есть бессознательный аффект бытия, жажда какой-то полноты, невоплощенной в этой остановившейся и затвердевшей жизни. Встретившись с чистым небытием, аффект бытия поворачивает назад, он не хочет конца, он хочет бесконечности. Так, думается мне, можно объяснить веру Достоевского, вложенную *в его дальнейшие слова:*

«Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою с а м о с о х р а н е н и я и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасет себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда». Причем Достоевский убежден, что «обратный толчок, толчок восстановления и с а м о с п а с е н и я, всегда бывает *серьезнее прежнего* порыва — порыва отрицания и *саморазрушения...» и что «в восстановление* свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе».

Залогом этой веры является наличность русской стихии, ее напряжение. Пока есть аффект бытия, будет порыв самосохранения, если он иссякнет, если стихия охладеет — тогда ничего *не поможет, никакая дисциплина*, никакая цивилизация.

Есть и еще одна, *совсем особая*, категория характеров Достоевского, тоже являющихся воплощением русской стихии, но только особенно редким и ценным. Это князь Мышкин, Алеша Карамазов и Зосима. Если правда, что хаос есть смесь добра и зла, нагромождение всех потенций, то в хаосе русской жизни, среди безумств и преступлений, *должен когда-нибудь сверкнуть* и луч небесный, в волнах этой темной стихии должен отразиться и лик Божества. И вот эти три лица являются такими вестниками из иного мира; в них есть нечто ангельское, и оно роднит их с люциферианскими характерами — недаром Иван так любил беседовать с Алешей о предельных вопросах бытия — роднит в одном: они тоже люди д у х а, высокого предельно-ищущего духа, а не души и не тела; они тоже пневматики. Но только им чужд *«дух отрицанья и сомненья», они нечто* нашли и увидели и хотят показать людям.

Вся жизнь князя Мышкина сплошной хаос и беспорядок, он неловок в движениях, светски неприличен, неудержим в слове, в выражении внезапных чувств, неистов в своих объятиях, протянутых навстречу людям. Это вполне русская стихия, но только в добром аспекте. Он в силах снести удар по лицу с кротким величием христианина, и здесь даже нет могучего желания *самопреодоления, как у Ставрогина*, здесь все счастливый дар, все благодать. И все *его мысли, часто гениальные*, — всегда внезапное наитие, прозрение. Он говорит как Пифия, в «божественном умоисступлении», и говорит часто пророчески. Все лучшие пророческие свои идеи Достоевский вкладывает в его уста. Все он знает и понимает; он знает русскую стихию, знает ее разрушительный уклон, знает страшную предстоящую опасность:

«Извините меня, надо уметь *предчувствовать... Нам нужен отпор* и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в *отпор западу наш Христос!»*

А петербургский «хладный свет» сановников и бюрократов говорит этому одержимому, этому бестактному молодому человеку: успокойтесь, успокойтесь, не волнуйтесь так, все это преувеличено; какой отпор, какое предчувствие? Католицизм, социализм, атеизм — все это интересно конечно, но вовсе не так для нас важно. «Хладный свет» давно потерял всякую связь *с русской стихией, она в нем давно* остыла и окаменела, он даже не *подозревает, что она существует*. Но князь живет в ней, кипит в ней, и это то, что в нем шокирует.

Есть, однако, и в ангельском аспекте русской стихии нечто странное, индивидуально-русское, чудное: это ю р о д и в о с т ь, какое-то отсутствие таланта формы, умения формировать, отсутствие пластики, жеста. Русское добро часто принимает этот неуклюжий вид. Вспомним Пьера Безухова у Толстого, даже и *Левина*. Но поразительно об этом говорит сам князь *Мышкин: «Я всегда боюсь моим смешным* видом скомпрометировать мысль и г л а в н у ю и д е ю. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное; это даже самое главное»... Какая здесь глубокая противоположность латинской расе!

Если эта юродивость порою смешит и сердит князя, то все же сияние *подлинной любви притягивает к нему сердца* женщин и мужчин. В нем русский *аффект бытия становится аффектом* любви, но не ревнивой и корыст-

ной, а всеобъемлющей и мистической. Он любит Настасью Филипповну «жалостью, а не любовью» (и это тоже глубоко народная форма любви); он любит, наконец, двух женщин — ее и Аглаю, и никто этого не понимает; а все дело в том, что он их любит святой, мистической, христианской любовью: «конечно люблю ту и другую», отвечает он, не задумываясь, на прямой вопрос. Есть в нем и моменты прикосновения к мировой гармонии, как бы созерцание рая:

«Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят»...

Но вот что трагично — именно в этот момент восторга, и после этих самых слов, князь падает в припадке падучей. Мы ведь и забыли, что он все же «идиот», он вышел из стихии безумия и снова упадает в стихию безумия. Какой страшный символ! Неужели Россия всегда одержима и в добре и в зле? Неужели нам даны лишь мгновения болезненного экстаза, лишь в священной болезни можем мы созерцать иные миры?

Мы в небе скоро устаем,
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем...

Поэт, по-видимому, думает, что для нас неизбежны такие падения:

Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны...

Значит — в стихию безумия, она всегда сторожит нас, и освободиться от нее, овладеть ею можно лишь освободившись от всякой одержимости, найдя свое Я, овладев собою.

Как бы с целью показать, что это возможно, Достоевский ставит перед нами образы Алеши Карамазова и Зосимы. В них осуществлено то, о чем он мечтал: русская непосредственная сила наконец «организована» и «успокоена до елейной тишины». Но русской жизни они все же не организуют пока, до поры до времени. Быть может, этот старец и этот послушник — образы далекого прошлого, а может быть, им предстоит далекое будущее. Алеша проходит как-то безмолвно, хотя любовно, через ад и чистилище земного круговорота; он весь устремлен в какую-то бесконечную даль — быть может, в будущее своего народа, быть может, в иные миры, из которых он пришел. Достоевский делает их живыми и дает почувствовать их силу, но все же райские видения, как и у Данте, оказываются более бледными, чем пластические, осязаемые образы ада.

Но не только живет эта могучая древняя стихия в сильных героях Достоевского — в Ставрогине, в Иване Карамазове, в Мите, в князе Мышкине, в Настасье Филипповне и Грушеньке; ее можно почувствовать и узнать и в самых презренных и мелких людях — в Федоре Павловиче, в Смердякове, в Фоме Опискине, во всех этих генералах, приживалах и приживалках..., она живет в пьяном разврате, в кутеже, в слезах, в словесном блуде, в угнетении, в лакействе — везде какое-то своеобразное радение и верчение, везде хаос подсознательных душевных сил, везде отсутствие настоящего Я и самообладания. Не люди действуют, а страсти и животные поползновения владеют ими, бесы действуют, крупные и мелкие; а внезапно отразится лик Божества в этом кипящем хаосе, в этом море... отразится и потухнет.

Русская стихия роднит у Достоевского всех, великих и малых, в одном удивительном признаке: в необыкновенном напряжении аффекта бытия, в стремлении как можно полнее воплотить себя, занять универсальное место в мироздании. Самые мелкие и пошлые «бесы» больше всего боятся быть нереальными, незаметными, они изо всех сил стараются доказать свою реальность и жаждут воплощения. Черт Ивана Карамазова хочет воплотиться в семипудовую купчиху — надежная и заметная реальность! Русский человек, говорит Достоевский, изо всех сил спешит заявить себя — «заявить себя в хорошем или в поганом». Если он находится в состоянии падения, то он будет играть роль шута, как Федор Павлович или генерал Иволгин с его героическим враньем, но только бы не пройти незамеченным, только бы поразить воображение, произвести эффект, в крайнем случае — замешательство или скандал. Достоевский часто изображает необъятное, непропорциональное ничему и несообразное ни с чем самолюбие русского человека: чем ничтожнее его Я, тем более оно себя раздувает; эти пузыри земли хотят раздуться до пределов мироздания, и чем более знают свою пустоту, тем более озлоблены, отравлены завистью. Известна поразительная, стихийная обидчивость русских людей, и особенно русских мальчиков. Они должны быть недотрогами, ибо мыльный пузырь может лопнуть при каждом прикосновении. Самая яркая индивидуальность этого рода — Фома Опискин:

«Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем, самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно, и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче».

В нем воплощена русская стихия, одержимая бесом деспотизма, «похотью господства» (выражение Августина). Она странным образом зарождается в состоянии угнетения. Здесь какая-то удивительная диалектика страстей: «Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя изпод гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться». Здесь Достоевским поставлена еще другая проблема: трагедия села Степанчикова есть трагедия власти и подчинения. Как властвует Фома, при помощи какого гипноза он подчиняет себе людей умных, более добрых, чем он? Это странная загадка. «Люди, — говорит Достоевский, — считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались».

Похоть господства, как одно из проявлений русской стихии, изображена была затем Чеховым в образе унтера Пришибеева.

Достоевский ненавидит, конечно, сам своего Фому Опискина, но все-таки он видит в его душе некоторый трагизм и как бы некоторое извращение когдато существовавшего человеческого достоинства. Падение есть во всех подобных типах, но пасть может лишь тот, кто когда-то стоял, кто хоть мгновение был на высоте.

«Кто знает, может быть, это безобразное вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может быть, в детстве — гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах?»

И в этих ничтожествах повторяется вечная трагедия и комедия потенциально-бесконечной души человека, «бесконечного в возможности», по выражению В. Соловьева, и «ничтожного в действительности». Русская стихия воплощает ее по-своему в странных изломах и наваждениях.

До сих пор мы рассматривали русскую стихию у Достоевского, так сказать, статически — в ее сущности, в ее особенностях и модификациях, в ее носителях и воплощениях. Но ее необходимо рассматривать динамически — в движении, в развертывании событий, в смене страстей; только здесь она раскрывается вполне, ибо она неустойчива и динамична по существу.

В романах Достоевского всегда происходит нагромождение событий, которые завершаются сценами высшего напряжения. Они странны, хаотичны, иррациональны, стихийны. Герои действуют наперекор рассудку, не отдавая себе отчета, потеряв власть над событиями; подпочвенные течения в душе влекут к поступкам. В конце концов действуют не сами люди, а неведомые им скрытые стихийные силы.

Не сами — это чрезвычайно важно: они одержимы какими-то неистовыми силами, иногда им самим непонятными, одержимы бесами крупными и мелкими. Часто это бес уязвленной гордости, необъятного самолюбия, бес господства и раболепия, бес предательства и бес разрушения святынь и надругательства... Но это не сам человек: его самость как будто куда-то ушла.

«Разве вы такая, какою теперь представлялись? Да может ли это быть!»

Это говорит князь Настасье Филипповне, после знаменитой сцены у Иволгиных. Конечно, это не она сама, не сама сущность ее души говорила эти слова цинического самоунижения, направленного к унижению других:

«Я ведь и в самом деле не такая, он угадал», — прошептала она.

И мгновенно вся одержимость исчезла, демон гордости удалился.

Вспомните эту знаменитую сцену, когда Ганя ударяет князя по лицу, или другую, когда Настасья Филипповна бросает деньги в камин. Есть что-то общее во всех этих сценах Достоевского, где совершается какое-то чудовищное нагромождение событий, накопление страстей невероятного давления, какой-то бесовский шабаш всеобщей одержимости, поистине сумасшедший дом. Здесь Достоевский становится драматургом и великим драматургом, и здесь-то он и раскрывает динамику русской стихии. Как непохоже это стихийное движение на развитие западноевропейской драмы!

Совсем другой ритм событий; быть может, даже полная аритмичность. Здесь герои теряют себя и несутся в какую-то бездну... Здесь есть русское «Эхма!» или «пропадай моя телега»... Вихрь, кружение, метель, бесы:

Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Никто не идет прямо к своей цели, каждый действует и говорит себе во вред... разгулялись духи стихийных сил, и никто не может их заклясть. Иногда они мощны и страшны, иногда мелки,

смешны и подлы — эти духи... Иногда их хоровод становится широким, почти всеохватывающим: вспомните бал у губернатора в «Бесах» — стихия разрушения, дерзновения вырастает из хулиганства и грозит разлиться до пределов страны. Все здесь непохоже на западно-европейскую трагедию: там действующие лица действуют по целям, частью добрым, частью преступным, сталкиваются, борются... Здесь — бесцельный вихрь, никто не действует, никто не строит жизни, последовательны и сильны только разрушители, как Верховенский, здесь много личин и мало лиц, мало кто нашел свое лицо, даже свою главную страсть. Все движется, все переливается, все неопределенно и беспредельно.

Стихия страстей есть, конечно, во всякой душе и во всяком народе. Нет истории, нет трагедии без страстей. Но западно-европейская трагедия дает картину формирования страстей центром самосознания, а Достоевский показывает странную картину бесформенности страстной стихии, над которой беспомощно и удивленно стоит в ы с ш е е Я, постоянно бросающее свою душу на произвол низших сил, на произвол стихийных вихрей, где образуются центры вращений, затягивающих душу в круговорот, эфемерные формирующие центры всяких одержимостей, мешающих истинному с а м о о б л а д а н и ю. А где же высшее Я? Может быть, его и нет совсем у русского человека? О нет, напротив, оно очень гордое и высокое; только оно не может никак найти какой-то точки опоры, без которой нельзя творить. И творить както не хочет русский человек, и дух его пока «носится над бездной». Все он думает, выбирает, не решается; все готовится к какому-то великому подвигу, для которого нужно сначала решить предельные вопросы. А запад строит ежедневную, насущную жизнь и без решения этих вопросов.

«Э! К чему предрешать, — вскричал Шатов, — на тысячу лет вперед!.. Будем жить в современности, делая лишь насущное дело, не сомневаясь, что Бог поможет впоследствии.

— Попробуйте ужиться! — засмеялся князь (Ставрогин), и вышел». (Материалы к «Бесам»).

Да, неуживчив русский человек, не может ужиться ни с другими, ни с самим собою: все ему жизнь не по плечу — мелка, пошла, ничтожна. Взыскует он какого-то града. В этой уродливости есть *великая правда: он ищет* непременно отношения к в с е л е н с к о м у ц е н т р у, откуда должны идти формирующие силы, и нему должен тяготеть формирующий центр микрокосма, центр самосознания. Пока центр великий не найден, нет и центра малого, жизнь остается э к с ц е н т р и ч н о й, хаотичной, антиномичной, раздвоенной; а при могучем напряжении русской стихии это приводит к безумию, к раздвоению личности, к злому двойнику, как у Ивана Карамазова и Ставрогина.

Где творческие индивидуальности у Достоевского? творится ли космос из русского хаоса? или ничего не реализуется из этого моря возможностей? Ставрогин и Иван Карамазов ничего не творят, хотя могли бы — и по мощи душевной стихии и по силе ума, но они не решили, с кем идти: «с Тобою, или с ним». То же самое можно сказать и о Раскольникове, и о Кириллове — все это «чудовищные эксперименты», имеющие целью решить предельные *вопросы, без которых ничего делать и не стоит.* Дмитрий Карамазов и Рогожин не строят жизни, ибо их дух всецело и фатально погружен в стихию страстей, и даже еще н е п о д н и м а л с я над этой бездной, не витал над ней, ища формирующего центра. Женщины Достоевского н е д е л а ю т жизнь, потому что они р о ж д а ю т жизнь, они носительницы стихийного начала души по преимуществу, они могут показать из этого темного лона «лик Мадонны», но могут и погрузить мужскую душу в «неистовую и яростную» хлыстовскую стихию. *Семена Логоса должны упасть* в души женщин, а Логос есть мужское начало; если бесплодны в творчестве мужчины, то бесплодны и женщины, и гибнут бесплодно.

Наконец, не строят никакой жизни и положительные типы: князь Мышкин и Алеша Карамазов; это пожалуй особенно странно — ведь они несомненно наш вселенский центр и находятся в сфере его притяжения, в них есть подлинная святость, божественная любовь, самообладание. Ведь лишь только Алеша уверовал, что есть Бог и бессмертие, как тотчас и решил: «буду жить для Бога и бессмертия», и решил *уже бесповоротно и без колебаний.* И все же они оба только странники в миру, юродивые, монахи, ангелы Божии, восхищающие и привлекающие сердца, но не творящие жизни. Жизнь течет мимо них, течет по своим законам. Они не делают этой жизни так же, как не делают ее старцы настоящего монастыря, как не делает ее Зосима. Достоевский знал, что это великие светильники жизни, маяки, — но не корабельщики, не лоцманы.

Не делает жизни, конечно, и бессмертный *тип русского либерала,* Степан Верховенский:

Воплощенной укоризною
Ты стоишь перед отчизною,
Либерал-идеалист...

Фигура совершенно пророческая для всего развития *русского либерализма:* из «идеи» вытекает только «укоризна» и единственное реальное дело всей жизни — это у х о д, предсмертный протестующий уход Степана Трофимовича! Впрочем, в нем русская стихия поослабла и поостыла: ведь он не холоден и не горяч, он тепл... Как он поразился, прочтя впервые, в конце жизни, эти слова! Тут уже ничего стихийного и мало осталось русского, разве только русское неделание.

Но есть одна личность у Достоевского, *которую, хотя нельзя назвать* творческою, ибо она занимается делом противоположным, однако следует признать необыкновенно деятельной, активной, настойчивой и последовательной — это Петр Верховенский, крайний антипод и противник своего отца (как символично: отца!). Он лучше знал и понимал русскую стихию, чем «либерал-идеалист» и даже сам имел в себе нечто стихийное, хотя конечно в отрицательном полюсе. Это тоже личность пророческая, и в нем раскрывает*ся великое ясновидение Достоевского.* Без этой личности нельзя понять русскую стихию и ее будущее. Вот его программа:

«Я делаю дело, потому что надо делать. С этого (с разрушения, естественно) всякое дело должно начинаться; я это знаю, а потому и начинаю... а прочее все болтовня и время берет. Все эти реформы, и поправки, и улучшения — вздор». «Нужно все разрушить, чтоб поставить новое здание, а подпирать подпорками старое *здание — одно безобразие».* Он *«ужасно иногда невежествен»* и «совершенно спокоен в своем невежестве». И народа он, собственно, не желает узнавать и изучать: «Мне, собственно, до народа и до знания его нет никакого дела. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе и все тут». Ему отвечают, что и смуту он не сделает, не зная народа... «Это вздор, — отвечает он, — дайте мне четверть часа только поговорить без цензуры с народом, и он тотчас за мною пойдет». Когда его уверяют, что народ гораздо крепче сидит, он говорит: «Ну, вот вздор», и показывает факты — разбои, поджоги, фон-Зон.

Эта показательная характеристика Верховенского-сына мало известна, ибо она извлечена не из романа, а из записных книжек Достоевского. В ней концентрирована вся сущность этой личности. Верховенский угадал одну сторону русской стихии, и сам есть ее воплощение.

Но кто же в конце концов делает русскую жизнь, ежедневную, насущную? Кем держится государство и строится общество? Романы Достоевского дают нам один ответ — ясный и неумолимый: ее делают те, кто занят не совершением дел, а устраиванием «делишек». Губернатор-немец, который клеит картонные домики, аристократическая бюрократия, занятая борьбою честолюбий, сплетнями, пенсиями, любовницами, выгодными браками, залогами имений... и наконец — Федор Павлович, Фердыщенки, Лебедевы, Иволгины... все эти мелкие бесы, которые в баню любят ходить и стараются воплотиться в семипудовую купчиху. Вот кто строители жизни — это гилики, люди тела, те самые, души которых и за гробом заняты той же гнилью, как это изображено в страшном рассказе «Бобок».

Значит она, эта жизнь, творится не прометеевски, огонь не похищается с неба, она творится без духовного начала, люди духа бездействуют? Удивительно ли, что лава охлаждается, лопается и *рассыпается в прах?*

Но, может быть, жизнь эта опирается на народную массу, которая живет «тихо-складно, коренником»? О нет, фундамент непрочен: там разбои, грабежи, украденные часы, хулиганство и богохульство. Верховенский прав: если масса начнет что-то делать, она прежде всего начнет разрушать.

Безгранично презрение Верховенского-сына к русской жизни и русской интеллигенции. Все, по его мнению, одна болтовня и провождение времени; *особенно он презирает либеральную* болтовню. Он совершенно циничен, ибо ничто вокруг не кажется ему заслуживающим уважения. Но он уважает русскую стихию в модусе разрушения. Он целует руку Ставрогина, ибо видит в нем огромную разрушительную силу. Мэоническое должно быть погружено в небытие. Таков философский смысл этого духа. Он дух отрицания в квадрате: negatio negationis. Неумолимая диалектика истории осуществляет в нем отрицание тезиса и переход к какому-*то, ему самому неведомому, антитезису.* Он страшен, этот жрец небытия в своем двойном отрицании; он не различает добра и зла, он интриган, — но все же есть нечто в нем, заставляющее задуматься, есть великая историческая проблема, почти чудо. Его нельзя уничтожить никакою логикой и никакою этикой, ибо он выражает русскую стихию в ее историческом модусе, в ее судьбе.

А что, если правда мэонична русская жизнь, та жизнь, которую изображают Гоголь, Лев Толстой, Чехов, а главное, и *больше всего — сам Достоевский?*

Жизнь Хлестакова, Чичикова, мертвых душ — разве это подлинная жизнь? разве дух веет здесь? — А тоскливые тени Чехова, мечтающие о том, что будет через 100, 200 лет, разве это не эфемерное бытие, царство теней? Толстой с своим могучим аффектом бытия уж, кажется, творит наиреальнейшие образы, но весь он, вся его душа — в сознании неподлинности этой жизни. Что-то здесь не так, в этой дворянской культуре, даже все не так; нужно уйти от нее, прикоснуться к природной стихии, уйти в землю, ниспасть, и затем начать совсем иной путь восхождения. Но сам Достоевский всех определеннее высказывается: в его изображении русская жизнь есть сплошное бесовское наваждение, сплошная одержимость, фантасмагория, призрачные туманы Петербурга, «утомительные сны»... Если русская стихия жива, если она действительно есть аффект бытия, то она прежде всего должна желать разорвать эту дымовую завесу, рассеять эти удушливые газы, уничтожить все формы, все перегородки, разбить все оковы, все переплавить, все погрузить в хаос, и затем начать строить новый космос. Иначе говоря, русская стихия должна вступить в фазис революционный. Дворянски-интеллигентская аристократическая культура завершила цикл развития и пришла к распаду, к «семейке» Карамазовых. Самый умный и сильный из этого мира, Ставрогин говорит так: «Я прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы — главная гниль, на нас главное проклятие и из нас все произошло».

Но, может быть, это неправда, может быть, это клевета, может быть прекрасна, уютна и богата была русская жизнь? Как многим и сколько еще раз будет приходить эта мысль! Если так, то значит неправа вся русская литература, начиная с Пушкина, ибо это она осудила и похоронила старую Россию; если так, то не имел Пушкин права сказать высшему свету:

В разврате каменейте смело!

И народной массе:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Но нет, в словах этих правда, и еще надолго в русской истории они сохранят свою правду.

Наконец, оставим всю русскую литературу и вспомним наше самочувствие, основной мотив всей нашей жизни: разве это не было сплошным сознанием какой-то неправды, постоянной жаждой переродиться, постоянным стремлением что-то изменить, начать новую жизнь, которая всегда не удавалась?..

Нет, кто хочет творить жизнь, никогда не должен оглядываться назад, иначе он разделит судьбу жены Лота.

Теперь ясно, почему у Достоевского нет творческих личностей, почему творческое, прометеевское начало, петровское начало исчезло из русской стихии. А ведь Петр был классическим ее воплощением когда-то — «он весь, как Божия гроза!» — Петровская Россия достигла возможного совершенства, окаменела, и одряхлела. Русская стихия вступает в фазис великих переворотов, разрушений и землетрясений. И Достоевский, как пророк, видит судьбу России.

Ясно также, почему носители божественного, гармонического начала не деятельны. Здесь великая проблема: Зосима в затворе, его брат умирает молодым, Алеша в молчании, князь — в падучей. Это так оттого, что время еще не пришло для них, они лишь семена далекого будущего, семена Логоса, но они должны попасть в родную землю, которую еще всю предстоит поднять, перепахать и разрыхлить; иначе, на этом камне, на этой коре они погибают бесплодно: их любят, ими восхищаются, над ними смеются, на них смотрят, как на иконы, но никто не берет их всерьез. «Не оживет, аще не умрет»... вот пророчество Достоевского. Россия должна пойти «путем зерна»:

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

Так говорит современный поэт, угадывая пророчество Достоевского.

И вот еще другое прозрение этого духовидца: беснование русской стихии должно дойти до предела, до полного выявления из ее недр и полного выделения всего самого низкого — бесы должны войти в стадо свиней и свергнуться в бездну.

Видит ли Достоевский ясно грядущую судьбу русской стихии? тот уклон, который ей предстоит? Не вполне. Как все духовидцы, он видит отчасти, «как бы в зерцале, как бы в гадании» и выражает свое видение в символах. С другой стороны, быть может, он видит многое, чего еще мы не видим, и мы не знаем, исполнятся ли все его пророчества. Он не думал, что Петру Верховенскому принадлежит такая грандиозная роль. Он делает ему уничтожающие возражения. Но, с другой стороны он знает, что его невежество побеждает странным образом всякую логику. И он допускает возможность и такого пути. В своих эпиграфах он даже предначертывает именно этот путь зерна.

Все великие русские писатели знали, переживали, воплощали и любили русскую стихию. По отношению к Пушкину это отлично показал Гершензон. В нем он угадал русскую стихию и через ее переживания нашел истинный подход к пониманию русской литературы. Его мысль глубоко родственна моему пониманию Достоевского и сущности русской души...

Мне кажется только, что в обожании беззаконной стихии ни у Пушкина, ни, тем более конечно, у Толстого и Достоевского — нет никакого имморализма. Достоевский в своей знаменитой речи понял Пушкина, как глубочайшего моралиста, и он, пожалуй, прав. Стихия может быть и беззаконной и преступной и вдохновенно героической, и в ней все смешано, но дух великого поэта, витающий над нею и творящий из нее образы, никогда не смешивает добра и зла, прекрасно различает их, хотя равно прекрасно изображает и добро, и зло, и их стихийное смешение. В этом особенность русской души, в этом отличие Достоевского от Ницше. Западный дух, если влюбится в стихийность, непременно станет «по ту сторону добра и зла». Так было со времен Цезаря Борджиа и Бенвенуто Челлини.

Как удивительно Пугачев приковывал внимание Пушкина. Это потому, что в нем с большой яркостью воплощена русская стихия. Ее можно было бы проследить во всей русской истории. Иван Грозный, самозванцы, Петр, Пугачев, Стенька Разин и, наконец, Распутин — все это русская стихия в странном многообразии своих модусов.

И вот есть для России, для русского народа две опасности: погибнуть от напряжения стихии и от иссякновения и охлаждения стихии. Море может поглотить в своих бурях, но может и иссохнуть в полном затишье. Нужно формировать русскую стихию, но так, чтобы форма не убила живой материи, не иссушила материнского лона. В этом лежит разгадка отношения Достоевского к западно-европейской цивилизации и к переносу ее форм в русскую стихию. И не один Достоевский боялся здесь тепло-хладности европейской гуманной уравнительной цивилизации... С другой стороны, Достоевский понимал, что без формирующего центра грозит гибель в стихии б е з у м и я и п р е с т у п л е н и я.

Где же выход? Он в том, чтобы найти свое Я, высокое, божественное по происхождению, прекрасное в своей скрытой сущности; в том, чтобы это Я овладело стихийными силами страстной души и того, что лежит ниже души, той «животной силы», которая живет под порогом сознания, и которая корнями своими погружена в живое тело; все эти темные обители стихийных сил дух должен пронзить своим лучем, просветить, преобразить, оформить. Тогда даже напряжение пороков преображается в добродетели, по мысли Ницше, которого, кстати сказать, роднит с Достоевским тоска по потере стихийной мощи в западно-европейской цивилизации.

Что нужно для этого? Нужно о в л а д е т ь с о б о й, нужно создать прочный ц е н т р д у х а, преодолеть ц е н т р о б е ж н ы е с и л ы страстей и бессознательных стихий, нужно постоянное с а м о п р е о д о л е н и е, постоянная концентрация растекающейся и разбегающейся души, ибо мощь души, как указал еще Августин, есть к о н ц е н т р а ц и я. И вот Достоевский постоянно возвращается к понятию с а м о о б л а д а н и я. Русскому человеку, русской стихии более всего не хватает самообладания. Достоевский восхищается самообладанием Ставрогина и князя Мышкина, когда они сносят пощечину. Он восхищается подвигом самопреодоления, совершенным Зосимою в юности. Подвиг самообладания есть для него высший подвиг, и во всяком подвиге есть самообладание.

«Прежде всякого возрождения и воскресения — с а м о о б л а д а н и е», — говорит Ставрогин. «Он ищет укрепиться в убеждениях у Голубова» (лицо в романе не фигурирущее) «а идеи Голубова суть смирение и с а м о о б л а д а н и е и что Бог и царство небесное внутри нас, в с а м о о б л а д а н и и, и свобода тут же» (Материалы к «Бесам»). К этой любимой своей идее Достоевский возвращается в Пушкинской речи; он говорит: вот «русское решение вопроса», «проклятого вопроса», по народной вере и правде...» не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, п о д ч и н и с е б я с е б е, о в л а д е й с о б о й — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его».

Но, конечно, недостаточно одного этого формирующего центра в себе, в микрокосме, хотя без него ничего

не может быть сделано, без него даже религиозные порывы превращаются в падучую болезнь, или в хлыстовское радение. Необходим еще центр всекосмический, и это для Достоевского — русский Бог и русский Христос: «дайте отыскать русскому человеку это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресенье его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и праведный, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому, что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия»... (слова князя Мышкина). Этого пророчества Достоевского мы конечно не сможем проверить.

Но вот, в конце концов, мы должны спросить себя: можно ли любить русскую стихию, стихию безумия и преступления? Да, можно и должно, но она прекрасна только в самопреодолении, в самопреображении; она отвратительна в самохвальстве, в самодовольстве, в распоясанности, в стоячем болоте. Во всякой душе есть стихийность и во всякой душе есть стихия безумия, но в русской душе она сильнее, чем в какой-либо другой; и не случайно, что русский философ и психолог, С. Л. Франк, указал на значение этой *стихийности в составе сознания в своей* замечательной и еще не оцененной книге «Душа человека». Термин «безумно» есть самый распространенный на всех языках (Wahnsinnig, follement) — «безумно люблю», «безумно рад», «безумно несчастен» — чувства и поступки людей так часто безумны, и особенно у нас в России. Но разве хорошо, если будут любить и радоваться только рационально, если никто ничего не будет творить из бессознательного?

В безумии есть одна странная особенность: оно родственно с фантазией, бесконечно близко к ней, почти едино. Безумие и фантазия — дети одной и той же стихии, живут в одном и том же лоне; все безумцы — фантасты, и все фантасты немного безумцы. Фантазия есть преображенное и просветленное безумие. И если нет искусства без фантазии, то значит искусству нужна стихия безумия. В ней оно зарождается. Поэт одержим манией (Mavia). Это знал Платон. Художник, говорил он, творит в некотором божественном умоисступлении. Пушкин выразил эту мысль с милым юмором: «поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой». Творить вне священного безумия — значит творить, как Сальери. Сон, грезы, бред, — все это порождение той же стихии, родные братья безумия и фантазии. «Сновидение» — это любимое слово всех поэтов, и вся поэзия, пожалуй, состоит из гениальных снов, сохраненных от забвения силою Мнемосине:

Бывало, милые предметы
Мне снились и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила.

Из родной стихии, из стихии безумия, черпает русское искусство огненные вихри своего вдохновения, оно преображает безумие в огнецветную фантазию, в расплавленную, или кристально-граненую красоту. А если чем и можем мы, русские, бесспорно гордиться перед западом, если можем чем покорять сердца и завоевывать народы, то это прежде всего нашим искусством: музыкой, танцем, живописью, театром, поэзией, романом.

Шпенглер правильно угадал, что только мы, русские, можем дать миру новую религию: он думает, что в наш век нужно быть немного сумасшедшим, чтобы обладать религиозной одержимостью, и он прав по-своему. И еще есть нечто, связанное с той же стихией: это наш фантастический утопизм, способность внезапно вдохновляться к действию самыми безумными проектами. Черта, которая удивляет запад и скорее пугает, чем внушает насмешку.

Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами...

Das Russentum может это сказать; das Deatschtum, пожалуй, уже нет: там все рефлексивно, аналитично, рационально.

Но есть в русской стихии и другая, страшная сторона: в безумии есть преступление. И это, конечно, ужасно. Преступление нельзя преобразить. Его можно только искупить. Но преступника можно преобразить; и в *этом — высшая радость и счастье.* Достоевский вскрывает здесь исконную народную веру: баба, «молодка», видит первую улыбку своего ребенка:

«Что ты, говорит, молодка? А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед Ним от всего сердца на молитву становится». Это, конечно, князь Мышкин, рассказывает и поражается: «главнейшая мысль Христова! Простая баба! Правда, мать»...

Но нелегко достигнуть такого преображения грешника. Не все разбойники и на кресте «благоразумны». Много преступлений гнездится во тьме стихии безумия, неискупленных и незабытых. «Власть тьмы» — это национальная трагедия: в ней изображена русская стихия, с ее страстной жаждой покаяния. Здесь лежит объяснение того, почему величайшие русские умы, и преимущественно люди чести и эстетического чувства, могли переживать такое отвращение к русской стихии, к славянству, могли так презирать его. Нет, с другой стороны, народа, который до такой степени был бы склонен к покаянию, к самобичеванию, к самоуничижению. Русский человек боится сам себя.

Но искупление осуществляется не иначе, как путем страдания. Вот откуда та жажда страдания, которую Достоевский так подчеркивал в русском человеке. В душе Ставрогина есть стихия преступления, и это она приводит его к «потребности кары, креста, всенародной казни». И не должно роптать и обращаться в бегство, когда это страдание приходит. В нем должно искать самообладания и самопреображения, нужно уметь увидеть в нем карму дел, извлечь из нее высшую мудрость. Это любимая мысль у Достоевского и Толстого: «Мне отмщение и Аз воздам».

Почему взор Достоевского так прикован к душе преступника, к сущности преступления? И у Толстого есть эта тенденция. Русская жалостливость, сентиментальность? Вовсе нет! Стихию преступности нужно осветить в русской душе, нужно до дна заглянуть в нее, чтобы преодолеть, чтобы преобразить русскую душу. Нельзя действовать только извне: законом, судом, наказанием; наивно думать, что так легко укротить стихию. Надо действовать изнутри, из центра; тем более, что есть преступность и даже глубокая, которая умеет уживаться с какими угодно уголовными кодексами.

Теперь, в заключение, оторвемся от *Достоевского, отойдем в сторону* от его образов и философских построений, и зададим себе один тревожный вопрос: да правда ли так мощна «русская стихия», и где ее богатыри? Была, правда, великая гора, но что, если она начнет рождать мышей? Произошло извержение русского «Этноса», но может быть вулкан потухает и стихия охлаждается в тепловатом быту, в жалком мещанстве? как ответить на этот вопрос? здесь не может быть объективного знания; здесь — субъективная вера. Каждый скептик, каждый мещанин реально охлаждает русскую стихию; каждый энтузиаст, каждый герой — и ее воспламеняет. Все в том, как мы захотим переживать самих себя — как великих или как ничтожных. Надежды не рождаются в бездейственном унынии: в нем лежит безнадежность; надежды расцветают в действии. А потому самые трезвые практики и реалисты суть хранители наших надежд, если только они рождены русской стихией, если в них есть размах, инициатива, аффект бытия, а не *одна только мелкая трусливая корысть.*

59

Аффект бытия надо хранить в себе, он жив и мощен еще в хаосе нашей жизни, в бурях нашей революции, в песнях нашей поэзии.

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!
Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Так говорит Блок, поэт эпохи революции, воплотивший с огромной силою русскую стихию в своих двух поэмах: «Двенадцать» и «Скифы». Он угадал, что аффект бытия есть любовь и что любовь, рожденная русской стихией, может быть и слепой и губительной, но хочет быть потенциально-бесконечной, всепроникающей, всемирной, хочет быть тем Эросом, который как-то залетел к нам из далекой Греции.

Русская стихия двойственна, беспокойна, не любит затишья, противоречива, всегда сразу и утверждает и отрицает; она родственна по природе *этому странному богу эллинов* и влечется к нему. Никто с такою силою ее не постиг; никто не выразил так ее революционной, разрушительной мощи, никто не дал о ней таких пророчеств, идущих в глубь времен, как это сделал великий Пушкин; лучше сказать невозможно:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?..

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот.
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

ИОСИФ РОЗЕНТАЛЬ

ДОСТОЕВСКИЙ, БУЛГАКОВ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА

Если попытаться кратко назвать основную тему, проходящую красной нитью через произведения Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»), то, вероятно, ее следует сформулировать так: можно ли путем единичного преступления (например, убийство старухи или ребенка) пытаться добиться мировой гармонии? Совместима ли эта гармония хотя бы с ее единичным нарушением? И Достоевский с удивительной психологичностью, граничащей с математической строгостью, отвечает на этот вопрос отрицательно.

Вероятно, сама постановка такого вопроса и подобный ответ привели к тому, что до Отечественной войны, во время, еще овеянное пороховым дымом и многочисленными жертвами во имя светлого будущего, Достоевский был отнесен к лику «реакционеров» и исключен из школьной программы. Именно взаимосвязь личного счастья и мировой гармонии была апофеозом мировоззрения Достоевского и, в частности, нашла свое отражение в гимне предельно ясной, замкнутой и завершенной евклидовой геометрии, — гимне, торжественно провозглашенном Иваном Карамазовым во время его беседы с братом Алешей: «Но вот, однако, что надо отметить: если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Евклиду ни за что не могут сойтись на Земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности... Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет бога: есть ли он или нет? Все это вопросы совершенно несвойственны уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях».

Во времена Достоевского казалось, что к стройной конструкции трехмерной евклидовой геометрии нельзя было ничего добавить или отнять. Поэтому, вероятно, неслучайно он обращался именно к этому образу, который превосходно отражал представления XIX века о физическом пространстве и являлся как бы символом гармонии. Однако, смутное XX столетие, насыщенное войнами и революциями, интуитивно отраженное в дисгармонии, — основном мотиве почти всех произведений Достоевского, — опровергло также и его представление о единственности и необходимости трехмерной евклидовой геометрии.

Далее мы кратко остановимся на современных представлениях о физическом пространстве, а пока затронем вопрос о геометрии пространства по Булгакову и обратимся к диалогу между представителем Сатаны — Коровьевым и Маргаритой, в знаменитой квартире № 50. «Нет, — ответила Маргарита, — более всего меня поражает, где все это помещается. — Она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев сладко ухмыльнулся... — Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.»

Коровьев был прав. Если бы существовало четвертое или пятое измерение, аналогичное известным трем, но не ощущаемое нашими чувствами или приборами, то раздвинуть объем закрытой трехмерной комнаты не составляло бы ни малейшего труда. Чтобы представить детальнее эту процедуру, мы попросим читателя немного напрячь свое воображение и допустить, что мы «живем» в двухмерном мире: например, на бесконечной плоскости. Тогда образ замкнутого пространства можно представить в форме квадрата, расположенного на этой плоскости. Двухмерное существо, находящееся внутри квадрата, не может его покинуть, если отсутствует «дверь». В этом квадрате внезапно для этого существа возникнет третье измерение (высота), тогда оно беспрепятственно может покинуть замкнутый квадрат, устремившись ввысь. Именно аналог этой процедуры и имел в виду Коровьев, объясняя Маргарите необъятные размеры трехмерной замкнутой квартиры № 50.

Различие между «сатанинским» многомерным пространством и человеческим трехмерным объясняет таинственную фразу другого ассистента Воланда — Азазелло, обращенную к Маргарите: «Когда будете пролетать над воротами, крикните „невидима“». И, действительно, из текста явствует, что Маргарита будет невидимой для других, но увидит хорошо мельчайшие детали ночной Москвы.

Моя трактовка этого парадокса полностью основывается на правильном (с моей точки зрения) указании Достоевского на то, что человеческий ум (или точнее зрение) устроен так, что он способен воспринимать лишь три измерения. Маргарита, парящая в высшем измерении, была бы невидимой — для обычных, «трехмерных» людей. Ее же зрение, адаптировавшись ко многим измерениям, могло бы наблюдать привычную человеческую жизнь.

Мне представляется также, что и заключительный парящий полет Мастера и Маргариты, когда перед их мысленным взором мелькают фантасмагорические пейзажи грешной Земли, с ее известным символом конформизма — Понтием Пилатом, и возникает надежда на светлое будущее, также происходит в пятом измерении.

Известно, что заключительные главы «Мастера и Маргариты» М. А. Булгаков дописывал в безнадежном состоянии. Прекрасный врач — он не питал никаких иллюзий относительно своей близкой кончины. Быть может, пятое измерение было для него иным, лучшим и вечным миром, куда готовилась переселиться его душа. Возможно, что это мой домысел. Однако — вот удивительный факт. Великие писатели Достоевский и Булгаков затрагивали очень давно (первый более 100 лет, а второй — 50 лет назад) проблемы, которые сейчас стали центральными в современной физике — проблемы геометрии и размерности физического пространства.

Я решительный противник ранжирования талантов (первый, второй...). Каждый гений уникален, и поэтому подобное сопоставление бессмысленно. Поэтому, я ограничусь лишь чисто личностным замечанием: Булгаков и Достоевский — мои любимые писатели. И совпадение: их интересовали те проблемы, которые, как я полагаю, в физике являются самыми важными. Никаких аналогов в русской или иностранной художественной литературе столь пророческого видения контуров физических образов мироздания я не знаю.

Теперь наступила пора кратко остановиться на современных представлениях физического пространства. Уже А. Эйнштейн в своих основополагающих работах

по теории относительности исходил из того, что истинная геометрия физического пространства должна весьма незначительно отличаться от евклидовой. Здесь полезно некоторое разъяснение. Почти всегда, и в повседневной жизни, и в научных исследованиях, пространство можно трактовать евклидовым. Однако, в некоторых исключительных случаях (когда исследуются явления вблизи очень массивных тел) пространство (по Эйнштейну) становится кривым и может быть существенно неевклидовым. Здесь необходимо сделать одно замечание. Понятие неевклидовой геометрии в математике было введено Н. Лобачевским и Ф. Гауссом задолго до создания Эйнштейном теории относительности. Однако Эйнштейну принадлежит крылатая фраза: «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». К сожалению, несмотря на многократное цитирование этого афоризма, я не встречал подробную мотивацию приведенного утверждения самим Эйнштейном. Быть может, в ее основе лежит приведенная выше цитата из «Братьев Карамазовых». Однако мне представляется более правильной другая интерпретация. Общая картина дисгармонии мира Достоевского натолкнула Эйнштейна на необходимость отказа от универсальности совершенной евклидовой геометрии.

Далее следует сказать о современных представлениях о размерности физического пространства. Сейчас практически все ведущие специалисты в области фундаментальной физики полагают, что истинная размерность пространства существенно больше трех. Интенсивно исследуются физические пространства с размерностями 9, 10 и 505. (Замечу, что в специальной литературе указываются размерности 10, 11 и 506, поскольку учитывается также и временная координата. Весьма возможно, что Булгаков, знакомый с теорией относительности, поэтому говорит о пятом, а не о четвертом дополнительном измерении).

Уже то обстоятельство, что рассматриваются столь разные значения размерностей, указывает на отсутствие вполне завершенной теории физического пространства. Сейчас эта теория находится в стадии развития, однако правильно главное утверждение — физическая теория опирается на представление о многомерных пространствах. Геометрия таких пространств весьма существенно отличается от евклидовой геометрии или простейших неевклидовых пространств, рассмотренных Эйнштейном.

Сейчас полагают, что из всех перечисленных выше координат, три имеют выделенное значение — они (так же как и временная координата) простираются в бесконечность. Остальные (6, 7 или 502) можно рассматривать, как чрезвычайно маленькие многомерные сферы. Эту малость можно иллюстрировать следующим примером: радиус этих сфер относится к размеру точки на бумаге (1 мм) примерно так, как размеры точки к радиусу Вселенной. Наглядно такое сложное пространство можно представить следующим образом. Основное пространство — трехмерно и евклидово, однако к каждой его точке «прикреплен» микроскопический многомерный шарик.

Таким образом, та дисгармония — отклонение от трехмерной евклидовой геометрии, которой опасался и не мог понять Иван Карамазов, воплотилась в современную физику. Однако он был совершенно прав, что человеческий ум непосредственно не может воспринять многомерные пространства. Крошечные дополнительные пространства проявляются в сложных современных физических опытах, которые естественно не могли предвидеть ни Достоевский, ни Булгаков. Однако поражает воображение, что эти гениальные писатели правильно поставили вопросы в центральной и, казалось бы, чуждой им науке — физике. Это еще одно бесспорное свидетельство их высочайшей культуры, пророческого дара и блестящей интуиции. Очевидно, все же теория диалектического материализма не выдерживает здесь критики, ибо обнаруживается существование некоего духовного, нематериального мира, с гениальной интуицией предугаданного великими русскими писателями: Ф. М. Достоевским, 170-летие которого мы будем отмечать в ноябре 1991 года, и М. А. Булгаковым, 100-летие которого также в 1991 году.

НОВОЕ О ПУШКИНЕ

О том, как связан Беломорский Север с именем Пушкина, о его влиянии на культуру края рассказывает Игорь Стрежнев в своей книге «К студеным северным волнам».

Ломоносов и Пушкин — они не были современниками, но их судьбы сближает драматизм борьбы за свободу и независимость своего творчества, их характеры — неиссякаемая энергия созидания.

Не мог не знать Пушкин и о знакомстве его прадеда Абрама Ганнибала с М. В. Ломоносовым, которые, вероятно, были не только соседями, но и людьми одного круга.

Работая над «Историей Петра I», Пушкин убедился, как велико было значение Поморья в деле укрепления могущества северных границ России.

В начале 1820 года разгневанный Александр I грозил Пушкину за вольнолюбивые стихи ссылкой на Соловки или в Сибирь. И только активное заступничество Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева и других заставило царя уступить.

В Архангельске в разное время довелось служить людям, родственно связанным с А. С. Пушкиным.

Любопытно, что когда в канун празднования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина газета «Сельский вестник» обратилась к читателям с просьбой сообщить, насколько им известно это имя, — было получено около тысячи писем со всех уголков России, из которых видно, что к концу XIX века простой русский народ был достаточно хорошо осведомлен о Пушкине. Много уникального материала собрано И. Стрежневым в его книге. Несомненно, это ценный вклад в пушкиноведение.

И. Филиппова

СТРЕЖНЕВ И. К СТУДЕНЫМ СЕВЕРНЫМ ВОЛНАМ. — Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1989.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Библиотека русского фольклора пополнилась прекрасной книгой. Это сборник «Частушки», составленный Ф. М. Селивановым.

Частушки возникли во второй половине XIX века. По всей России на праздниках, на гуляньях звучали они, задорные, огневые или задушевные, грустные. Это не просто коротенькие песенки, это — народная поэзия. Частушки отражали все события народной жизни. Солдатчина, любовь, надежды и разочарования, размолвки и примирения, жалобы, зависть, грусть, разлука, счастье — все звучало в коротких, но таких звонких строчках. Конец XIX — начало XX века — время выпуска первых сборников частушек. Ученые-фольклористы, а также местные энтузиасты собирали и записывали частушки. Именно этим людям, хорошо понимавшим глубинную красоту русского языка, подвластную частушкам, обязаны мы тем, что сегодня держим в руках эту книгу. Среди тех, кто отправлялся в фольклорные экспедиции, а затем создавал эти сборники — Д. К. Зеленин, П. А. Флоренский, В. И. Симаков.

Откроем новую книгу. В нее включены частушки, отражающие «маленькие судьбы в большой истории России», частушки, которые пели девушки на посиделках «под жужжанье своего веретена», на гуляньях под гармонь. Особый раздел — лирический. Ревность, измена, мечты о любви, душевные переживания — все это есть в деревенских песнях-частушках, звучавших в разных уголках России и выражавших в своих строчках житейскую мудрость, широту русской натуры, глубокую грусть и неизбывную нежность женской души — «слезы и боль разбитого сердца», по словам ученого-фольклориста П. А. Флоренского.

На что, маменька, родила,
На какое горюшко?
Лучше бы ты меня спустила
Во синёё морюшко.

Но не вечна грусть, русская душа не поддается унынию. Веселые, озорные слова сменяют задушевную раздумчивость «страдательных» частушек. Последний раздел книги — это частушки-смешинки, небылицы, нескладухи. В этих частушках достается «всем сестрам по серьгам».

И в наше время продолжается жизнь частушки. Она звучит не только на фольклорных праздниках в исполнении профессиональных коллективов, но и на народных гуляньях.

Эта книга, как и другие фольклорные сборники, дает как бы вторую жизнь частушке, переводя ее из устного бытования в разряд литературы.

Прочтите ее — она сделает вас мудрее.

И. МАЛЬКОВА

ЧАСТУШКИ. / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. — М.: Сов. Россия, 1990.

ИСТОРИЯ

Воспоминания. Очерки. Письма.

Лета 6771 (1263 г. христианской эры) месяця ноября в 14, преставися князь Олександр. Дай Господи милостивый видети ему лице Твое в будущий век, иже потрудися много за Новъгород и за всю Руськую землю.

Новгородская летопись.

МИХАИЛ КАРАТЕЕВ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Александр Невский, — князь из линии Мономаховичей, — правнук Юрия Долгорукого и внук Всеволода Большое Гнездо, родился 30 мая 1220 года. Многие считают, что по матери он был половцем, так как отец его, великий князь Ярослав Всеволодович, первым браком был женат на дочери половецкого хана Юрия Кончаковича. Но из летописей видно, что эта первая жена князя Ярослава умерла за семь лет до рождения Александра. Вторично он женился на дочери Мстислава Удалого, но два года спустя с нею развелся, и все дети его были от третьего брака — с княжною Феодосией Игоревной Рязанской.

Александру Ярославичу довелось жить в самую мрачную эпоху русской истории: окончательно утратив не только свое государственное единство, но и чувство единодержавной общности, Русь дробилась на все более мелкие уделы и служила ареной беспрерывных княжеских усобиц; теснимые рыцарями-меченосцами, с запада в нее начали вторгаться литовцы; когда Александру было семнадцать лет, на Русскую землю обрушилось страшное татарское нашествие. И в довершение всего, этими несчастиями не преминули воспользоваться западные враги Руси, — немцы и шведы, — побуждаемые Ватиканом. Они явно стремились к захвату Новгородской земли и Псковщины, — единственных русских областей, не порабощенных татарами, — и, казалось, не было ни ратной, ни моральной силы, способной оказать им серьезное сопротивление и предотвратить опасность полного раздела Руси между завоевателями восточными и западными.

Безнадежность положения и общий упадок духа весьма образно характеризуют следующие слова современника-летописца:

«Не можно стало Божьему гневу противитися егда грозу и страх и трепет наведе на нас за грехи наши и изсякло умение воевод ратных и сердца крепких в слабость женьскую облачешеся».

Но милостью судьбы нашелся на Руси человек, не поддавшийся этой слабости и сумевший поднять русских людей на борьбу и на подвиг. «Как тяжкий млат, дробя стекло, кует булат», — именно эта исключительно трудная обстановка способствовала быстрому развитию блестящих дарований Александра и очень рано превратила его из отрока в зрелого и мудрого государственного мужа.

С восьмилетнего возраста он, вместе со своим старшим братом-погодком Феодором жил и воспитывался в Великом Новгороде, где его отец (тогда еще не великий князь) неоднократно княжил, то изгоняемый новогородцами за крутой нрав, то снова призываемый в минуты опасности. В шестнадцать лет, — по смерти брата, — Александр уже самостоятельно княжит в Новгороде, — в этом труднейшем для управления городе-республике, с его буйной вольницей и своенравной «господóй», которая стремилась свести князя на положение простого воеводы, а за собою оставить всю полноту государственной власти. Но юный князь тверд и неподатлив. Действуя умно и настойчиво, он обуздывает одних, приобретает симпатии других и шаг за шагом расширяет свои права.

Первые годы его княжения прошли сравнительно спокойно. Татарское нашествие Великого Новгорода непосредственно не коснулось, — Орда, разорившая почти все другие города Руси, до него не дошла, хотя новгородцы и вынуждены были признать над собою власть татарского хана. Но на западе сгущались тучи: Ливон-

Продолжаем публикацию исторических очерков М. Каратеева. Начало см. в №№ 8, 9/1990 г.

ские рыцари, уже овладевшие всей Прибалтикой, начали совершать нападения на русские земли; участились набеги литовцев; тревожные слухи приходили со шведских рубежей. И понимая, что главная опасность грозит сейчас именно отсюда, Александр готовится к ее отражению: он ставит «морскую стражу» на побережье Финского залива и приказывает строить крепости по реке Шелони, вдоль западной границы новгородских владений.

В 1239 году он помог Полоцкому князю Брячиславу отразить нападение литовцев и закрепил этот союз женитьбой на его дочери Александре. Впрочем, Брячеслав, запуганный немцами, которые уже захватили западные окраины Полоцкого княжества и прочно там утвердились, — никакой помощи в борьбе с ними своему зятю не оказал.

Разумеется, ни Ливонские рыцари, ни руководивший их действиями Ватикан не думали удовлетвориться завоеванием Прибалтики и рассматривали ее только как плацдарм для широкого наступления на русские земли.

Папство с первых же веков оформления русской государственности стремилось окатоличить и духовно подчинить себе Русь. В настоящем очерке нет возможности останавливаться на рассмотрении всех этих попыток, — отметим только, что особенной активностью папского престола ознаменовался, в этом направлении, одиннадцатый век, — период кровавых усобиц между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого. Но если тогда Ватикан действовал исключительно дипломатическими путями, то в эпоху Александра Невского он открыто перешел к политике силы.

В своевременности такого образа действий папскую курию укрепили две важные предпосылки: в 1204 году крестоносцам удалось захватить Константинополь и, предав его варварскому разгрому, основать на развалинах Византии так называемую Латинскую империю[1], чем устои православного мира были значительно ослаблены. Несколько позже Ливонский Орден, — созданный под предлогом обращения в христианство языческих племен Прибалтики, — успешно завершил первый этап своей деятельности и твердою ногою стал на западных рубежах Руси.

Какими способами рыцари проводили эту «христианизацию», достаточно хорошо известно из славянских летописей. Однако, для тех, кто склонен подозревать эти источники в пристрастности, приведем здесь свидетельства другой стороны, — выдержки из «Ливонской хроники», автором которой является католический монах Генрих Латвийский, очевидец и участник этих событий. Касаясь действий Ордена в Прибалтике, он пишет:

«Орденские братья распределили свое войско по всем дорогам, областям и деревням и стали сжигать и опустошать все на своем пути. Всех мужчин убивали, женщин и детей уводили с собой. Угоняли также весь скот и коней».

Далее в своей хронике, описывая события, относящиеся уже не к «обращению» язычников, а к вторжению рыцарей в земли Псковского княжества, он пишет:

«Стали они грабить деревни, убивать мужчин и полонять женщин и обратили в пустыню всю местность вокруг Пскова. А после туда приходили другие наши отряды и наносили такой же вред, и всякий раз возвращались с большой добычей». — И далее: — «Те, кто укрепились на русской земле, устраивали засады на полях, в лесах и в деревнях, хватали и убивали людей, не давая русским покоя, уводили коней, скот и женщин их».

В 1227 году на папский престол вступил особенно воинственный и агрессивный папа Григорий IX, который сразу же приступил к решительным действиям против Руси. Особой буллой он объявил, что принимает Ливонских рыцарей под свое высокое покровительство, «со всем имуществом их, настоящим и будущим». И немедленно принял меры к увеличению этого имущества за счет русских земель. Однако, силы ливонцев оказались для этого недостаточными: едва они приступили к действиям, их разбил под Юрьевом отец Александра Невского, князь Ярослав Всеволодович. Два года спустя еще более жестокое поражение нанесли им литовцы, и Ливонский Орден был обескровлен. Тогда, в 1237 году, папа Григорий объединил его с могущественным Тевтонским Орденом, который действовал в Пруссии.

Влив, таким образом, в немецкую Прибалтику свежие силы и пользуясь тем, что все внутренние области Руси были опустошены татарским нашествием, папа, в начале 1240 года, открыто приступил к созданию мощной антирусской коалиции из близлежащих католических государств: Ливонию, Данию, Швецию и Ганзейский союз он призывает к торговой блокаде Руси, объединенным рыцарским Орденом предписывает вторгнуться в русские земли, в Швецию поднимает в крестовый поход на Новгород, — под тем предлогом, что финны, ранее обращенные в католичество, отрекаются от него под влиянием «врагов креста» русских.

Не подлежит сомнению, что Ватикан планировал одновременный удар на Новгород, с двух сторон. Но шведы, уверенные в своих силах и не склонные делить славу и добычу с кем-либо другим, подготовились к походу раньше немцев и не стали их ожидать.

Летом их многочисленное и прекрасно снаряженное войско, под водительством ярла Биргера[1], на многих кораблях вошло в Неву и остановилось у впадения в нее реки Ижоры. Отсюда Биргер, — уверенный в том, что неподготовленный к нападению Новгород не сможет оказать ему серьезного сопротивления, — послал сказать князю Александру: «Если можешь, защищайся. Но я уже здесь и полоняю твои земли».

О высадке шведов Александр знал уже от своей «морской стражи». Во́йска у него было мало, — гораздо меньше, чем у Биргера, — но он не стал терять времени на его пополнение, понимая, что в данном случае важнее всего быстрота действий и внезапность удара.

От Новгорода до устья Ижоры сто пятьдесят верст. Не прошло и недели со дня получения известий о вторжении шведов, как Александр со своим войском был уже там. В лагере Биргера его так скоро не ожидали и потому в нем царила полная беспечность. Часть шведского войска расположилась в шатрах на берегу, между Невой и Ижорой; другая часть оставалась на кораблях, которые стояли на Неве, со сходнями, переброшенными на берег.

Лесами подойдя сюда на рассвете 15 июля, Александр лично все это высмотрел и определил план боя. Разделив свое войско на две части, он, во главе конницы, обрушился прямо на центр спавшего шведского лагеря. Другой отряд, под начальством новгородца Гаврилы Олексича, ударил вдоль Невы, опрокидывая сходни кораблей и отрезая их от сражавшихся на берегу.

Застигнутые врасплох шведы не смогли оказать стойкого сопротивления. Вскоре они оказались зажатыми в угол между двумя реками и думали только о том, как бы добраться до своих кораблей. Но это было нелегко сделать: почти все сходни были опрокинуты, на трех кораблях люди Гаврилы Олексича успели прорубить днища, и они тонули. Остальные, обрубив причальные канаты, спешили отойти от берега.

Сам Гаврила Олексич, преследуя убегавшего шведского королевича, на коне ворвался по сходням на корабль. Сброшенный оттуда в воду, он выплыл и после этого еще убил на берегу шведского воеводу и епископа. Тем временем князь Александр пробился к самому шатру Биргера и, лично схватившись с ярлом, ранил его копьем в лицо. Княжеский дружинник Савва опрокинул шатер шведского полководца, с укрепленным над ним знаменем, и это довершило смятение шведов. В числе «мужей храбрых», особенно отличившихся в этот день, летопись называет еще четыре имени: Сбыслав Якунович, Яков Полочанин, Миша Новгородец и воин Ратмир.

Наконец, уцелевшим шведам удалось взобраться на ко-

---

[1] Эта империя просуществовала около шестидесяти лет.

[1] Ярл, или граф, Биргер был зятем шведского короля Эрика Картавого.

рабли, и они поспешили отплыть от негостеприимных русских берегов. Но часть их кораблей все же стала добычей новгородцев. Весь бой был проведен в стремительно-бурном темпе, с расчетом не дать неприятелю времени, чтобы опомниться и осознать свое численное превосходство. Потери в войске Александра были незначительны: всего несколько десятков убитых. Шведов полегло множество. Летопись говорит, что их трупами новгородцы нагрузили три шведских корабля и пустили их по течению, вслед уходящему Биргеру. Остальных убитых шведов «без числа пометали в яму».

Эта блестящая победа двадцатилетнего Александра принесла ему общепризнанную славу и почетное прозвание Невского. Значение ее для Руси было очень велико, и не только в политическом смысле, но и в духовном: Биргер ступил на Русскую землю не как простой завоеватель, а как папский крестоносец, воинствующий враг православия. Весьма важно было и то, что эта победа Александра сохранила за Русью ее единственный тогда выход к морю. Именно отсюда начинается почти пятисотлетняя борьба шведов за финское побережье, с целью лишить Россию этого выхода. Эта борьба, как известно, при Петре Первом закончилась для Швеции потерей ее положения мировой державы. А сам Петр считал себя только завершителем дела, начатого Александром, прах которого он повелел торжественно перенести из Владимира в Петербург, в основанную им Александро-Невскую лавру.

* * *

Возвратившегося с победой Александра народ встретил в Новгороде восторженно. Но госпóда, внешне славившая князя вместе с другими, в душе этих восторгов не разделяла: ее беспокоила растущая популярность молодого полководца, ибо она понимала, что такой князь не захочет оставаться послушным исполнителем чужой воли.

Народоправство в Великом Новгороде было только вывеской, а на деле всем заправляла боярская и купеческая верхушка, так называемая «госпóда», которая оберегала свою власть очень ревниво. Князь ей был нужен только как защитник от внешних врагов. Он был не наследственным, а выборным, в Новгород всегда приходил со своей дружиной, и выбирали его обычно с таким расчетом, чтобы в случае необходимости он имел возможность почерпнуть недостающую Новгороду воинскую силу из своего «природного» княжества. Но в то же время госпóда принимала все меры к тому, чтобы эта сила не могла обеспечить князю захват прочных позиций в самом Новгороде и получение действительной власти.

Так, по новгородским законам, князю, его боярам и дружинникам запрещалось приобретать в землях Великого Новгорода какое-либо недвижимое имущество, даже на арендных началах; запрещалось принимать недвижимость или крестьян в залог; князь не имел права жаловать никого из отличившихся новгородцев землей или привилегиями, — как не мог, даже за явную измену, урезать кого-либо в правах или конфисковать имущество изменника. Он не мог своею властью сместить ни одно должностное лицо и не имел права единоличного суда или решения по какому-либо важному вопросу, — во всем этом обязательно должны были участвовать посадник, епископ и представители госпóды. Иными словами, в Новгороде князь имел гораздо меньше прав и свободы действий, чем любой воевода в иных княжествах.

Конечно, с этой своей зависимостью и связанностью князья, как могли, боролись и подобные договоры обычно нарушали. Если эти нарушения бывали серьезными, новгородское вече, — соответствующим образом подготовленное госпóдой, — такому князю «указывало путь из Новгорода».

Александр Невский, — также как и его отец, — энергично боролся за расширение княжеской власти в Новгороде. И после победы над шведами, почувствовав под собой твердую почву, начал действовать в этом направлении с большой решительностью. Он мало считался с запретами госпóды, не упускал случая подорвать силу и значение наиболее своенравных представителей новгородского боярства, укреплял положение преданных ему людей и во многих случаях вершил суд своим именем. Из одной сохранившейся грамоты видно, что в земельной тяжбе какой-то крестьянской общины с монастырем он стал на сторону крестьян и решил дело в их пользу, несмотря на протесты епископа и посадника.

Как следствие всего этого, очень скоро госпóда, позабыв на время свои собственные раздоры, объединилась против Александра. На созванном вече, — где бояре, как обычно, заранее обеспечили себе победу путем угроз и подкупов, — князю бросили ряд несправедливых обвинений и самую победу его над шведами представили как авантюру, которая принесла Новгороду больше вреда, чем пользы. Возмущенный Александр, не дождавшись даже конца вечевого схода, покинул Новгород и уехал в город Переяславль-Залесский, принадлежавший его отцу.

Но не прошло и года, как новгородцам пришлось звать его обратно: рыцари-немцы вторглись в русские земли, захватили город Изборск, а вслед за ним и Псков. Стоит отметить, что овладеть этой неприступной крепостью, которая за свою историю выдержала уже двадцать шесть осад и ни разу не была взята неприятелем, — немцам удалось только благодаря измене псковского посадника Твердилы Ивановича и нескольких бояр, отворивших осаждающим ворота. Но так или иначе рыцари к концу 1240 года прочно утвердились на Псковщине, а затем двинулись в новгородские земли. В короткий срок они захватили Копорье, где сейчас же начали строить сильную крепость, овладели всей Вотской пятиной, опустошили берега Луги и, взяв Сабельский посад, оказались в сорока верстах от Новгорода. И тогда народ заставил госпóду снова звать Александра, ибо, по общему мнению, только он способен был дать решительный отпор врагу.

Однако Александр возвратиться в Новгород не пожелал, и вместо него князь Ярослав Всеволодович послал туда своего второго сына Андрея. Но вече его не приняло. К Александру теперь отправился сам новгородский епископ Спиридон с выборными людьми, — они молили князя позабыть прежние обиды и спасти Новгород. На этот раз, выговорив себе некоторые особые права, Александр изъявил согласие и, явившись в Новгород, был встречен всенародным ликованием.

Немедленно собрав войско из новгородцев, ладожан и карелов, он внезапным ударом отобрал у рыцарей крепость Копорье, затем нанес им еще несколько поражений и к концу 1241 года полностью очистил от них новгородские земли.

Получив из Переяславского княжества подкрепление, которое привел его брат Андрей, в начале следующего года Александр двинулся в подвластную Ордену землю эстов, но по пути неожиданно для всех свернул к Пскову и, захватив немцев врасплох, овладел этим городом. Несколько десятков взятых в плен рыцарей он отправил в Новгород, шестерых псковских бояр-изменников приказал повесить и, пополнив свое войско псковичами, продолжал поход в ливонские земли.

Завоевательных целей он себе, конечно, не ставил, — для того, чтобы овладеть Ливонией и там закрепиться, сил у него было явно недостаточно. Но он хотел показать рыцарям, что нельзя безнаказанно посягать на русские земли, и, рассчитывая на победу в открытом бою, — этим походом вынуждал немцев принять решительное сражение.

За Чудским озером, уже в пределах вражеской земли, передовой отряд Александра, шедший под начальством псковских воевод Домаша и Кербета, натолкнулся на главные силы неприятеля и был разбит. Воевода Домаш пал в этой битве, а ободренные победой рыцари двинулись по пятам бежавших псковичей. Тогда, поняв, что немцы сами ищут генерального сражения, новгородский князь решил дать его в наивыгоднейших для себя условиях. Он отошел назад, к замерзшему Чудскому озеру и, расположив свое войско на льду, стал ожидать подхода меченосцев. Как будет видно из дальнейшего, в выборе позиции и в плане битвы он проявил подлинную

гениальность, ибо учел до мелочей и использовал все, что могло способствовать его победе.

Подлинное место Ледового побоища долгое время оставалось спорным и только несколько лет тому назад его удалось определить вполне точно.

Из летописей было известно лишь то, что сражение произошло на льду Чудского озера «у Вороньего Камня, на Узмени» и что разбитых немцев гнали оттуда семь верст «до Соболического берега», причем часть их провалилась под лед.

Таким образом, для определения места битвы имелось три географических ориентира: Вороний Камень, Узмень и Соболический берег. Но оказалось, что Вороньих Камней около Чудского озера более десятка, названия Соболического или Собольего берега не сохранилось даже в народной памяти, а что касается Узмени, то удалось установить, что ныне существующая на западном берегу озера деревня Мехикорма когда-то называлась Узменкой. Но это не внесло в дело ясности, ибо Узменью называли также пролив между Чудским и Псковским озерами, и даже южный угол Чудского озера, ныне называемый Теплым озером. В силу этого возникал ряд неясностей: что подразумевал летописец под названием Узмень, — деревню, пролив или Теплое озеро? С Вороньими камнями был еще бóльший выбор; кроме того, — т. к. все эти камни находятся на берегу, — сам собой напрашивался вопрос: как битва могла произойти у одного из этих камней и в то же время в семи верстах от берега?

В целях обстоятельного изучения всех деталей, в 1956 году советская Академия Наук отправила на Чудское озеро специальную экспедицию, во главе с русским ученым Г. Н. Караевым, который два года спустя опубликовал результаты своего исследования в 14-м томе «Трудов древнерусской литературы». Эта публикация сводится к следующему.

В основу своих изысканий Караев положил тот достоверно известный факт, что в столь пересеченной и лесистой местности, как та, которую он увидел вокруг Чудского озера, — войско зимою могло передвигаться только по льду замерзших рек. Следовательно, для определения того участка озера, на котором произошла битва, нужно было, прежде всего, найти две впадающие в него достаточно широкие реки, по которым могли подойти сюда с запада немцы, а с востока русские. Они нашлись без труда: в южную часть озера, прежде носившую название Узмени, со стороны Ливонии впадает река Эймаыга[1], а со стороны Новгорода — река Желча. Тут Караев и начал свои поиски.

Ему удалось установить следующее: в этой части озера, между устьями названных рек, имеется группа островов, один из которых носит название Вороньего, но окрестные жители называют его не островом, а Вороньим Камнем. При дальнейших исследованиях выяснилось, что прежде этот остров составлял одно целое со смежным островом Городец[2] и на западной его оконечности существовал высокий песчаниковый утес, известный под названием Вороньего Камня. Нашелся и «Соболический берег»: оказалось, что в озере водится рыба собаль или соболек, которая весной в большом количестве собирается у западного берега, как раз там, где в озеро впадает Эймаыга, — тут и в наши дни ежегодно производится лов этой рыбы. От Вороньего Камня до этого берега ровно семь верст, как и сказано в летописи.

Выяснил Караев и еще одно весьма интересное обстоятельство: с запада к островам примыкает довольно обширная зона воды, называемая Сиговицей[3]. Вследствие некоторых особенностей течения и иных природных условий, лед на ней бывает очень тонок, — жители приозерья это хорошо знают и зимой всегда объезжают это место стороной. Несомненно, знал это и Александр Невский, войску которого удалось загнать сюда и утопить часть бегущих немцев.

Таким образом, место, найденное Караевым, вполне совпадало со всеми данными летописи. В последующие годы Академия Наук снарядила туда еще ряд экспедиций, которые тщательно и всесторонне исследовали дно озера и все окрестности, производились также археологические раскопки. Сделанные находки полностью подтвердили правоту Караева. На дне, возле Вороньего острова, были найдены остатки каменного укрепления и фундамент церкви святого Михаила, согласно летописям построенной псковичами на месте одержанной победы. Тут во времена Александра Невского, несомненно существовал наблюдательный и хорошо укрепленный опорный пункт, служивший передовой заставой Новгорода на пути в Ливонию.

В свете всех этих данных удалось совершенно точно определить место битвы и позицию, выбранную Александром: она находилась не у самого Вороньего Камня (этому препятствовала Сиговица), а вблизи него, примыкая к восточному берегу Узмени.

Позиция эта была великолепна. За спиной русского войска находился иссеченный промоинами и заросший густым лесом берег, исключающий возможность захода в тыл или охвата; правый фланг был надежно защищен Сиговицей, а левый — высоким береговым мысом и отличной видимостью до противоположного берега. Свои обозы Александр, несомненно, поставил в устье реки Желчи, которая в случае неудачи, служила очень удобным путем отхода.

Не меньше искусства проявил Александр и в боевом построении своих войск. По русскому обычаю того времени, в центр боевого порядка ставились главные силы, при сравнительно слабых флангах. Но Александр знал, что немцы всегда наступают «свиньей», т. е. строят свое войско клином, которым стараются разрезать неприятельское расположение на две части и, прорвавшись в тыл, добивать его в условиях полуокружения. Эту тактику рыцарей он решил использовать и потому, вопреки русской традиции, основные силы, — и главным образом конницу, — сосредоточил на флангах, оставив довольно слабый центр, состоявший исключительно из пехоты[1].

Немцы, под водительством вице-гроссмейстера Андреаса фон Вельвена, подошли на рассвете пятого апреля. Своей железной «свиньей» они без особого труда прорвали русский центр (что, очевидно, входило в расчеты Александра) и уже готовы были торжествовать победу, но очень скоро поняли свою ошибку: неодолимый для конницы берег, в который они уперлись, не дал им возможности быстро продвинуться в тыл неприятеля и не позволил выйти из-под удара, который сейчас же обрушили на них оба крыла русского войска, охватывая «свинью» с двух сторон.

В разыгравшейся жестокой сече все преимущества оказались на стороне русских. Пошло на пользу даже то, что их снаряжение значительно уступало немецкому, — это обеспечивало им легкость и подвижность, что было весьма важно при сражении на льду. Тяжелые лошади меченосцев на нем скользили и падали, а облаченные в железные доспехи рыцари, вывалившись из седла, не могли подняться на ноги без посторонней помощи.

Битва длилась недолго и закончилась полным разгромом немцев, которые обратились в беспорядочное бегство, по пятам преследуемые воинами Александра. Многие при этом утонули под проломившимся от их тяжести льдом Сиговицы.

В этом сражении, не считая множества простых воинов, пало четыреста[2] знатных рыцарей и пятьдесят было взято в плен. При торжественном въезде Александра в Новгород, все они шли пешком за его конем.

По мирному договору, заключенному несколько месяцев спустя, Орден навсегда отказывался от каких-либо

[1] Прежде эта река называлась Эмбах.

[2] Точно так же соседние острова Станок и Лежница прежде составляли один остров, который назывался Озолицей.

[3] Такое название эта зона получила потому, что сюда, в более теплую воду, зимой в изобилии собираются водящиеся в озере сиги.

[1] Это мы точно знаем из ливонских хроник.

[2] По некоторым летописям, рыцарей было убито пятьсот.

притязаний на русские земли и возвращал все захваченные раньше; обе стороны освобождали всех пленных.

Блестящая победа на льду Чудского озера обессмертила имя князя Александра Невского и имела громадное историческое значение, ибо она навсегда положила предел германскому продвижению на восток, которое, начавшись от берегов Везера, планомерно развивалось в течение трех столетий, почти исключительно за счет славянских земель. Кроме того, эта победа Александра вдохновила на борьбу с рыцарями все другие порабощенные ими народы. Крупные восстания сейчас же вспыхнули в Пруссии, в Померании, на Жмуди и в земле эстов. При самой деятельной помощи Ватикана и западноевропейских стран, Ордену понадобилось десять лет, чтобы с ними справиться, но могущество его с этого момента уже пошло на убыль.

С запада Руси угрожал еще один враг — литовцы. Но дать ему отпор было несравненно легче, ибо в то время Литва еще не представляла собой единого государственного образования и той сплоченной силы, которая в следующем столетии подчинила себе всю Южную и Западную Русь. Однако, в эпоху Александра Невского разрозненные и полудикие литовские племена уже начали объединяться под властью князя Миндовга и, теснимые рыцарями, продвигаться на восток. Не раз их значительные отряды вторгались в земли Полоцкого и Торопецкого княжеств, которым Александр, в случае надобности, всегда оказывал военную помощь. Но если эти вторжения до тех пор носили характер чисто грабительских набегов, то в 1245 году на Русь впервые двинулось сильное литовское войско, определенно ставившее себе целью захват русских территорий.

Взяв город Торопец, литовцы оставили там половину своего войска, грабя окрестные земли и полоняя жителей, а другая половина пошла на Торжок и Бежецкий Верх. Выступивший из Новгорода Александр подошел к Торопцу, разбил наголову главные силы литовцев и отобрал у них город, полон и добычу. Затем, отпустив новгородское войско, с одной дружиной своей погнался за отступающими, и в сражении у озера Жижца добил их. Оттуда он двинулся навстречу литовскому отряду, отходившему от Торжка и почти полностью его уничтожил.

Так каждый из трех врагов, с запада посягавших на Русь, получил от Александра грозный урок, послуживший предостережением для других. И когда Ватикан, после провала первой своей попытки, вздумал поднять против Руси Норвегию и Данию, — они благоразумно отказались. Поняв, что силою тут ничего не сделаешь, новый папа, Иннокентий IV, попробовал применить другую тактику: он прислал к Александру Невскому двух кардиналов[1], которые, всячески превознося доблести Новгородского князя, предложили ему принять от папы королевскую корону и, разумеется, католичество. Александр это предложение решительно отверг.

На западных рубежах Руси установилось относительное спокойствие, хотя и рыцари, и литовцы, и шведы кое-когда еще предпринимали мелкие посягательства на русские окраины, всякий раз легко отражаемые Александром.

* * *

Совершенно иной тактики придерживался Александр Невский в отношении Золотой Орды. Он хорошо понимал, что свержение татарского ига является пока непосильным делом и что Руси, — расчлененной на враждующие между собой уделы и обескровленной нашествием Батыя, — понадобятся еще долгие десятилетия для того, чтобы выковать свое единство и накопить силы, достаточные для борьбы с могущественной Ордой. И потому он с татарами старался ладить, тем обеспечивая Русской земле относительное спокойствие и возможность успешно отражать других врагов.

[1] Псковская летопись, дающая больше всего подробностей обо всем, что касается Александра Невского, приводит имена этих кардиналов в явно искаженном виде: Агалдад и Гемонт. В другом древнерусском документе первый из них назван Галдой.

В 1246 году отец Александра, великий князь Ярослав Всеволодович, был вызван в столицу Монголии Каракорум, к императору Гуюк-хану и там отравлен его матерью Туракиной, которая фактически правила империей за своего слабовольного сына. Летописец отмечает, что Туракина хотела таким образом обезглавить Русь, чтобы прочнее утвердить над ней власть Орды. Историк Соловьев считает это объяснение совершенно наивным, справедливо замечая, что для достижения такой цели ханше надо было бы перетравить всех русских князей. Сам он высказывает предположение, что тут имели место происки других русских князей, которые окольным путем оклеветали Ярослава Всеволодовича перед Туракиной. Действительно, в летописях есть упоминание о том, что некий Федор Ярунович показывал в Каракоруме против великого князя. Но Яруновичи были новгородцами, стало быть, тут скорее можно заподозрить в интриге новгородскую госпóду, сильно не любившую Ярослава. Возможно, что летописец ошибся, написав «Ярунович», и что речь идет о Федоре Якуновиче, сыне новгородского тысяцкого Якуна Зуболомича, который был злейшим врагом князя Ярослава Всеволодовича и много от него претерпел.

Однако, более вероятно другое: Ярослав Всеволодович был устранен как ставленник Батыя, которого в императорской ставке ненавидели и боялись, хорошо сознавая, что подвластная ему Золотая Орда стала гораздо сильнее породившей ее Монгольской империи. Такое предположение подтверждается и дальнейшими событиями: когда после смерти великого князя в Каракорум явились оба его сына — Александр и Андрей, император Гуюк (Туракина к тому времени уже умерла) отдал великокняжеский стол младшему брату Андрею, а Александру Невскому, — зная, что Батый к нему особенно благоволит, — дал совершенно разрушенный и потерявший всякое значение Киев. Александр туда не поехал, а возвратился к себе в Новгород.

Но Андрей Ярославич, — человек легкомысленный и недалекий, — не умел и не хотел ладить с татарами. К тому же, как и все в его роду, он был отважным воином и потому, едва вступив на великое княжение, начал готовить против них восстание. Разумеется, оно было обречено на провал и грозило Русской земле новым опустошением. Александр это хорошо понимал и сделал все возможное, чтобы отговорить брата от его безрассудной затеи. Но Андрей упорствовал и не оставалось ничего иного, как лишить его верховной власти. Батый в это время был смертельно болен, Ордою правил его православный сын Сартак, — друг и побратим Александра, — а потому, съездив в Сарай, последний без труда получил от него ярлык на великое княжение над Русью. Ехать для утверждения в Монголию теперь не было надобности: после смерти Гуюк-хана, в 1248 году, Батый посадил на императорский престол своего ставленника, хана Мунке[1], который во всем был ему послушен и в дела Руси вмешиваться не пытался. Вообще с этого времени Золотая Орда совершенно обособилась от Монгольской империи.

Покориться ханской воле Андрей Ярославич не пожелал и стал уже совершенно открыто готовиться к схватке с Ордой, а потому против него было выслано татарское войско под начальством царевича Науруза[2]. Андрей выступил ему навстречу, в битве потерпел поражение и бежал в Швецию. Однако вскоре Александр Невский выхлопотал ему у хана прощение и дал в удел Суздальское княжество. В Новгород он поставил князем своего старшего сына Василия.

Но внутреннего успокоения на Руси не наступило. Второй брат Невского — Ярослав, княживший в Твери, всячески старался подчинить своему влиянию Великий Новгород, где ему удалось создать сильную партию сторонников. В 1255 году он добился того, что новгородское вече «указало путь» Василию Александровичу и пригла-

[1] После смерти Гуюка императорский престол предложили самому Батыю, но он от него отказался.

[2] По русским летописям Неврюй.

сило на его место Тверского князя. Исчерпав все возможности уладить дело миром, Александр с войском подступил к Новгороду. Однако до кровопролития не дошло: в городе было немало сторонников Невского, которые взяли верх и заставили смутьянов сложить оружие. По требованию Александра, посадник Анания, поддерживавший Ярослава, был смещен, а Василий Александрович восстановлен на княжении.

Два года спустя в Новгороде опять произошла большая смута, на этот раз уже по другой причине. В 1256 году умер великий хан Батый, несколько месяцев спустя были отравлены его сын и внук, и на золото-ордынский престол вступил младший брат Батыя, Берке-хан, — первый из чингизидов принявший мусульманство и обративший в ислам Орду. Он немедленно распорядился во всех подвластных ему странах произвести поголовную перепись населения, для точного определения размеров дани. Перепись эта началась и в русских землях, чему Александр не препятствовал, стремясь сохранить добрые отношения с новым ханом. Но новгородцы, — которые татар у себя еще не видели и их тяжелой руки не испытали, — подчиниться этому требованию отказались. Князь Василий их в этом поддержал и пошел, таким образом, против воли великого князя, своего отца.

Александр с дружиной явился в Новгород, Василия с княжения сместил, заменив его другим своим сыном — Дмитрием, а с новгородскими бунтарями и советниками Василия на этот раз расправился очень сурово. Летопись говорит даже об «урезанных» кое-кому носах и ушах.

Во избежание новых беспорядков, Александр сам приехал в Новгород с татарскими чиновниками, производившими перепись и сбор дани. Беспорядки все-таки произошли, и этих татар новгородцы едва не перебили. Кое-как, под охраной дружинников Александра, они выполнили свою задачу и, получив дань, поспешили покинуть буйный Новгород.

Конец жизни Александра Невского ознаменовался новой бедой: в Суздальском и Ростовском княжествах вспыхнули восстания против татарских баскаков и сборщиков дани, которые лихоимствовали и обижали народ. Стоит отметить, что на этом поприще лютую ненависть стяжал русский монах-отступник Зосима, отличавшийся особой жестокостью. Приняв ислам, с именем Изосима, он вскоре сделался правой рукой ярославского баскака Титема и был убит в этом восстании. Впрочем известен случай и обратного порядка: устюжский баскак-татарин, напуганный происходящим, поспешил принять православие, и это спасло ему жизнь.

Взбешенный этими событиями, Берке-хан стал готовить большой поход на Русь. Тогда Александр, чтобы спасти Русскую землю от нового татарского нашествия, сам отправился в Орду и уговорил хана сменить гнев на милость.

Историк Соловьев считает, что в этом он преуспел только потому, что Берке вел в это время трудную войну с Персией и не располагал достаточно сильным войском для похода на Русь. Но с таким мнением невозможно согласиться хотя бы потому, что именно в этот свой приезд Александр добился в Сарае и другой исключительной милости: по его просьбе хан освободил Русь от обязанности поставлять Орде воинскую силу, как поставляли ее все другие покоренные татарами страны. Если бы в это время Берке испытывал те затруднения, о которых говорит Соловьев, он бы, конечно, на это не согласился. Надо полагать, что причина сговорчивости хана крылась в ином: до тонкости зная психологию татар, Александр умел с ними обращаться и, сверх того, обладал редким даром обаяния, под власть которого подпал Берке, точно так же как прежде подпали под нее Батый и Сартак. Сама внешность располагала к нему даже врагов. По словам летописцев, он был исключительно хорош собою, высок ростом, строен и широкоплеч.

Возвращаясь из Орды, Александр Ярославич, находившийся в расцвете жизни[1], сильно простудился и умер в Городце Волжском, четырнадцатого ноября 1363 года, по обычаю русских князей приняв перед смертью пострижение и схиму. Глава Церкви, митрополит Кирилл, в таких словах возвестил о его кончине: «разумейте все, яко заиде солнце Русской земли». Похоронили Александра в стольном городе Владимире, и православная Церковь причислила его к лику святых.

Некоторые историки считают, что по приказу Берке-хана Александр был отравлен в Орде медленно действующим ядом. Никаких оснований для подобного мнения мы не находим ни в русских летописях, ни в иных документах эпохи. Нет для него и логических оснований: Берке, — хотя и пользовался ядом для устранения своих соперников, — ничего не выгадывал на смерти покорного ему Александра и на том, что великое княжение над Русью перешло к его младшему брату Ярославу, которого хан совсем не знал.

* * *

Имя Александра Невского одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, — одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев наша история дала немало, но почти никого из них не вспоминают потомки с таким теплым чувством, как Александра. Он много потрудился для Русской земли и мечом и головой, — вклад его в строительство Российского государства бесценен.

Как полководец, он по праву может почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения, с малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военный гений с личной отвагой. Но есть нечто, что делает ему особую честь: в ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн, меч его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано участием ни в одной усобице. Может быть именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую добрую славу.

Как государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно ориентироваться в чрезвычайно трудной и сложной обстановке, созданной татарским нашествием, и первым стать на тот единственно верный путь, идя по которому его преемники и потомки — князья Московские, пришли к единодержавию и к победе над Ордой. А для того, чтобы пойти против течения и сознательно избрать именно этот путь, — тогда казавшийся таким неблагодарным, — нужно было обладать исключительными качествами ума и духа.

Характеризуя эпоху Александра Невского, историк Ключевский говорит:

«Удельный порядок был причиною упадка земского сознания и нравственно-гражданского чувства в русских князьях, он гасил мысль об единстве и цельности Русской земли, об общем народном благе. Из пошехонского или ухтомского миросозерцания разве легко было подняться до мысли о Русской земле Святого Владимира или Ярослава Мудрого?»

Да, это было очень нелегко, это было безмерно трудно. Но Александр Невский сумел возвыситься над этой пошехонской психологией князей-вотчинников и заботу о Руси и о русском народе поставить выше заботы о своих семейных и поместных делах. И это, в такой же мере, как его исторические победы, стяжало ему неувядаемую благодарность потомков и бессмертную славу.

●

[1] Ему было сорок три года.

БИТВА НА КАЛКЕ

Стан Черниговского князя на берегу во всяком случае не стоял, иначе бегущие половцы его бы не смяли: броситься в реку и начать переправу они могли справа или слева от него и было бы безумием врываться для этого в чужой, стоящий на берегу лагерь, тем самым осложняя себе переправу и уменьшая шанс на собственное спасение. Следовательно, черниговский стан был выдвинут немного вперед и находился ближе к расположению Мстислава Удалого, — между ним и рекой, — чуть слева. Последнее можно утверждать вот почему: из летописей нам известно, что в сражении принимал участие князь Олег Курский со своей дружиной, который «крепко бишася с татары, яко же и половецкий князь Ярун»[1]. Курский князь не имел никакого отношения к войску Мстислава Удалого, которое состояло из галичан, волынцев и половцев, — он был вассалом Черниговского князя, значит, выйдя из его стана, примкнул к сражению, когда оно уже началось.

Место его в боевой линии определить нетрудно: он мог пристроиться только на одном из флангов, — разумеется, на том, который находился ближе к черниговскому стану. В своем боевом построении Мстислав Удалой с галичанами стоял, конечно, в центре, — это было узаконенное традицией место старшего начальника, возглавляющего основную ударную силу войска, каковой в данном случае являлись галичане. Правое его крыло составляли волынцы, следовательно на левом были половцы. К их флангу и пристроился Олег Курский со своей дружиной, — это вполне подтверждается тем, что летопись, касаясь сражения, упоминает его вместе с половецким князем Яруном, а также и тем, что половцы, обратившись в бегство, смяли по пути стан Черниговского князя, — откуда вышел Олег Курский. Вывод из всего этого совершенно ясен: черниговский стан находился слева от Мстислава Удалого, а киевский справа.

Вначале сражение развивалось для русских удачно. Даниил Романович, первым вступивший в битву, вдохновляя личным примером других, по свидетельству летописцев, рубился с беспримерной храбростью, не обращая внимания на полученные раны. Ему вскоре удалось на своем фланге сбить татар, и они начали отходить. Сильно теснил их и слева Олег Курский, — казалось, еще немного, и орда окажется в мешке. Но татары главный удар направили на половцев, которые, не выдержав натиска, внезапно обратились в беспорядочное бегство. Преследуемые по пятам рубящими их ордынцами, они в поисках спасения бросились в стан князя Мстислава Черниговского, смяв и расстроив его полки, уже готовые к выступлению.

Это решило дело в пользу татар. Не давая никому времени опомниться, они стремительно атаковали с разных сторон разорванное на части и ошеломленное случившимся русское войско, которое, не выдержав этого бурного натиска, пустилось в бегство.

Положение мог еще спасти князь Мстислав Романович Киевский, имевший полную возможность в этот момент ударить во фланг татарам. Но, возмущенный тем, что Мстислав Удалой начал битву без него, он теперь не захотел его выручать и, приказав спешно укрепить свой лагерь, безучастно и наверное не без злорадства наблюдал, как бежали с поля сражения другие русские полки.

Часть татарской орды, под водительством Джебе и Субедея, бросилась в преследованье бегущих и гнала их до берегов Днепра. Другая часть, во главе с темниками Чегир-ханом и Таши-ханом, осадила стан Киевского князя. Он храбро отбивался три дня, но погубило его новое предательство бродников: их атаман Плоскиня, посланный татарами на переговоры, поклялся на кресте, что если русские положат оружие — никто из них не будет убит, а князей и воевод отпустят домой за выкуп. Поверив этому, Мстислав Романович сдался. Но татары, как известно, своего обещания не сдержали: все русские князья и военачальники были положены под доски и задавлены победителями, усевшимися сверху пировать. Простых воинов увели в рабство.

На берегах Калки русское воинство потеряло семьдесят тысяч человек. Сверх того, очень многие погибли при преследованьи, в том числе шестеро князей: Мстислав Черниговский, его сын Василий, Изяслав Луцкий, Юрий Несвижский, Святослав Шумский и Изяслав Каневский. Из русских воинов, вышедших в этот поход, согласно летописям, только «десятый каждый прииде во свояси».

Между прочим, с этой злосчастной битвой народный эпос связывает гибель русских богатырей. Интересно отметить, что среди убитых летописи называют имена Александра Поповича и Добрыни Рязанца, — эти лица существовали в действительности и очевидно были знаменитыми воинами, раз они удостоились подобного упоминания наряду с князьями.

Мстислав Удалой и Даниил Романович — тяжело раненный в грудь и оставшийся в народной памяти подлинным и безупречным героем этого похода — благополучно достигли берегов Днепра и, переправившись с остатками войска на правый берег, уничтожили за собой ладьи и плоты. Но татары их дальше не преследовали. Разграбив левобережные русские земли, они ушли за Волгу, где потерпели поражение от болгар и возвратились в Среднюю Азию.

Такую же, в общих чертах, картину дают нам и восточные летописи. Арабский историк 13-го века Ибн ал-Асир пишет:

«Русские и кипчаки, успевшие приготовиться к вторжению, вышли на путь татар. Узнав это, татары обратились вспять. Тогда русские и кипчаки, полагая, что они повернули из страха и по бессилию, усердно стали преследовать их. Татары не переставали отступать, а те гнались за ними двенадцать дней, но потом татары оборотились на русских и кипчаков. Для последних это было полной неожиданностью, ибо они были уверены в своем превосходстве и считали себя в безопасности. Не успели они приготовиться к бою, как на них напали татары со значительно превосходящими силами. Обе стороны бились с неслыханным упорством, и бой между ними длился несколько дней. Наконец татары одолели и одержали победу. Русские и кипчаки обратились в сильнейшее бегство, их было убито множество и спастись удалось лишь немногим».

* * *

В заключение остается сказать, что в 1223 году татары еще не были готовы к завоеванию Руси и, вероятно, даже не имели на этот счет никаких определенных решений. Поход Джебе и Субедея был лишь глубокой разведкой. Русские князья, сами навязавшие им сражение и проигравшие его, несмотря на очевидное превосходство сил, тем самым обнаружили перед татарами свою слабую сторону (разрозненность) и породили в них уверенность в том, что предпринять завоевательный поход на Русь можно будет без особого риска.

И они с успехом осуществили это четырнадцать лет спустя.

●

[1] Никоновская летопись.

Окончание. Начало очерка М. Каратеева в № 9/1990.

МИХАИЛ ВОСТРЫШЕВ

ЗАГОВОР ПРОТИВ ОТЦА

В первых двух номерах журнала за этот год были опубликованы начальные главы повести Михаила Вострышева «Заговор против отца».
Московский дворянин Иван Анненков едет на военную службу в Петербург, где благодаря покровительству великосветской дамы и счастливому случаю, становится флигель-адъютантом Павла I. И вот на Анненкова возложено ответственное поручение — явиться к опальному Суворову и вручить ему грозный монарший указ.
Неоднозначно было отношение императора к великому полководцу. Он воздал ему все возможные почести: титул князя Италийского, сан генералиссимуса, поставил ему при жизни памятник, приказал отдавать воинские почести, как императору. Но Суворов не принял многих «прусских» нововведений в армии, и его не однажды настигал монарший гнев. Даже проводить своего полководца в последний путь Павел I не пожелал, лишь выехал навстречу похоронной процессии и издали поклонился гробу, тяжело вздохнув: «Жаль...»

1

Весну 1797 года Иван Анненков провел в Гатчине, мучаясь скукой возле пустых покоев императора. Павлу был противен Петербург, где каждый камень напоминал о матери и ее любимчиках, поэтому он решил тотчас после коронации переселиться в свое любимое поместье и отсюда управлять государством. Конечно, это до поры до времени, пока в Петербурге не выстроят по его задумке неприступный рыцарский замок — Михайловский дворец, должный затмить Зимний. В начале марта Павел, еще по зимнику, отправился короноваться в Москву, после чего решил попутешествовать по России, чтобы лучше понять страну, которой он призван управлять. Анненкову, конечно же, нестерпимо хотелось тоже в Москву, хотелось увидеть родных, побахвалиться перед земляками близостью с самодержцем всея Руси, принять участие в венчании на царство своего благодетеля. Но он не посмел попросить Павла взять его с собой, ему казалось, что это будет против правил службы. Что ж, теперь он пожинает плоды своей робости — без толку шатается из конца в конец по залам опостылевшего Гатчинского дворца.

А коронация прошла, папенька пишет, на славу. Остановился государь в Петровском дворце и в Вербную субботу торжественно въехал в Москву, будто Христос в Иерусалим. Под ноги ему бросали охапками вербу, напоминая, что когда-то Христа встречали в Иерусалиме с пальмовыми ветвями. Но Павел был в дурном духе — часа за два до его появления на Тверской заставе заметили лошадей в страусовых перьях и кавалеров верхом, в бархате и золоте. Решили — царь! Подняли солдат в ружье, ударили в барабан, пальнули из пушки, устлали дорогу вербами, народ опустился на колени. А когда процессия приблизилась, все поняли ошибку — мимо проплыл цирк, прибывший смешить москвичей на празднествах по случаю коронации.

И конечно, тут же нашлись доброхоты, поспешили донести Павлу о конфузии. Разгневался царь, что его с комедиантами спутали, тут же велел виновных офицеров разыскать и, не медля, отправить всех в Сибирь. Надулся даже на московского митрополита Платона, вышедшего его встречать в ветхой крашенинной ризе. Не выслушав приветствия и не приложившись к кресту, император прошел мимо митрополита быстрыми шагами в собор. Пришлось успокоить царя, объяснив, что ему оказаны высшие почести, и встречал его Платон в самом дорогом для москвичей одеянии — ризе святого угодника Сергия Радонежского.

За неделю Павел успокоился, ему пришлось по вкусу провинциальное добродушие московских бар, и в Светлое воскресение, день коронации, покойная улыбка не сходила с его лица. Праздник восхождения на престол прошел торжественно и многолюдно. Павел в порфире и короне, со скипетром и державою в руках, шел под балдахином из Успенского собора весело и бодро, и в тот же вечер раздал на радостях дворянам около ста тысяч мужиков, числившихся прежде казенными. Для простолюдинов же по всей Москве наставили обеденных столов — ешь-пей — не хочу!

Иван не мог себе простить, что прозябает здесь, когда другие получают награды. Будь он на коронации, ему хоть сотня мужиков, но досталась бы. Вот папенька удивился бы — сынок без его помощи забогател. А в Гатчине ни наград, ни развлечений. Сначала пробовал в Петербург, к Вареньке, наведываться. Но как-то не по-людски с нею, все время куда-то мчимся, и все время вокруг множество полупьяных людей. А домой к ней придем, за стеной муж сидит, и он совсем равнодушен, что пасется в стаде оленей. И потом... Папенька пишет: расскажи, как тебе удалось самому государю быть представленным, к нему не всякого и генерала допустят, а тут мальчишка, дурень московский, недели не пробыл в Петербурге и уже во дворце очутился.

Что ответить папеньке? Правду-то не скажешь, как было дело, — стыдно. Опять же папенька может рассердиться, что не по чести я поступил, и прикажет подать в отставку. А я сначала должен делом доказать, что хоть и получил чин благодаря бабе, но и сам что-то значу. А к Вареньке больше не поеду — хватит лжи, довольно жить возле бабы, которая тобою помыкает. Ведь так я никогда человеком не стану. Призови меня Бог нынче к себе, что я ему скажу? И сказать-то путного нечего.

Вот Карл — молодец, за что ни возьмется, все у него получается. Его дядя даже не поругал, что с крепостной девкой обвенчался. Меня папенька со свету сжил бы, учини я такое, а им, немцам, все с рук сходит. Открыл себе в Гостином дворе лавку, торгует, словно мужик, и не горюет. «Я, — говорит, — нашел свое счастье в семейной жизни. У нас будет много-много детей и немного денег». Да разве это счастье?.. Над моей службой еще подсмеивается: «Ты привратник, что ли, — возле дверей вечно стоишь?» При дверях, зато при каких! Императора лицезрею, из его уст приказы слушаю, а случись что — жизнь за него, не раздумывая, отдам. Я еще себя покажу, еще узнают, кто такой Иван Анненков!

Сказывают, будто государь сегодня должен прибыть. И по всему видать, так и есть — все полы выскребли, на кухне суета, дорожки в саду песочком посыпали. В Петербург, сказывают, и не заглянул, хотя полгода не был. Не жалует столицу. И чего он нашел в Гатчине? — тюрьма тюрьмой. Или недругов опасается, как когда-то Иван IV, поселившийся в ста верстах от Москвы — в Александровской слободе? Нам, конечно, высоких дум императора не понять. А ведь не пройдет мимо меня, заметит, остановится, о жизни разузнает. Государь не чета спесивым князьям да графам — нашим братом не гнушается. Молодец — хоть поприжал их. Теперь не поворуешь! Подумать только, и при должностях все были, и поместья миллионные, и почет повсеместный — а все одно воровали! Недаром говорят, богатые раньше нас встали да всё расхватали, нынче уж и правда изверилась, на них глядючи. Но дай срок! Вон их сколько государь по тюрьмам и деревням разослал. А те, что остались, каждое утро встают со страхом, что их бросят в казенные санки и повезут в Сибирь — мякинный хлеб жевать. Так они все одно ловчат, денег за пазухи понапихали и даже спят с ними. Это на случай ареста, чтобы и в тюрьме хорошо жилось. А ты лучше не воруй, служи честно, исправно — и бояться будет нечего...

Вдруг Гатчинский дворец ожил. Забегали лакеи с факелами, зажигая свечи и подбрасывая дров в камины. «Государь, государь, государь», — слышался шепот отовсюду. Иван одернул мундир, расправил плечи и с радостной тревогой стал высматривать коронованного императора в сопровождении двора.

Но Павел появился внезапно, один, легко взбежал по лестнице и, широко улыбнувшись, потрепал Анненкова по щеке:

— Добрый, добрый богатырь. Соскучился без меня? Или нашел себе другого императора? В Англии любят, когда король путешествует, свергать его с трона... Но у нас не Англия! —

Продолжение. Начало в №№ 1, 2 / 1990.

последние слова император произнес рассерженно, и позвал за собою Анненкова: — Ты мне нужен.

Они спустились потайной лестницей в садик возле Часовой башни, куда, как и в годы, когда Павел был великим князем, доступ всем, даже Марии Федоровне, был воспрещен. Император зорко осмотрелся, прислушался, поманил Ивана поближе к себе и зашептал на ухо:

— Все против меня, даже жена и дети. Им хочется власти. Я всюду окружен шпионами. — Павел внимательно поглядел в глаза Ивану. Он почти вплотную подошел к Анненкову, и оттого голову пришлось задирать высоко вверх. Ивану было не по себе, что он такой дылда, но не приседать же нарочно, это может только разозлить государя. — Ты-то не шпион?

Анненков покраснел от столь чудовищного подозрения.

— Ваше величество, да как же... Я же присягу... Да лучше умереть...

— А о н и, думаешь, не присягали?.. Ладно, верю! — Павел, с детства не привыкший лгать, в один миг проникся к Анненкову детским безоговорочным доверием. — Ведь твой батюшка москвич?

— Можайские мы.

— Это одно и тоже. Я видел — в Москве меня любят... Не то, что в Петербурге.

— Вас везде любят, государь! — запротестовал Иван.

— И в армии любят? — Павел притворно-кисло улыбнулся, с напускным равнодушием ожидая ответа.

— Боготворят, ваше величество. Кого ж еще любить, коли не вас?

— А я слышал — ругают. Строгости нынешние не нравятся.

Иван простодушно расхохотался:

— Да кто ж выдумал такую чушь, мели Емеля — твоя неделя. Наоборот, все только и говорят: наконец-то порядок у нас настал, еще построже надо, потому что лиходеев и казнокрадов не всех повывели, многие теперь личину меняют, а дух тот же. С ними без строгости нельзя.

Павел заметно оживился, воспрял духом, и больше даже не от слов Ивана, а от его хохота. Император теперь так редко слышал столь непосредственную реакцию на свои вопросы, так редко удавалось узнать правду, и он уже начинал бояться: а что, если ему все врут? Ведь там, где лесть, торжественная патриотическая речь, даже уравновешенная деловая беседа, там есть место и обману. И только молодые ребята с открытым взором пока еще не способны на него. Пока еще... И надо вытягивать из них правду обо всем. Пока они не обросли необходимостью, деловитостью, своевременностью, молчаливостью, благоразумием и другими *достоинствами* людей среднего поколения.

— А скажи мне честно, покойна ли теперешняя одежда для солдата во время похода?

— Ваше величество, — Павел был прав, Иван не смог соврать, — солдаты новые штиблеты в обозе возят, а унтер-офицеры гамбардами костры разжигают. Ваше величество, для парада мундир вроде бы и хорош, но долго в нем не проходишь — попривыкли мы к просторной одежке.

— Что же, удобность познается опытом, — удрученно согласился император. Но тут же раздражительно вскинулся: — Но не требуй, чтобы я снова ввел потемкинские шаровары — этому не бывать!

Иван ошарашенно молчал — как это он, Ванька Анненков, может что-то требовать от монарха. А Павла потянуло дальше расспрашивать своего флигель-адъютанта.

— Как, думаешь, Суворов ко мне относится?

— Не знаю, ваше величество. Но наверное, любит. Вас нельзя не любить честному человеку. А Суворов честный.

Павел повел Ивана по аллеям сада, рассуждая:

— Когда он узнал о смерти моей матушки, он целый день проплакал. Если это любовь к государыне — хорошо. А если это грусть, что я пришел к власти?

— Мой папенька не раз говорил — он знавал многих близких к Суворову людей, — что, когда еще вы были великим князем, ваше величество, Суворов в вас души не чаял и нередко горевал, что вас к большим делам не подпускают.

— Он, конечно, не из тех... Он ко мне и на поклон ездил, когда другие насмехались. Только дурачился много, — Павел брезгливо поморщился, — а я этого не люблю.

— Но он со всеми такой!

— Со всеми? — вспылил, остановившись, Павел. — Но я-то не все!

Иван понял, что сморозил чушь, но слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Он вытянулся по стойке «смирно» и слушал, а Павел, распаляясь гневом, ходил вокруг него и кричал, с силой ударяя тростью себе по сапогам:

— Я знаю, что он смеется над моими государственными трудами. Я запретил гонять курьерами офицеров, а он шлет в Петербург с одними партикулярными письмами штабс-капитана, не желая понимать, что это не только накладно для казны, но и неприлично званию офицера. Или он не мог посыльного солдата разыскать? В отпуск отправил подполковника Батурина, не испросив на то моего соизволения. А обязан был. Никто не вправе нарушать военный устав! А Суворов нарушает! И нарушает нарочно, лишь бы надо мной посмеяться...

— Ваше величество, он не нарочно, по старой привычке, наверное...

Павел в бешенстве затопал ногами.

— Посмеяться, посмеяться — доподлинно знаю. Меня тираном зовет, а новый мундир — прусачьей вшивенью.

— Это наветы, государь, — Иван не мог поверить, что великий Суворов заодно с врагами Отечества.

— Наветы? Зачем же он мне тогда издевательские письма посылает, что «так как войны нет и ему делать нечего», то просит уволить его со службы. Екатерине, небось, таких цидулек не посылал? А мне все можно? Так он уже получил свою отставку, и вдогонку еще кое-что получит, чтобы знал, кто здесь царь, а кто псарь.

— Ваше величество, осмелюсь доложить: все в войсках огорчены вашим решением.

Павел с минуту, потупя голову, простоял молча, словно окаменев. Иван решил, что это не к добру, и мысленно простился со службой. Куда его теперь: обратно в Москву? в тюрьму? в Сибирь?

Наконец государь поднял голову и — о радость! — он улыбался.

— Ты честен, и я люблю тебя за это. Мне нужны честные, хотя они видят немного со своей колокольни и чаще пользуются слухами, которые распускают мои враги. Ты ошибаешься, все в войсках говорят про Суворова, что я еще слишком милостиво обошелся с этим потемкинским выскочкой. Спроси хоть Аракчеева, хоть Ростопчина — они никогда не врут. Ведь Суворов подговаривал войска к бунту, и даже сейчас, в ссылке, неспокоен. За ним там присматривают и передают, что он не раскаялся ни в чем, уверяет даже, что в деревне ему хорошо. Я посылаю тебя передать ему мой новый указ. — Павел загадочно хихикнул и, как бы отмечая большую удачу, потер ладони друг об друга. — Посмотрим, посмотрим, что он скажет на этот раз. Он еще на коленях приползет в Петербург вымаливать у меня прощение. Передашь ему приказ и примечай, что он скажет, как поведет себя. После мне обскажешь. Завтра и поезжай с богом. Утром зайдешь за пакетом.

Иван тотчас был отпущен с дежурства и принялся за сборы. Надо было проверить надежность курьерских дрожек, выбрать лошадей, получить денег и подорожную.

Весь вечер из головы не выходил опальный полководец. Папенька часто хвастался, что Александр Васильевич — московский дворянин, что они в детстве по одним улицам бегали. На каменный дом Суворова возле Никитских ворот москвичи указывали с гордостью — наш земляк, а вознесся как! Граф Рымникский, фельдмаршал, герой Туртукая, Гирсова, Козлуджи, Кинбурна, Очакова, Фокшан, Рымника, Измаила, Праги, непобедимый и никем не превзойденный полководец, любимец армии и народа, кавалер всех русских орденов.

Приезжавшие в Россию иностранцы, когда Суворов заглядывал в Петербург, спешили взглянуть на него, как на восьмое чудо света. И что же? Им указывали на маленького старикашку с худым сморщенным лицом, словно шут, скакавшего на одной ноге через величественные дворцовые покои и отпускавшего скабрезные шуточки вслед сиятельным екатерининским вельможам. При дворе *Матери Отечества* он напоминал дикаря среди разряженных кукол времен Людовика XIV, и был подстать своей деревенской телеге с солдатом-возницею, частенько дожидавшейся его у парадного входа Зимнего дворца посреди золоченых карет с лакеями на запятках и форейторами на лошадях. Но глаза *шута* были умны и свирепы, глаза завоевателя, выросшего в военном лагере, знавшего и любившего солдат, не жалевшего ни себя, ни их ради Славы, Победы, Отечества.

И вдруг Суворов — изменник, заговорщик, бунтовщик? Нет, Анненков не хотел этому верить. Но и не верить императору не мог.

Уже поздно вечером, когда Иван собирался на боковую, знакомый камер-лакей, дождавшись, чтобы никого не было поблизости, шепнул Аннекову, что наследник просит явиться к нему.

— Но он уже, может быть, в постели? — удивился Иван.

— Ничего, великий князь просил не смущаться и зайти в любой час, даже если настанет ночь.

Иван, не мешкая, пошел. Перед спальней Александра Павловича горела свеча и дремала статс-дама. Она тотчас доложила об Анненкове.

В спальне горела лишь одна лампада — под образами. Иван поцеловал руку наследника, протянутую из-под одеяла, потом, обежав кровать, руку Елизаветы Алексеевны — жены великого князя.

— Друг мой, отчего ты бледен? — участливо спросил Александр Павлович, приподнявшись на локте.

Иван недоуменно переспросил:

— Что, ваше величество?

Он знал, что краснеет, когда стыдно или когда от него требуют лжи. Но бледнеть? Не было подобного никогда. Да если

бы и случилось — как великий князь смог разглядеть в полумраке цвет его лица? Хитрит Александр Павлович.

— Ты очень бледен, — повторил Александр Павлович. — Наверно, тебя гложет какая-то тайна? Откройся мне, и сразу же настанет облегчение.

— Да откуда у нашего брата тайны, ваше высочество, мы народ грубый. Просто по делам забегался сегодня. Пока найдешь, кого ищешь, пока растолкуешь, что тебе надо, семь потов сойдет, как скатерка белым станешь.

— Мне тоже отец не дает ни минуты покоя, только и знает что твердит: ты не знаешь службы, ты ленив, ты дурак и скотина... Но будем терпеливы, не правда ли?

Иван кивнул. Чего от него добивается наследник? Говорил бы сразу, нет, водит все вокруг да около.

— Спасибо друзьям, — продолжал Александр Павлович,— они хоть предупреждают меня, когда отец гневлив, а я в этот день стараюсь не попадаться ему на глаза. Но император не в духе все чаще и чаще. Он требует, чтобы я работал, как мужик, — с утра до позднего вечера. Когда же отдыхать? Ах, как я устал от Петербурга!

Последнюю фразу наследник произносил постоянно после того, как Павел назначил его первым генерал-губернатором столицы.

— Ваша деятельность, ваше высочество, нужна для спокойствия Петербурга, — польстил Анненков. — Государь хочет, чтобы вы были его правой рукой.

— Конечно, конечно, он желает мне только добра. Но вокруг него вьются люди, которые клевещут на меня. Я очень одинок, меня некому защитить. Ты хотел бы быть среди моих друзей?

— Да, ваше высочество.

Иван склонил в знак покорности голову. Наследник оживился, сел на кровати.

— Тогда скажи, мой друг, зачем и куда тебя столь срочно посылает отец? — Александр Павлович показал голой рукой на образа. — Бог тебе порукою, что я оставлю наш разговор в тайне.

Иван, удивленный клятве по столь пустяшному поводу, не колеблясь, ответил правду, ведь ничего секретного в его поездке не было, маршрут и его цель были известны доброй дюжине интендантов и дворцовых чиновников.

— Указ повезу Суворову. Строгости ему новые выходят, но какие, не знаю. — Тут у Анненкова мелькнула догадка, что великий князь хочет заступиться перед отцом за опального фельдмаршала, и добавил: — Кто-то государю нашептал, что фельдмаршал замышляет против него. Завидуют суворовской славе, оттого и клевещут, наверное.

— Ах, вот оно что, — облегченно вздохнул наследник, улегся и натянул на себя одеяло. — Я-то думал... Ну, иди, иди. И если узнаешь что-нибудь... Ну, ты сам разберешься, что может касаться меня... Тогда заходи в любое время.

Иван откланялся и вышел, уверенный, что, по своему желанию, никогда не переступит порог спальни великого князя.

2

Суворов был сослан в свое имение, село Кончанское — в сорока верстах от Боровичей, в глухой медвежий угол Новгородской губернии. Мужиков здесь набиралось с тысячу душ, оброка же они платили не более пяти рублей в год — каменистая песчаная земля родила негусто.

Суворов и в ссылке не сник, не поддался лени, он вставал за два часа до рассвета, обливался студеной водой, пил чай и шел по деревне будить нерадивых мужиков, наставляя их:

— Вставать пора, коли поле проспит, покос проспит — имение пропадет.

Обойдя село, Александр Васильевич непременно поспешал к заутрене в церковь, где каждый день рьяно молился и пел на клиросе.

В семь утра фельдмаршал обедал и, поспав часок, садился за русские и иностранные газеты, по которым с завистью следил за успехами Наполеона, сердясь: «Помилуй бог, широко мальчик шагает. Пора, пора унять его».

Далее день проходил в обычных заботах уездного помещика. На вечерне Суворов вновь пел на клиросе, потом ужинал и, облившись, как и утром, студеной водой, ложился спать.

Фельдмаршал, конечно же, скучал в ссылке, но крепился, не показывал виду. Он взялся за разведение яблоневых и вишневых садов, внимательно следил за ходом европейских войн — авось, пригодится! — вычерчивая схемы походов и боев, размышляя, как бы сам поступил в том или ином случае.

Крестьяне гордились своим господином:

— Не простой человек, знает планиду. А смысл ее только ангелам даден.

За границей распустили молву, что Суворов погиб.

В Петербурге злорадствовали, что наконец-то проучили гордеца.

В армии горевали, опальная судьба непобедимого полководца почиталась за мученичество.

А сам Суворов, которому уже исполнилось шестьдесят шесть лет, подумывал: не уйти ли в монастырь?

И к этому великому человеку с грозным указом за пазухой через бескрайние леса, мимо замерших посреди зелени болот и озер мчался на курьерских дрожках флигель-адъютант Иван Анненков.

Последний ямщик взмолился в пути:

— Ваше благородие, да что же вы своим кулачищем по спине долбите: «Быстрей да быстрей». В нутрях все отшибли.

— А ты для чего еле плетешься? Ты погоняй, коли тебе государево дело доверили.

— Дак запарились лошадки — сколько верст без отдыха, они ж тоже живые. Мы и доехали, считай. Вон крест на колокольне сверкает — это и есть Кончанское.

— Так погоняй же, чего стал! — Иван опять ткнул кулаком в спину возницу.

Ямщик с горестным вздохом замахал кнутом. Но больше для виду, торопиться он не желал, жалеючи своих лошадок.

Наконец въехали в село и подкатили к ветхому господскому дому в два этажа с заколоченными окнами. Ямщик окликнул старика в армейских шароварах, по всему, отставного солдата, возившегося в приусадебном саду:

— Служивый, где ваш господин?

— Неужто на войну возвращают? — Старик без подобострастия взирал на дрожки и офицера в них.

— Не твоего ума дело, — заважничал ямщик. — Ты докладывай, когда тебя спрашивают.

— Знамо, не моего, а все ж знать надобно.

Старик подошел к дрожкам и внимательно оглядел мундир Ивана. Он ему, судя по всему, понравился.

— Красота-то какая, ваше благородие. Только чудно́ чуточку. Когда Берлин взяли, на пленных такое же надето было. Или нет, у вас понаряднее будет. Теперь, что ж, всех по-вашему мундируют? Когда мы служили...

— Ты не вопросы задавай, — перебил его уже не на шутку рассердившийся ямщик, — а отвечай про барина.

Старик молчал. Пришлось вступить в разговор Анненкову:

— Ты хоть видел своего барина сегодня?

— Как же не видеть, я ж, как и он, православный, в одну церковь ходим. И сюда заглядывает Александр Васильевич, но сегодня не был. И слава богу, а то больно строг он в последнее время. Да и как без строгостей, иначе народ разбалуется.

— А что, сильно бьет вас барин? — развеселился ямщик. Он уразумел, что старика страхом и важностью не проймешь, надо разговорить и подспудно выпытать, где нынче обитает его господин.

— Если бы посек — полбеды, — дурашливо улыбнулся старик. — На землю пустил, а я не привыкший к ней, весь век музыкантом в полку, а потом при барском доме состоял.

— Молодец, барин! Так с вами и надо, с дармоедами, поступать! — Ямщик аж крякнул от удовольствия. — Вы ж всю жизнь на нашей хребтине жили. Теперь-то узнаешь, как хлебушек ро́стят. Это тебе не по барабану стучать.

Иван понял, что если их не остановить, мужики долго не угомонятся.

— Где же твой барин сейчас? — строго прикрикнул он на старика.

— Туточки он только в холода живет. А с первым теплом в Дубиху уходит.

Старик показал на гору, возвышавшуюся над селом.

В гору лошади не пошли — слишком круто. Иван приказал ямщику ждать возле заколоченного барского дома, а сам заспешил по тропке вверх. Забравшись на гору, по липовой аллее он миновал одноглавую деревянную церквушку и, наконец, подошел к избе, окруженной старыми дубами и елями. Возле крыльца, на вкопанные торчком дубовые бревна были водружены бюсты Петра I и Екатерины II. Неподалеку на костре нетрезвый лакей грел чай в медном котелке.

— Скажи барину, ему бумага от государя, — объявил Иван.

— Нет Александра Васильевича. — Лакей все так же безмятежно занимался костром.

— Где же он? — опешил Иван.

— Вниз пошел, в село.

Иван, досадуя на нерасторопных, неуслужливых, неуважающих государева курьера холопов, поспешил обратно.

Улица была пустынна, лишь в дальнем конце, на краю села, возились ребятишки. Анненков направился к ним. Среди мальчуганов, игравших в бабки, он приметил маленького старичка с исхудалым благородным лицом, в белой рубахе навыпуск. К нему и обратился Иван:

— Почтеннейший, где мне отыскать здешнего барина?

— Это Сашку, что ли? — подмигнул ему старичок и захихикал. — Ищи, ищи Сашку. Только не спутай, у нас козла тоже Сашкой кличут. Забодает! — И, повизгивая, он запрыгал на одной ноге вдогонку за ребятишками.

«Что за странная деревня? — изумился Иван. — Одни полоумные. И никакого почтения к своему господину. Конечно, Суворов виноват перед государем. Но это еще не дает права всякому старикашке оскорблять его». Иван, хоть и торопил-

ся, решил, что нельзя давать спуску за подобные высказывания о прославленном полководце. Он уже хотел догнать старикашку и потребовать извинения за поганые слова, но тут его потянул за ножны лохматый мальчуган и начал канючить:

— Дяденька, дай саблю подержать, дай, дяденька. Тогда скажу, где Суворов.

Иван вынул саблю и протянул ребенку.

— На, подержи, да не обрежься, смотри.

Мальчуган поднял саблю над головой и с криками «Ура!» запрыгал вокруг Анненкова.

— Где же Суворов? — улыбнулся Иван, уверенный, что его обманули. Но как было отказать, когда он сам всего несколько лет назад вот так же выпрашивал подержать сабли у проезжавших мимо их деревни офицеров.

— Дак вот же он, дяденька, — улыбнулся мальчуган, указывая на старичка.

Иван рассмеялся, но заметил, что старичок выпрямился, тряхнул седыми волосами и впился в него пронзительным взглядом. Анненков вмиг вспомнил все, что слышал о чудачествах опального фельдмаршала, уверился — это он! — и вытянулся в струнку.

— Ваше сиятельство, вам пакет от государя императора.

Суворов крадущейся походкой обошел вокруг офицера и, не взяв из протянутой руки пакета, вдруг принялся подпрыгивать и лаять по-собачьи, выкрикивая:

— Гав-гав! Воняет, воняет — пруссак, пруссак! Курите, курите — воняет.

— Вам пакет от государя, ваше сиятельство, — взмолился мокрый от пота Иван, проклиная в душе и Суворова, и свой прусского покроя мундир, и пакет в придачу.

Наконец фельдмаршал успокоился, приблизился к Анненкову, но руки держал за спиной, не беря пакета. Согнулся, оглядел ботфорты посыльного, мундир, поднявшись на цыпочки, прическу и не удержался — дотянулся до косы и дернул за нее. И тут же прыснул со смеху.

— А у девок-то толще и своя. — Наконец Суворов принял более-менее серьезный вид. — Давно, хлопец, в службе?

— Полгода, ваше сиятельство.

— А душ у тятеньки сколько?

— Двести, ваше сиятельство.

— И уже при дворе устроился? Похвальный героизм. — Суворов говорил нараспев, с заметной иронией. — А у меня, дружок, в твои лета было сто раз по двести. И ничего, девять лет служил, прежде чем офицером стать. Нынче все иначе, нынче чины в чужих постелях добывают.

Лицо Ивана вспыхнуло румянцем — господи, да он все знает! Стыд-то какой. И ничем, ничем не смыть позора.

— Тебя обо мне спрашивать станут, как вернешься, — продолжал Суворов, не обратив внимания на смущение офицера. — Так ты передай, что сад почистил, лопат железных купил, картоху заставляю ро́стить. Но мужички упираются, говорят, мы к хлебу привыкшие, а картоха силу свою не от солнца, а из преисподней берет.

— Наши тоже картофелем брезгуют, ваше сиятельство. Чертовым яблоком его прозвали, — простодушно заметил Иван.

Суворов вскинул брови — не смеется ли над ним мальчишка-курьер? Нет, дурак просто. Молод; наверное, горяч, искренен — такие на войне хороши, в бою. В опальном полководце проснулись отцовские чувства, смешались с раздражением, с безмерным честолюбием, и он заговорил, не то наставляя, не то оправдываясь:

— Долго я гонялся за славою, за хвост хотел уцепиться и вот дождался — в глушь спровадили. Знаю, это Репнин против меня государя наставляет. Ему каждая моя победа поперек горла застревала. Воевать не умеет, а фельдмаршала раньше моего заполучил. Награды не службой — языком добывал. Бог его простит, зла я ему не желаю, хоть и другом не буду. Но другие-то что? Отчего никто не заступился? Ведь знают, что честью я ни разу не поступился. Почестей хотел — да! Но ведь за дело, за успех, а не за подлости. Подозрения на меня быть не может: я — честный человек. Правда, она, дружок, — по-отцовски ласково поучал Ивана Суворов, — выше угодливости, выше лести. Но только с нею хлопотно — врагов плодишь.

— Если говорить все, что думаешь, ваше сиятельство, тогда и дня не прослужишь.

— Верно, — оживился Суворов. — И я льстил, бывало. Но ты всегда с сердцем сверяй — когда прилгнуть, а когда и укорот себе дать. Гордость, главное, вовремя в себе смиряй. И всегда с честью живи. Нынче ее мало стало. Я слышал, офицера, читающего мои письма, чином повысили? Вот и тебя повысят, когда расскажешь, как Суворов у себя в деревне бранится. Ведь расскажешь?

Ивану очень хотелось ответить: «Нет», но ведь сам Александр Васильевич только что говорил, что жить надо по правде.

— Исполнять монаршую волю есть первейший долг офицера, — как-то неуверенно ответил Анненков.

Суворов, не поднимая больше глаз на курьера, взял из его рук пакет и, пока распечатывал, бурчал себе под нос:

— А я бы не стал, я бы сказался больным и не стал.

В бумаге, подписанной государем императором, уточнялось, что фельдмаршал Суворов уволен в отставку *без права ношения мундира*.

— Три раза меня ранили в сражениях, — горестно произнес отставной фельдмаршал, — и семь при дворе. Нынче одиннадцатая пуля. — И сник.

— Что случилось, ваше сиятельство? — забеспокоился Иван, не знавший содержания бумаги.

— Сиятельство? Нет, ошибаешься, дружок, Сашкой, Сашкой кличь! — Суворов захохотал и крикнул столпившейся поодаль ребятне: — А ну, живо за лопатами и яму рыть подле барского дома!

Граф Рымникский — этого звания его не могли лишить — сам с прискоками помчался вслед за мальчишками. Иван в недоумении поплелся следом.

Час спустя Анненков стал свидетелем еще одного сумасбродства опального полководца. Суворов в мундире фельдмаршала и во всех регалиях под звуки военной трубы, на которой играл знакомый уже Ивану старик-музыкант, вышел из расколоченного барского дома вслед за пустым дубовым гробом, покоившимся на плечах четверых отставных солдат. Гроб поставили возле неглубокой ямы, вырытой ребятишками, и, при полном молчании собравшейся любопытной толпы, Суворов принялся снимать с себя по очереди российские и иностранные ордена, целовать их и складывать в гроб. Следом за орденами полетели шпага, сапоги, шляпа, фельдмаршальский мундир. Когда Суворов остался в одном нижнем белье, он приказал:

— Заколачивай.

Под траурный марш отставные солдаты прибили крышку и опустили гроб в яму. Суворов, похожий в своем наряде на мальчишку-подростка, долго глядел в глубину могилы, первой за его жизнь могилы, куда не опустят тело человека. Редкие седые волосы развевались по ветру, слезы текли по лицу.

— Строго ты, государь, наказал меня за полвека верной службы. Оставил ты мне, государь, только указ отца своего о том, что волен я не служить и проживать в своих деревнях. Бездушные крамольники! Боже упаси, никогда я против Отечества не замышлял, никогда не буду сообщником врагу моей родины и не воздвигну ненависти против государя.

Суворов тонким голоском затянул псалом «Живый в помощи», а ребятишки с серьезными лицами принялись засыпать могилу. Один из мужиков набросил сзади на плечи своего господина тулуп.

Псалом кончился.

— Николашка! — крикнул Суворов одному из отставных солдат. — Прикажи накормить лошадей господина поручика. И овсом, овсом — господин поручик их не жалел, как и государь своего фельдмаршала.

Николашка побежал.

— Ваше сиятельство, не прикажете ли на словах или на бумаге передать ваш ответ государю императору? — осмелился спросить Иван.

— На бумаге не могу, на нее вши с твоей косы перелезут, государь подумает, что завшивел в деревне его полководец. Передай: не нравятся мне нынешние времена, знамена, с которыми мы на Измаил ходили, государь бабьими юбками назвал и выкинуть повелел. А мои солдаты умирали под ними. Армиями нынче повелевают, кто еще вчера шаржирный огонь на попойках пускал и в лести преуспевал.

Пудра не порох,
Букли не пушки,
Коса не тесак,
Я не немец, а природный русак.

Государю скажи: Суворов, милостию божьей, получше покойного прусского короля будет — он баталий не проигрывал. И наград у него поболее — семь параличей, семьдесят подагр и сто горячек... Один остался мне путь — в иноки. — И вдруг звонко закричал в толпу зевак: — На колени, все на колени!

Мужики, вслед за своим господином, опустились на колени.

— Скачи назад, поручик, и скажи государю, что фельдмаршала Суворова больше нет, но жив еще Суворов — верноподданный его императорского величества. И он понимает, что строгость нужна, а то каждый полковник, насмотревшись на девок и песенников Потемкина, захочет себе того же. А денежек-то — одна дыра. Вот и запустили руки по локоть в полковую казну. Чинами торговать стали! Денег солдату по году не платили! Законы российские позабыли — Платошка Зубов своих конюхов в гвардию записывал, и никто слова супротив не вымолвил. И как мы лучшей армией остались? В ножки русскому солдату всем нам поклониться надо — он все стерпел. И нынче стерпит. Прав государь — многое в России менять надобно. Но не по пустякам, осмотреться сначала следует, что было хорошего — не забывать. И я молюсь за своего государя. — Суворов широким крестом осенил себя и тор-

жественно пропел: — Да святятся дни твои, великий государь.

Александр Васильевич послушал тишину, легко вскочил на ноги и, хитровато прищурившись, спросил Ивана:

— А что, вернешься — шута из меня делать будешь? Я ж теперь только для анекдотов гожусь?

— Ваше сиятельство, клянусь вам... — горячо начал Иван, но Суворов перебил:

— Верю. Верно служи государю, — и, поцеловав Ивана в лоб, пошел прочь, в сторону Дубихи. Уже издали обернулся и прокричал: — А я все степени брал без фавору!

3

Иван Павлович Кутайсов был не только царским камердинером и брадобреем, но и самым преданным и доверительным человеком Павла. Он понимал лучше всех характер своего господина, мог угадывать перемену его духа, был изощрен в дворцовых интригах. Чванливые придворные на первых порах сторонились его — все же пленный турок, лакей. Но самые проницательные, вслед за хитрым Безбородко, снисходили до Ивана Павловича, выказывали себя его друзьями и, потрафив рабской спеси цирюльника, прокручивали через него свои дела.

Зато те, кто однажды посмел оскорбить Ивана Павловича, становились его врагами. До поры до времени он не мстил, казалось, вовсе забывал обиды, но как только случался подходящий случай, Кутайсов вспоминал старое. Особенно он не любил императрицу и Суворова, не однажды подшучивавших над ним. Они, конечно, могут смеяться, им ни за что ни про что деревни и чины от батюшек переходят, а тут всего своим умом достигаешь.

Оскорбление, нанесенное ему, Иван Павлович считал оскорблением чести самого императора, и от этого месть принимала священный оттенок. Ведь если сегодня ее величество Мария Федоровна считает унижением для себя советоваться о делах государства с камердинером и другом государя, то, значит, завтра сам Павел может стать ей помехой?

Император, конечно же, не был посвящен в логику размышлений своего цирюльника, считая его самым искренним другом, и, когда Кутайсов брил и причесывал его, верил ему неоглядно.

Нынче Павлу вспомнились московские торжества по случаю коронации.

— В Москве было хорошо, там народ любит меня, а в Петербурге только боятся.

— Вас везде любят, ваше величество, — подхватил разговор Кутайсов, не оставляя своей основной работы, — только ваши хорошие дела здесь отменяют своими вздохами императрица и ее подруга Нелидова. Когда вы делаете милость, они говорят, что выпросили ее у вас. Когда же Сенат или Синод кого покарают, они распускают слух, что на то была ваша воля.

— Да, они в последнее время — я все замечаю! — хотят править вместо меня. Ненавижу умных женщин.

— А признайтесь — вам понравилась в Москве Лопухина?

— Она, кажется, не из умных.

— Она — простушка. Но с душою. И совсем потеряла голову из-за вас.

Кутайсов зорко следил за мимикой лица императора, чтобы, когда разговор станет ему не по нраву, тут же оборвать свою мысль.

— Не удивительно, она совсем ребенок, — самодовольно улыбнулся Павел.

— Не такой уж и ребенок. Ей скоро шестнадцать.

— Да? — встрепенулся Павел.

— Осторожно, ваше величество, я могу вас порезать. Я обещаю вам все разузнать. Думаю, скоро вы сможете перевести ее отца со всем семейством в Петербург.

— Да-да, разузнай все, мой друг, и я тогда подыщу ему хорошую должность.

— Положитесь на меня, ваше величество. Все будет сделано тихо и благородно. — Кутайсов добился своего и, решив, что сегодня у государя нужное настроение, приступил к следующей теме: — Сказывают, Суворов против вашего величества бунт замышляет?

— Нет, он успокоился в деревне и свою вину передо мной понимает. Думаю, немножко повремению и прощу его.

— Можно и простить, — согласился Кутайсов, заканчивая бритье. — Только знаете ли вы, какими именами он кличет своих коз и кошек?

— Говори, — посуровел Павел.

— Машками, ваше величество. Именем вашей супруги грязных животных называет, несмотря на ваш указ, запрещающий по всей России сие имя для низменных тварей. Не удивлюсь, если у него для этих особ мужского полу в ходу имя Павел.

— Жаль. А я хотел его простить. Мне нужны, очень нужны сейчас такие люди. Ко всему, Суворов уже жалеет, что нарушал мои приказы, и клянется служить мне верно до последнего вздоха. Я к нему нарочно офицера подсылал, он вернулся и все обсказал.

— Все ли?

— Ты же знаешь, я не держу при себе лжецов, — начал раздражаться допросом Павел.

Кутайсов сменил тактику.

— И что ваше величество нашли в этом Анненкове? Неученый деревенский увалень. И самое страшное: глубоко вас презирает и постоянно обманывает, — глубоко вздохнул Иван Павлович, повязывая государю галстук.

— Как, меня? — подскочил Павел.

— А намедни, разве, не его вы изволили к Суворову посылать?

— Его. И он доложил: Суворов огорчен отставкой, слезно молит о прощении.

Павел испытующе поглядел на цирюльника, с нетерпением ожидая фактов.

— Всякое говорят, может, и лгут людишки.

Кутайсов сделал вид, что ему неприятно продолжать разговор на эту тему и сосредоточенно принялся подправлять государю волосы.

— Все, все говори!

— Не буду, ваше величество. Не хочу быть доносчиком.

— Ах, значит, говорить мне правду — это донос? — Павел вскочил, схватил свою трость и огрел ею цирюльника по спине. — Значит, и ты с моими врагами заодно?

Кутайсов заохал, хоть удар не причинил большой боли, и повалился в ноги императору.

— Все скажу, как есть. Человек, что доглядывать за Суворовым поставлен, пишет: бунтовал фельдмаршал, получив указ, собрал народ с окрестных деревень и давай натравливать мужиков против вас: «Царь наш совсем обезумел, онемечить вас решил, Екатерину Великую злословит и армию в бабий балаган превращает. Антихрист пришел на землю, ждите, скоро я вас призову для борьбы с ним». Выкопал яму и побросал туда и мундир свой, и ваш указ, и сам пошел письма писать своим друзьям-смутьянам о мятеже...

— Так Ванька — лжец! — перебил его император. Он побагровел лицом и надул щеки. — Так значит, он всегда притворялся? А я ему верил... В тюрьму негодяя! И не выпускать, пока не признается в заговоре с Суворовым... Мой друг, хватит на сегодня прихорашиваться, из меня все равно красавчика не получится. Позови-ка лучше кого-нибудь из стражи, я прикажу убрать с глаз долой молодого лжеца.

— Вы слишком строги, ваше величество. Что, если простить на первый раз?

— Простить? Нет, видеть его больше не могу. В крепость! А тот, кто присматривает за Суворовым, дворянин?

— Дворянин, ваше величество.

— Так пусть подготовят указ, деревенькой его душ в пятьдесят награжу. За добро добром платят.

Окончание в № 2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция приносит свои извинения всем, кто воспользовался абонементом на «Окаянные дни», за явно завышенную даже для кооперативных изданий цену на книгу. Опубликовав абонементы в седьмом и восьмом номерах, мы ставили и продолжаем ставить перед собой только одну цель: дать возможность читателям по всей стране приобретать некоторые редкие книги, минуя дефицит «черного рынка». Однако, попытавшись выпустить первые книги силами кооператоров, мы столкнулись со своеволием их в определении так называемых договорных цен. И это при том, что сама редакция журнала изначально коммерческих целей не преследовала — мы за это ни единой копейки не получаем. Мы пошли на это не ради коммерции, а ради читателей. В дальнейшем редакция приложит все усилия для установления минимально возможных цен как на журнал, так и на все его приложения, включая «Библиотечку «Слова». И можно только сожалеть, что от подобной практики распространения книг уклоняются государственные издательства, невольно потакая искателям легкой наживы.

БОРИС СПОРОВ

ПИСЬМЕНА ТЮРЕМНЫХ СТЕН

НОВОБРАНЦЫ

Ежедневно этап. Хоть несколько обреченных, но этап. Круто месили с лета 1956 года — дали так называемую свободу слова. И все молодняк — до тридцати. Пожиже — постоянно, круто — после мероприятий и событий. Густо после пленумов, после съезда, после утверждения-поправки, что Сталин-де свой, истинный ленинец, после «Не хлебом единым», особенно после венгерских событий, после фестиваля, после законсервирования облигаций, после принятия нового уголовного кодекса, когда привычную пятьдесят восьмую заменили другой статьей — и так постоянно.

В одиннадцатом лагере в 1956 году поселились бытовики. Но уже в 1957 году их выселили. Весной секции были полупустые, а уже летом ставили палатки — перегрузили. То же самое в Озерлаге, в Иркутской области.

И поныне клеймят усатого, точно усатый породил систему, а не система усатого.

И вот что примечательно: редко шли поодиночке, чаще все по групповой — ст. 58, п. 11. А в группе Трофимова (ЛГУ), Краснопевцева (МГУ) — в каждой по десятку подельников, и так на полную катушку — по семь-десять лет. С высшим образованием, кандидаты наук. Я среди новобранцев, как белая ворона — рабочий-слесарь с девятью классами вечерней школы. В этом, правда, и мое преимущество: ни к труду, ни к голоду, ни к скотскому быту мне не надо было привыкать. Смена зон — и все.

ТИХИЕ ДУМЫ

И все-таки ради чего — этот через страдания путь?.. Но тотчас и другой вопрос: ради чего — жизнь?.. И здесь уже большинство новобранцев беспомощны, как слепые котята. Можно было завидовать сектантам и евреям — они, как иголками ежи, пронизаны идеей и верой. Нам же, вылупившимся из атеистического помрачения, трудно было найти хоть какое-то утешение. Безумный мир — и нет ему никакого объяснения. И это страшно. И это та самая разрушительная сила, которая формировала и множила преступный мир, отрицаловку — омертвление души... Но не надо было выживать — с голоду в эти годы никто не фитилил — и бродили мы по зонам, как сектанты и молитву шепча: ради чего, зачем, для чего?.. Ответа не было, и мы начинали разочаровываться во всем — это, как затем выяснилось, и был первый шаг к познанию истины. Без разрушения догм и ложных идеалов — к истине не приблизиться... Тогда-то большинство новобранцев и начали готовиться к смерти — открывать и строить свою душу.

ОТЕЦ ИВАН

По этапу на пять лет пришел православный священник — о. Иван. Хотя и под машинку острижен, но с бородой и усами. В облике его сохранялось церковное спокойствие. Со всеми ходил на работу и не унывал, хотя лет ему было, видимо, под шестьдесят.

Православные жались к нему. Нередко подходили под благословение — и о. Иван благословлял: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа...».

Как-то Альберт сказал:

— Надо чтобы постоянно в лагере сидел священник... Так бы потихоньку и приобщал.

— Если бы один лагерь... священников не хватит.

— Верно, — Альберт вздохнул. — Голгофа.

ДЕТСАД

Забастовка давно кончилась, да и не собирались зэки устраивать переворот, штурмом брать запретку, комитечиков увезли в крытую, для раскрутки в Саранск, — а пулеметы из гнезд на вышках по-прежнему торчат. Хочешь — бунтуй...

— Э, хлоп, це шо — хипиш!? — бригадир Гриц, западный украинец, погогатывает. — Во в Караганде было — хипишнулы! Танками давляли. Раздавили. Так ведь шо, колы доходило до конца, бралысь под руки втрех, вчетырох, прощалысь да на запретку и шлы, чтоб с вышки з пулемета... Да и туточки до пятьдесят шестого каждый день вывозили, хфитили дохли... Э, хлоп, теперь что — детсад.

СЛУГИ...

Не любили в лагерях тех, кои покорненько и угодливо служили советской власти, пришли немцы — они точно так же служили немцам, оказались в лагерях — служат лагерной администрации: стучат, следят, стучат — и это почти бескорыстно, как долг.

Таких обычно знают наперечет. О таком говорят с презрением: «Слуга всех господ».

Если человек тверд в своих убеждениях или заблуждениях, но честен по отношению к другим, то пусть он хоть немецкий вояка или шпион, коммунист, сионист или полицай — к нему относятся с одинаковым уважением, по-человечески.

Ведь в одном омуте, только ярлыки разные.

КНУТЫ

На этап — шмон, с этапа — шмон, в вагоне — шмон. Ищут, ищут, а искать нечего. Вот уж, у страха глаза велики. Так ведь и рвань, которая вечно с ножишками мельтешит, сама больше всего ножа и боится — система.

В вагоне шмонает молодой конвоир. У своего же ровесника выгребает из мешка письма с воли — от девушки, которая, может и дождется; пока ждет и пишет. И письма эти дороже денег, как личная совесть. Такие письма хранят, берегут, и когда тяжело — перечитывают десятки раз. И вот молодой кнут бесцеремонно читает с наглой ухмылкой.

— Это письма, личные, из-под цензуры, оставь...

— Письма, личные... а вот мы их и почитаем.

И начинает вслух вычитывать самое интимное — режет по живому.

— Прекрати! Не смей! — и униженный безрассудно пытается вырвать письма. О, такого конвой не потерпит. Письма вовсе отбирают, униженный получает под бока ключами, его вталкивают и запирают в темный отстойник. И до следующей пересылки — ночь! — он не получит ни воды, ни права на оправку. А просить начнет — просящему дается: на то и кнуты.

Окончание. Начало в № 2/1990.

ЕЛОЧКА

Елочку в рабочую зону принес вольнонаемный добрый мордвин. Елочка маленькая — полметра ростом. Но и такую пришлось скрутить-связать и заложить в охапку дров-срезок, чтобы пронести в жилую зону. Не то перед вахтой и бросишь.

И так-то было грустно наряжать елочку: из подушки надергали ваты, распушили «снежинки», из бумаги вырезали цепь, из чайной фольги несколько фигурок, а на верхушку — тоже из бумаги — двухтрубный кораблик. Но главное — Костя раздобыл три тоненьких огарка восковых свечей.

Сварили чая, и после отбоя и поверки сели к елочке: Костя и я. Должен быть и Белолобый, но язык его — враг его: выпросил трое суток кондея.

Я искренне любил Костю: с первой встречи меня поразило его доброе лицо и по-детски искренняя, как будто виноватая улыбка. Его подельники и в других лагерях, мой — тоже, у Белолобого — никого рядом: так и подсунулись под одно крыло... Добродушие и искренность тогда подвели Костю. Он разочаровался и в своем, и в общем бестолковом сидении — да и кто в этом не разочаровывался! То ли он откровенно ответил на вопрос начальника отряда, то ли в разговоре со своими высказывал мнение, что безумно рубить сук, на котором сам сидишь, но прошел шорох, зароптали либералы-радикалы. Слово за слово — и почти бойкот. Но я и не расспрашивал, не вдавался в подробности — мне ничего не надо было знать. А он был грустен — удушлив гнет подозрений. Костя улыбался и щурился, глуховатым голосом читал свои стихи — и вот таким он мне запомнился: молодой, рослый, красивый курский парень — Костя Данилов.

В секции горела лишь ночная лампочка, на вагонках посапывала и похрапывала сотня мужчин, а мы сидели перед елочкой, встречали 1959 год, пили остывший чай, читали свои стихи, говорили, обманывая себя, о будущем, и казалось, все еще впереди, все сбыточное — стоит лишь перешагнуть срок, дождаться.

А в полночь мы зажгли свечи. И поплыл изумительный волнующий запах воска. Мир.

Костя протирал очки, и в глазах его поблескивали слезы...

Тринадцать лет спустя в Калуге, на повторном суде Пименова мне сказали: Костя спился... А я до сих пор не верю.

НЕ ПРОЙДЕТ!

Разъединить, расщепить, расколоть, разделить, оболгать, а затем — стравить. В этом и заключается мудрость наставления: «Преступный мир уничтожает сам себя». И это удавалось реализовать. Попытались в 1958 году стравить и новое, младое поколение. Бытовикам внушали: вы хорошие, вы свои, вы по нужде, а вот те — фашисты: жизнь была бы хорошая, и вы не оказались бы здесь, если бы не они — враги народа... Бытовики в общей рабочей зоне обо всем этом и рассказывали.

Собрали в столовой и нас: вы-то грамотные, вы поняли бы и трудности, и реформы, а вот те — уголовные элементы, ворье, вот они...

Слушали всего минуту — в сотню молодых глоток заорали:

— Стой! Не пройдет! Не стравишь! Не те времена! (Правда, времена-то в любой день могли возвернуться).

И ведь захлебнулся начальник ПВЧ — не прошло.

ВРАГИ НАРОДА

Тысячи и тысячи, а раньше миллионы и миллионы одновременно — враги народа. Только вот какого народа? — вопрос. А ведь то и был сам народ, может, лучшая его жила. Враги народа сажали, сидел — народ. Человеческая комедия продолжается.

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО

Если забыть, что ты невольник, что тебя окружает глухой забор и четыре пояса колючей проволоки и что любой кнут может помыкать тобой, как ему заблагорассудится, если забыть все и представить себя лишь гражданином республики ГУЛАГ, города ЛАГЕРЬ, — то вдруг и окажется, что только здесь и живы мистические свобода, равенство, братство.

Здесь все равны, хотя и не обезличены — у всех одинаковые права и ограничения; здесь все братья, хотя и по неволе — ни вероисповедание, ни национальность не мешают братству; здесь все свободны — свободны думать, говорить, иметь и отстаивать личное мнение, каждый свободен распоряжаться своей судьбой.

Но является кнут — и все опрокидывается: раб.

И тогда живет человек надеждой — вырваться на волю. Только какая же воля? Зона побольше.

КАРЦЕР

Железобетонный мешок с площадью пола пять квадратных метров. Под самым потолком оконце с решеткой. Дверь двойная: внутри металлическая решетка, а затем обычная, обитая железом дверь с глазком и кормушкой. Слева в полу дыра для оправки — вода там течет постоянно. Рядом железная табуретка, вмурованная в пол... И все.

РЕЖИМ

В шесть утра подъем, отбой — в полночь. Ведут за щитом для сна — в полночь: из толстых досок, промозглый и неподъемный, иногда с наледью. Несешь его на спине, ну, задавит — как свой крест. В шесть утра — обратная процессия.

Один день три кружки воды и три ломтика хлеба граммов двести пятьдесят в общей сложности. На второй день все тот же хлеб, все та же вода, но горячая, и в обед черпак баланды — жиденький суп из сечки или пшена без жира. Ложку не дают, да она и не нужна.

Вот так и чередуются дни. Понятно, курева нет.

СОН

Шесть ночных часов на щите нельзя назвать сном. Ни одного часа такого, чтобы отключиться, забыться. Да и лежать, собственно, не приходилось. Было бы самоубийством растянуться на мокром щите при температуре, колеблющейся вокруг нуля. «Спать» приходилось в поклоне: на коленях и на локтях. Куртка, понятно, под брюки, чтобы только-только не выскочила, все остальное натягивается на голову, борта придерживаются руками, чтобы дышать в куртку, в себя, чтобы тепло дыхания хоть как-то согревало. Но и тогда утром разогнуться было почти невозможно, тело костенело. На седьмые сутки как будто потеплело — выпал снег, первый, пушистый, легкий, ветерком иногда его запахивало в оконце.

А как зимой — ведь отопления нет.

ДУШ-ЖАРКО

Из карцеров вывели пятерых одновременно — мой сосед тоже шел на этап. Это был мордатый малый лет двадцати восьми. Они еле передвигался. «Зверь, во зверюга», — повторял он, поджимая руками живот.

Но прежде чем дать переодеться, нас отправили в душ — по инструкции положено, что ли. Такая же камера, лишь в потолке два рожка. Зафыркало, захрипело —

и полилась из рожков тепленькая водичка. Спиной к спине и под теплую струю... Но увы, в один момент из рожков хлынула под напором ледяная вода — и деться некуда. Закричали, загрохали кулаками в дверь. Глухо.

Минут через десять выпустили. Зверь похохатывает:

— Ну, как душ-жарко!?

Ничего, начальник, живы, только вот ноги в сапоги не лезут.

ТИХИЕ ДУМЫ

Необходимо было бессмертие, чтобы понять происходящее и воплотиться, чтобы воспринять и эту зону, и ту, как неизбежное и одолимое. Необходимо было бессмертие, чтобы раскрепоститься и выйти из глухого уныния. Иначе распад, самоистребление, конец.

Но какое бессмертие, когда вот она — смерть. И тление ощутить можно. Или бессмысленное сидение — и тогда все бессмысленно. И любой протест, с любым исходом, правомернее бараньего повиновения. Если так, то и насильник прав.

Как бы мы ни рассуждали, а все мы оказались здесь, как возмутившиеся, как протестующие, как злословящие властей предержащих. Но как поколебать силу? Только силой. Скрыто или открыто — стена на стену. Есть еще сила — это тот самый маленький, сопливенький посредник: разжигающий, разрушающий, выжидающий, при любом исходе остающийся в барыше. Главное, чтобы свара, мутная вода.

Как бы мы ни оправдывали, как бы ни обвиняли — неминуемы вопросы: «Для чего?.. Ради чего?.. Зачем?..»

Или подчинись сильному, или восстань — и иди, обреченный на истребление... Понимая это, наверно, каждый должен был понимать и другое: необходим третий путь, на котором мог бы воскреснуть и погибающий, и погибший — путь личной неистребимости...

ГИНЕКОЛОГ

Он отказался стрелять в мятежных венгров. Его привезли в Мордовию с семью годами. А он и не жалел — долговязый, поджарый Николай. Работал в кочегарке на подвозке угля, а в каждую свободную минуту изучал — гинекологию. Нет, в институте он не учился, но так любил эту область медицинских знаний, что каждую копеечку берег — на специальную литературу «Книга — почтой».

Над ним шутили, и он радовался и восклицал:

— Да какой же я каратель, какой вояка! Я ж — гинеколог!

Мечтал когда-нибудь поступить в медицинский институт. Не знаю, сбылась ли его мечта.

СУДЬБА

Еще я уже не встречал Иванова. Знаю кое-что лишь по достоверным рассказам.

На пересылке же свела его судьба с английским подданным, кажется, с морским офицером. Кое-как преодолели языковой барьер — Иванов говорил по-французски. Докалякались: англичанин взял все полотна Иванова — ясно было, что он скоренько и отправится в Англию. Так и случилось. И устроили выставку в Лондоне. Иванов-невольник обрел сенсационную известность. И тогда из «Комсомольской правды» в лагерь приехал корреспондент с предложением написать опровержение: мол, все буржуазная клевета... Он было и здесь начал торговаться, но тщетно. Так ничего и не написал...

А вот теперь я узнал: десятку свою Иванов отчалил, но после освобождения тотчас оказался в психбольнице — приспела такая мода. И даже такое передавали: не пытается из психушки и выбираться. Но это слова. А был художник милостью Божьей, который мог бы украсить свое время.

ЖАЛОБЫ ГРЕКА

Высокий, худой, черноволосый, горбоносый грек с протяженным именем — звали его просто Пулос. Член греческой компартии, он бежал от черной хунты под руководящее крыло... И то, что нельзя там, позволительно здесь, — решил он и высказал открыто свои критические мнения. Его не терзали, не пытали, даже наручники не надевали: приговорили к трем годам и привезли в Мордовию.

И раскрылись глаза ребенка — ребенок изумился. Пулос энергично вскидывал руки и восклицал:

— Как это так! Коммунистические лагеря! — и хватался то за грудь, то за голову. — Нет, отсижу, уеду в Грецию — буду антикоммунистом! Буду ездить по Греции и рассказывать все! — И тотчас жалобно стонал Пулос: — Только не поверят...

— Пулос, а кто не поверит, ты их по этапу сюда — в Явас! — и молодо гоготали.

ДИАЛОГ НА НАРАХ

— Ты за что?

— За язык.

— Ох-ох... Как и я: колхозную корову сукой обозвал!

— И сколько тебе за корову?

— Червонец... Я, видишь ли, заодно и председателю сельсовета в ухоззвездил, а он хилый — сотрясло.

— Ты хоть в ухо, а я и этого не сделал.

— А что?

— Да собрались в аудиторию «Не хлебом единым» обсуждать. Предложили высказаться. Я и высказал свое мнение — трояк.

— Ништяк. Год прошел, еще два — на параше отсидеть можно.

— Да не в том дело. За что? Уж попасть, так хотя бы за дело... Сами же говорят-разоблачают, сами публикуют, сами мнение спрашивают — и сажают!

— От чудак! На то ж и мнение пытают, чтоб посадить.

— Да...

— Вот те и му-да.

— Забрали, ну, думаю, так: погрозят пальцем да выгонят.

— Нет, а я думал — шлепнут.

— И все-таки не пойму, за что, ну, за что?

— За́ то — не ходи пузата. Без мыла побреешься — враз и поймешь... Председателей в колхозе почему часто меняли? Э, потому если колхозники невзлюбили, ему уж и работать нет мочи. Народ слушает, подчиняется, а он уже и работать не может. Менять надо: того сюда, этого туда. Пока принюхиваются, узнают — время и идет. Так и наверху — тама. Но там меняться не хотят, мест мало.

— Значит, профилактика?

— Топи котят, пока слепые... Вота тебя макнули — дружки твои на воле и припухнут, да и сам ты надуешься, но тихонький станешь, ручной, как кисуля.

— А если наоборот?

— Опять сюда.

— А ты давно сюда?

— Я-то? Седьмую Пасху.

ЗА ЧТО?

Большинство новобранцев восклицали: «Да за что?!»

— За то, что сер, — однажды определил Витя Сальников, тоже новобранец пятидесятых, но уже побывавший в бытовиках.

Ведь каждый помнил следовательские, судейские, прокурорские и адвокатские тирады: «враг народа», «махровый антисоветизм», «махровые контрреволюционеры»... И каждый сопоставлял эти звучные клейма с тем, что он совершил, в чем преступился, на чем споткнулся... И вновь звучал недоуменный или гневный вопрос: «За что!?»

Я С ВАМИ

Лагерь бастовал: бескровно, бестолково, почти по-мальчишески, но бастовал — такое бескровье, бесспорно, возможно было лишь в 1957 году. А этапы шли и шли. Пересыльный бытовой лагерь был забит под завязку. Спали на улице вповалку.

С утра по зоне тянуло тухлятиной. В обед вдруг небывалое — мясные жирные щи. Но стоило ложку в рот — все обратно. Вонь и горечь. Некоторые все же пытались есть. И кто-то вытянул из миски белого вареного червя.

Щи на повара — ну, пес!

— А я-то что? Мне дали — вари. Я сварил, — отговорился повар-бытовик.

Загудели, загудели — громче, громче: даешь начальника лагеря!

Собрались человек сто в штабной секции.

— Расходись!

— Давай начальника!

Убежал кнут на вахту за нарядом. Бытовики перетрухнули, наблюдают со стороны. Политические друг на друга поглядывают — стоят. И здесь же бывший преподаватель из ленинградского химико-технологического института — под шестьдесят, в очках, интеллигентный профессор.

— А вы шли бы отсюда, все может быть, — предложили ему. Он даже очки поправил:

— Нет, нет, я с вами...

Видимо, вот так же он сказал своим студентам — я с вами, когда развернулась политическая дискуссия. Он выступил с трибуны в поддержку студентов — арестовали, судили: три года.

НЕОФУТУРИСТЫ

Их было, кажется, четверо — неофутуристы-протестанты, студенты-филологи университета на Неве. Они читали Хлебникова и Волошина, раннего Заболоцкого и Мартынова и свои опусы. Выряжались в лапти и русские рубахи, перекинув через плечо бутыли с квасом, заявлялись в университет, откуда, ясно, их выпроваживали комсомольские активисты. И тогда они садились на лестницу парадного входа и попивали квасок. А то шли в гости к Вере Пановой — она и угостит, и закусить предложит, и посмеется, слушая новые дарования — очень уж хлебосольная хозяйка.

Если на студенческих собраниях все говорили «да», они — «нет», все «нет», они — «да». Так случилось и на ноябрьской демонстрации 1956 года. Они шли с квасом против течения, навстречу демонстрантам. На трибунах провозглашали: «Да здравствует советская власть!» — А они тотчас в несколько голосов кричали: «Без коммунистов!» Демонстранты отзывались: «Ура!» «Да здравствует КПСС!» А они: «Без Хрущева!»...

Их арестовали сотрудники госбезопасности. В «Вечерке» появилась заметушка: разгневанные рабочие скрутили распоясавшихся хулиганов.

Миша Красильников прибыл в Потьму с четырьмя годами. Он и по зоне ходил гоголем — с красной деревянной ложкой в нагрудном кармане куртки. Он был заманчив, вокруг него вечно толклись новобранцы. Писал стихи, иногда читал вслух — вроде:

«Я не силен в гносеологии, —
сказал мужик, снимая óнучи»...

БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ

Ах, как манили огни недосягаемого Нью-Йорка!

Он сел на прогулочный морской катер, и когда катер на развороте наиболее приблизился к американскому туристическому судну — он нырнул за борт и поплыл к американской плавучей земле. Уже слышал, как ему кричали: «Квикли! Квикли!» Уже видел, как навстречу бросали концы, он готов был даже схватиться за веревку, но подоспел патрульный катер, и бегущего по волнам без труда выловили багром.

В лагере Тарасевич уверял, что весь просчет был в том, что он не снял ботинки — бежать по волнам легче босому.

ОНА И ОН

Она писала на редкость черствые письма — он ласкал эти письма и берег.

Она откровенно писала о любовниках, даже жаловалась на них и советовалась, как ей в конкретном случае быть — он давал советы и писал, что любит ее.

Она заболела сомнительной болезнью, сообщила, что лежит в больнице и что позаботиться о ней некому — он собрал последние лагерные копейки и отослал ей.

— Дурак, — сказал сосед по вагонке.

— Но ведь я ее люблю, — пожаловался он.

ТИХИЕ ДУМЫ

Прозрение: нет, не может быть рая на земле! И все эти «по потребности», «по способности», «по труду» — политическая демагогия. Какой рай, если идет процесс разрушения природы! И чтобы иметь необходимый хлеб, необходимо трудиться и трудиться. Не избавиться от болезней, от страданий, не уйти от смерти — о каком же светлом будущем речь! И теория земного рая — ложь, гнуснейшая из всякой лжи... Вот и потребовалось уничтожить как можно больше людей, чтобы оставшихся сбить в кучу, в стадо — и заставить производить и воспитывать покорный скот, не требующий ничего, кроме существования.

Религия лжи. Мафия лжецов-эксплуататоров. И малая зона — модель, примерка для общей зоны. Главное — приучить к труду за мякину и обещания.

Я это понял в одиночной камере. Но еще долго не мог понять, а мы-то при чем...

— Мы-то за что — слепые мы... или обречены, неужто всем жить, а нам страдать и погибать в истреблении... это же ад, ад, но почему нам?!

И о. Иван молча подал мне Библию малоформатного издания — раскрытую, с отмеченным текстом, как бы говоря: вот, прочти, и ты должен понять, а уж если не поймешь — не суди строго... И я взял и прочел, как отвергнувшим землю обетованную и возроптавшим на Бога, через Моисея и Аарона Господь сказал:

«В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефониннина, и Иисуса, сына Навина.

Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели; а ваши трупы падут в пустыне сей.

А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне.

По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною.

Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут». («Числа», гл. 14, ст. 29—35).

И я прочел, и записал, чтобы еще и еще прочесть, и задуматься, и подумать наедине с собой и понять глубинный смысл, который выпирал из каждого слова...

Тогда я впервые столкнулся с библейским словом.

ВОЛЯ К ИСТИНЕ

Как часто, просматривая выступления разных лет какого-нибудь литературного критика, видишь в них не тяжкий путь к зрелости, не внутреннее движение, но лишь готовность приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам в угоду среде или собственным амбициям. Что ж, к этому не привыкать. Тем большую ценность имеет для общественного развития та критика, мысль которой опирается на нравственный закон в душе. Тем удивительнее и отраднее прочитать, например, прозвучавшее в пору набирающего силу «застоя» высказывание Вадима Кожинова о высоком искусстве православной литургии, для которой и были построены древнерусские храмы, предназначенные «служить как бы тем телом, в котором осуществляется напряженная духовная жизнь». Или плохо услышанное тогда же предостережение критика от бездумного энтузиазма по поводу научно-технического прогресса. Едва ли не первым из критиков В. Кожинов поставил вопрос о «техническом рае» как трагической для современной личности проблеме.

Зная, как легко, в сущности, подтолкнуть обыденное сознание к неразличимости добра и зла, В. Кожинов подробно останавливается и убедительно развенчивает многие, создающиеся сейчас с особенно агрессивным напором мифы, как, скажем, миф о «гуманисте» Бухарине. Критик выступает и против однозначной трактовки борьбы с «космополитизмом» в конце 40-х — начале 50-х годов, которая в тогдашней литературной критике (превозносившей конъюнктурные произведения, находящиеся за пределами литературы, и поносившей Достоевского, Тютчева) была не чем иным, как вульгарнейшим извращением и дискредитацией патриотизма и заветов великих русских мыслителей и художников. Достаточно обратиться к журнальным подшивкам, чтобы убедиться в правоте критика и тогда, когда он анализирует развернувшуюся в конце 60-х травлю «русофилов», в которой согласно принимали участие два, казалось бы, антагониста — «прогрессивный» «Новый мир» и «реакционный» «Октябрь». И совсем в ином свете видятся после этого сегодняшние попытки объявить, что причиной ухода Твардовского из журнала якобы было пресловутое «письмо одиннадцати». Оппоненты В. Кожинова обычно пытаются внушить читающей публике, что критик, дескать, смотрит на литературный процесс исключительно сквозь призму групповых пристрастий. Но если бы это было так, разве стал бы он писать о существенных огрехах талантливого романа С. Алексеева «Слово»? Стал бы он в произведениях В. Пикуля видеть преимущественно впечатления от беллетристики прошлых времен? Но никому из оппонентов В. Кожинова не интересна и не нужна его объективность. С. Чупринин, например, обнаруживает у него «волю к управлению литературным процессом». Интересно, а какая «воля» диктовала С. Чупринину не гнушаться откровенно пасквильными, можно сказать, шулерскими приемами в его статье в первом номере «Знамени» за этот год?

В наши дни, когда неполная гласность в средствах массовой информации мощно «дополняется» полной вседозволенностью высказываний и действий различных хамелеонов, в том числе хамелеонов от литературы, когда борьба за умы и души приобретает особенно пошлые формы, когда нам предлагают изучать предшествующие десятилетия то «по Рыбакову», то «по Шатрову», — критик В. Кожинов стремится подключить сознание современного читателя к историческому бытию нации. Особенно важны в этом смысле такие статьи, как «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» и «Правда и истина». Разумеется, у Вадима Кожинова есть воля. Только воля эта — к истине. И надо думать, что воли к истине у критика достанет и впредь.

М. ЛИДИНА

Кожинов В. В. СТАТЬИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. — М.: Сов. Россия, 1990.

78

ПОЗНАВАЯ ДРУГИХ

Заманчива, не правда ли, перспектива узнать о французах все, прочитав сравнительно небольшую книгу английского историка Теодора Зэлдина. Особенно сейчас, когда постоянно расширяются советско-французские отношения и обе стороны стремятся выяснить как можно больше друг о друге. Мало, очень мало информации о Франции (и не только Франции) получают советские читатели. И если о самой стране и некоторых сторонах ее жизни можно прочитать в газетах, то о французах большинство из нас мало что знает. Но теперь, с выходом книги «Все о французах», появляется такая возможность, так как предметом исследования ее автора является француз, каждый как бы в отдельности, его стиль жизни, привычки, вкусы и т. д. Однако метод познания национального характера нетипичен и не строится на анализе культуры и общества Франции. Зэлдин пишет о реальных людях, различных сторонах их жизни — о семье, работе, религии, образовании, «правящей элите» и рабочих и о многом другом. Знание французов имеет еще более важное значение потому что, по мнению автора, «познавая французов, мы что-то узнаем о самих себе».

Читая книгу, вы не найдете в ней портрета «типичного француза», так как автор считает нелепым представление о том, что француза можно охарактеризовать одной фразой или метким выражением. Но герои Зэлдина высказываются на страницах книги просто и откровенно. Их рассказы, вместе с рассуждениями автора, подталкивают к выработке собственного представления о французской нации, к ломке стереотипов, не позволяющих иностранцу узнать подлинного француза. Оказывается, и сами французы испытывают огромные трудности в объяснении своего характера. Им тоже мешают устойчивые стереотипы. Неужели постоянно будет существовать противоречие между тем, что французы думают о себе сами, и тем, что думают о них другие? Несмотря на то, что автор всю свою сознательную жизнь изучал французов, он не осмеливается утверждать, что может правильно ответить на этот вопрос.

Людмила ЖУКОВА

Зэлдин Т. ВСЕ О ФРАНЦУЗАХ. — М.: Прогресс, 1989. — 440 с.

ПОЭТ МАНСИ

Живет Юван Шесталов в Ленинграде, книга его написана на русском, лишь стихи переведены с языка манси, причем — очень удачно. А читаешь ее — и попадешь в край Белых Журавлей с его древними мифами, неповторимыми сказками, добрыми Духами. Здесь, в тайге, живут манси — немногочисленный, увы, народ российского Севера. Горько сознавать, что роскошная когда-то природа требует исцеления. Помощи людской ждут и животные. Да и сами манси — потомки мифического Нуми-торума, которого и поныне зовут верхним небом, верхним богом, нуждаются в более добром отношении. Обо всем этом ярко, образно, поэтично, искусно вплетая стихи в ткань прозаического повествования, рассказывает крупный поэт и прозаик России и истовый певец манси Ю. Шесталов. Читая мастерски описанные обрядовые ритуалы северян, понимаешь, что автор досконально знаком с философией, бытом, нравами, древней историей родного народа.

Прекрасно выписаны герои этих небольших новелл, составляющих роман-сказание «Огонь исцеления». Знахарка Алызква — представительница одного из традиционных занятий манси, врачующая ближних, — вызывает искренние симпатии.

Среди героев новелл, и это понятно, множество животных, которые играют в мансийской мифологии и фольклоре исключительную роль. Мы встречаемся и с Вороном, и с Когтистым мужиком (медведем). И, конечно же, благостный символ маленького, но духовно богатого народа — Белый Журавль — на почетном месте. С любовью и гордостью, неоднократно обращается к этому образу Ю. Шесталов. «Журавль — птица редкая, как манси»,— замечает автор.

Большая ценность романа еще и в том, что он создан истинным сыном вскормившей его родной земли. Тесно переплетены мифы с реальными событиями, а ритмичные загадочные стихи (признаться, без которых речь героев сказания просто немыслима) — с заклинаниями шаманов. Но книга-то социальна! Прославляя и защищая свой настрадавшийся народ, писатель делает то же благородное дело, что и другой яркий человек — народный депутат СССР Е. Гаер — стойкая защитница малых народностей Севера. Именно к их нуждам, тяжелым проблемам обращается, пусть медленно, внимание и органов власти, и общественности, да и литераторов. Своим честным пером лауреат Государственной премии РСФСР, талантливый мастер слова Ю. Шесталов работает на перестройку. И небезуспешно.

Л. НИКОЛАЕВА

ШЕСТАЛОВ Ю. ОГОНЬ ИСЦЕЛЕНИЯ. Роман-сказание. — Л.: Лениздат, 1989.

ЛИТЕРАТУРА



Стихи.
Рассказ.
Портрет.

Анна Васильевна Тимирева

АНАТОЛИЙ ЕЛКИН

КОЛЧАКОВНА

Десять лет назад в издательстве «Московский рабочий» вышла последняя — посмертная — книга Анатолия Елкина «Арбатская повесть». Это одна из самых увлекательных книг советской маринистики. В основе ее лежит многолетний писательский поиск причин таинственной гибели линкора «Императрица Мария» в 1916 году. Повесть, где, по определению автора, «неожиданно переплетаются и сталкиваются судьбы линейного корабля «Императрица Мария», советских писателей, праправнучки Кузьмы Минина, инженера Романова, Григория Распутина, художника Виктора Бибикова, боксера Николая Королева, чекиста Александра Лукина, академика Крылова, графини Капнист и некоторых других людей».

Вот по этим «другим людям» и прошлись цензорские ножницы, отделяя «чистых» от «нечистых», подправляя историю в угоду тем, кто обносил ее «белые пятна» колючей проволокой запретов. Вмешаться, отстоять выброшенные страницы Анатолий Елкин уже не мог, его к тому времени не было в живых. По счастью, Маргарита Викторовна Елкина, вдова писателя, сохранила верстку «Арбатской повести» в ее первоначальном виде. С ее любезного разрешения изъятые страницы впервые увидят свет, и, мы надеемся, войдут в новое издание повести, которая давно стала библиографической редкостью и ждет своего издательского повторения.

Эта публикация, как мне думается, должна заинтересовать читателей «Слова» еще и потому, что в опубликованной в номере седьмом отрывке из повести Владимира Максимова «Заглянуть в бездну» речь шла как раз об этой «вдове Колчака» — Анне Васильевне Тимиревой. Так что перед читателем — продолжение ее судьбы, вернее, чем она завершилась в тяжкое время и для любви, и для жизни.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН

В те дни юбилейных торжеств Мария Ростиславовна сдержала свое обещание — познакомить меня с вдовой Колчака.

Анна Васильевна Тимирева, по причинам понятным и объяснимым, долго не шла на эту встречу.

Но характера у Капнист хватало, и Анна Васильевна наконец сдалась.

— Сегодня ровно в четыре, — сообщила мне по телефону Мария Ростиславовна. — И не опаздывайте. Анна Васильевна — человек пунктуальный...

Я приехал за час до назначенного срока, так еще и не веря в реальность предполагаемой встречи. Нашел на Плющихе мрачный старый дом с рифленым сводом арки, зашел во двор, где ребята играли в снежки... Но вот из стремительно подлетевшего такси выскочила улыбающаяся Мария Ростиславовна.

Входим в прихожую, до потолка заваленную книгами. Они везде — на полках, тумбочках, этажерках, стеллажах.

Через проем двери вижу сидящую за столом седую невысокую женщину. Близорукие, сухие глаза.

— Скажите откровенно, для какой цели вы беседуете со мной? Что вас интересует? Вы же прекрасно понимаете, что мои оценки будут носить и носят понятный личностный характер.

В таких случаях нужно идти в открытую: историк не может добывать материал этически несостоятельными методами. В гражданскую мой отец был комиссаром, и не было для него, как и для миллионов вставших под знамена революции, более ненавистного имени, чем Колчак.

Время не делает черное белым, и не нужно здесь ни хитрить, ни притворяться. Но не только право, но и долг литературы, как искусства, изображать любую историческую фигуру не однолинейно, а многогранно, во всей сложности личности и характера человека.

Положение мое было не из простых, и я отлично понимая это, излагая Анне Васильевне все эти обстоятельства и пояснив, что цель моего визита — не «болевые точки», а попытка выяснить, поскольку это необходимо для книги, точку зрения Колчака, как командующего Черноморским флотом, на все произошедшее с «Императрицей Марией».

Разговор разворачивался не сразу и не вдруг: контакт наладился примерно через полчаса.

Я рассматривал фотографии Колчака, листал его письма.

Небольшая комнатка на первом этаже хмурого, скорее петербургского, чем московского, дома, сфокусировала непростую и нелегкую жизнь ее хозяйки: прихожая, забитая книгами, бюст отца — бывшего директора Московской консерватории — на стеллаже, пожелтевшие фотографии 1910—1917 годов. Вот сама Анна Васильевна — женщина ослепительной красоты и изящества. Снято в Гельсингфорсе в 1914 году. Колчак, только что вернувшийся с поисков пропавшей в Арктике экспедиции Толля. Он же — с вицеадмиральскими погонами, в пору командования Черноморским флотом...

Анна Васильевна Тимирева, урожденная Сафонова,— дочь Василия Ильича Сафонова (1852—1918), который был известен в истории русской культуры как «выдающийся пианист, педагог, дирижер, один из директоров и инициатор постройки нового здания Московской консерватории». Историки искусств пишут, что он «оставил яркий след в истории не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Его многообразная, кипучая просветительская и организаторская деятельность до 1905 года развивалась по преимуществу в Петербурге, Москве и на периферии, после 1905 года — главным образом за рубежом: в странах Восточной и Западной Европы, в Америке, где он в 1906—1909 годах был директором Нью-Йоркской консерватории и дирижером филармонии.

Значение созданной им системы музыкального профессионального образования и влияние его педагогической школы явно ощущаются и в наши дни».

Петр Ильич Чайковский приглашал его в Московскую консерваторию. Ему содействуют и помогают С. Танеев, А. Гольденвейзер, С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков, М. Ипполитов-Иванов, А. Аренский, А. Дворжак, К. Сен-Санс, А. Нежданова, Л. Собинов, Ф. Шаляпин, К. Станиславский, Р. Глиэр, А. Глазунов...

«Сафоновская» страница — одна из ярчайших в истории Московской консерватории.

Во всяком случае, детство Анны Васильевны осенено великими и громкими именами.

— Кажется, все это приснилось. А ведь это было, — раздумчиво говорит она.

Родилась Анна Васильевна в Кисловодске. А детство ее прошло в Москве. В здании консерватории. Из молодой девушки очень скоро сформировалась светская дама. Жена адмирала, тогда еще капитана 1-го ранга, Тимирева. Колчака она впервые увидела в Гельсингфорсе на вокзале. Восторженные флотские дамы зашушукались: «Смотрите, смотрите — Колчак — Полярный!..»

По перрону, ссутулившись, шел высокий моряк.

Друг Макарова и Нансена, организатор экспедиции по поискам экспедиции Толля, известный полярный исследователь, храбрый офицер... Колчак был в зените славы.

Знакомство состоялось на званом обеде.

В нашу историографию еще только начинает вводиться ценный исторический документ — дневниковые записи вице-адмирала Колчака, охватывающие период с февраля 1917-го по март 1918 года. (Звание адмирала Колчак получил из рук так называемого омского правительства указом от 18 ноября 1918 г.)

История этих двух тетрадей, содержащих 243 страницы убористого текста, — сама по себе фабула остросюжетного романа. Исследователь Б. Ф. Федотов в «Историческом журнале» восстановил сложный путь, пройденный этим документом, прежде чем он смог стать достоянием науки:

«В январе 1920 г., когда вопрос о выдаче «верховного правителя» Иркутскому политцентру был предрешен, Колчак передал их полковнику А. Апушкину, предоста-

Десять лет назад в издательстве «Московский рабочий» вышла последняя — посмертная — книга Анатолия Елкина «Арбатская повесть». Это одна из самых увлекательных книг советской маринистики. В основе ее лежит многолетний писательский поиск причин таинственной гибели линкора «Императрица Мария» в 1916 году. Повесть, где, по определению автора, «неожиданно переплетаются и сталкиваются судьбы линейного корабля «Императрица Мария», советских писателей, праправнучки Кузьмы Минина, инженера Романова, Григория Распутина, художника Виктора Бибикова, боксера Николая Королева, чекиста Александра Лукина, академика Крылова, графини Капнист и некоторых других людей».

Вот по этим «другим людям» и прошлись цензорские ножницы, отделяя «чистых» от «нечистых», подправляя историю в угоду тем, кто обносил ее «белые пятна» колючей проволокой запретов. Вмешаться, отстоять выброшенные страницы Анатолий Елкин уже не мог, его к тому времени не было в живых. По счастью, Маргарита Викторовна Елкина, вдова писателя, сохранила верстку «Арбатской повести» в ее первоначальном виде. С ее любезного разрешения изъятые страницы впервые увидят свет, и, мы надеемся, войдут в новое издание повести, которая давно стала библиографической редкостью и ждет своего издательского повторения.

Эта публикация, как мне думается, должна заинтересовать читателей «Слова» еще и потому, что в опубликованной в номере седьмом отрывке из повести Владимира Максимова «Заглянуть в бездну» речь шла как раз об этой «вдове Колчака» — Анне Васильевне Тимиревой. Так что перед читателем — продолжение ее судьбы, вернее, чем она завершилась в тяжкое время и для любви, и для жизни.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН

В те дни юбилейных торжеств Мария Ростиславовна и сдержала свое обещание — познакомить меня с вдовой Колчака.

Анна Васильевна Тимирева, по причинам понятным и объяснимым, долго не шла на эту встречу.

Но характера у Капнист хватало, и Анна Васильевна наконец сдалась.

— Сегодня ровно в четыре, — сообщила мне по телефону Мария Ростиславовна. — И не опаздывайте. Анна Васильевна — человек пунктуальный...

Я приехал за час до назначенного срока, так еще и не веря в реальность предполагаемой встречи. Нашел на Плющихе мрачный старый дом с рифленым сводом арки, зашел во двор, где ребята играли в снежки... Но вот из стремительно подлетевшего такси выскочила улыбающаяся Мария Ростиславовна.

Входим в прихожую, до потолка заваленную книгами. Они везде — на полках, тумбочках, этажерках, стеллажах.

Через проем двери вижу сидящую за столом седую невысокую женщину. Близорукие, сухие глаза.

— Скажите откровенно, для какой цели вы беседуете со мной? Что вас интересует? Вы же прекрасно понимаете, что мои оценки будут носить и носят понятный личностный характер.

В таких случаях нужно идти в открытую: историк не может добывать материал этически несостоятельными методами. В гражданскую мой отец был комиссаром, и не было для него, как и для миллионов вставших под знамена революции, более ненавистного имени, чем Колчак.

Время не делает черное белым, и не нужно здесь ни хитрить, ни притворяться. Но не только право, но и долг литературы, как искусства, изображать любую историческую фигуру не однолинейно, а многогранно, во всей сложности личности и характера человека.

Положение мое было не из простых, и я отлично понимая это, излагая Анне Васильевне все эти обстоятельства и пояснив, что цель моего визита — не «болевые точки», а попытка выяснить, поскольку это необходимо для книги, точку зрения Колчака, как командующего Черноморским флотом, на все происшедшее с «Императрицей Марией».

Разговор разворачивался не сразу и не вдруг: контакт наладился примерно через полчаса.

Я рассматривал фотографии Колчака, листал его письма.

Небольшая комнатка на первом этаже хмурого, скорее петербургского, чем московского, дома, сфокусировала непростую и нелегкую жизнь ее хозяйки: прихожая, забитая книгами, бюст отца — бывшего директора Московской консерватории — на стеллаже, пожелтевшие фотографии 1910—1917 годов. Вот сама Анна Васильевна — женщина ослепительной красоты и изящества. Снято в Гельсингфорсе в 1914 году. Колчак, только что вернувшийся с поисков пропавшей в Арктике экспедиции Толля. Он же — с вицеадмиральскими погонами, в пору командования Черноморским флотом...

Анна Васильевна Тимирева, урожденная Сафонова,— дочь Василия Ильича Сафонова (1852—1918), который был известен в истории русской культуры как «выдающийся пианист, педагог, дирижер, один из директоров и инициатор постройки нового здания Московской консерватории». Историки искусств пишут, что он «оставил яркий след в истории не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Его многообразная, кипучая просветительская и организаторская деятельность до 1905 года развивалась по преимуществу в Петербурге, Москве и на периферии, после 1905 года — главным образом за рубежом: в странах Восточной и Западной Европы, в Америке, где он в 1906—1909 годах был директором Нью-Йоркской консерватории и дирижером филармонии.

Значение созданной им системы музыкального профессионального образования и влияние его педагогической школы явно ощущаются и в наши дни».

Петр Ильич Чайковский приглашал его в Московскую консерваторию. Ему содействуют и помогают С. Танеев, А. Гольденвейзер, С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков, М. Ипполитов-Иванов, А. Аренский, А. Дворжак, К. Сен-Санс, А. Нежданова, Л. Собинов, Ф. Шаляпин, К. Станиславский, Р. Глиэр, А. Глазунов...

«Сафоновская» страница — одна из ярчайших в истории Московской консерватории.

Во всяком случае, детство Анны Васильевны осенено великими и громкими именами.

— Кажется, все это приснилось. А ведь это было, — раздумчиво говорит она.

Родилась Анна Васильевна в Кисловодске. А детство ее прошло в Москве. В здании консерватории. Из молодой девушки очень скоро сформировалась светская дама. Жена адмирала, тогда еще капитана 1-го ранга, Тимирева. Колчака она впервые увидела в Гельсингфорсе на вокзале. Восторженные флотские дамы зашушукались: «Смотрите, смотрите — Колчак — Полярный!..»

По перрону, ссутулившись, шел высокий моряк.

Друг Макарова и Нансена, организатор экспедиции по поискам экспедиции Толля, известный полярный исследователь, храбрый офицер... Колчак был в зените славы.

Знакомство состоялось на званом обеде.

В нашу историографию еще только начинает вводиться ценный исторический документ — дневниковые записи вице-адмирала Колчака, охватывающие период с февраля 1917-го по март 1918 года. (Звание адмирала Колчак получил из рук так называемого омского правительства указом от 18 ноября 1918 г.)

История этих двух тетрадей, содержащих 243 страницы убористого текста, — сама по себе фабула остросюжетного романа. Исследователь Б. Ф. Федотов в «Историческом журнале» восстановил сложный путь, пройденный этим документом, прежде чем он смог стать достоянием науки:

«В январе 1920 г., когда вопрос о выдаче «верховного правителя» Иркутскому политцентру был предрешен, Колчак передал их полковнику А. Апушкину, предоста-

вив ему право распорядиться ими по своему усмотрению. Апушкин продал рукопись в 1927 г. за 150 долларов так называемому Русскому заграничному историческому архиву, находившемуся в Чехословакии. Незадолго до того жена Колчака, С. Колчак, пыталась было оспорить право Апушкина на рукопись, но доказательств своей правоты в третейский суд она не представила. В 1945 г. тетради Колчака вместе с другими материалами, переданными в дар Академии наук СССР правительством Чехословацкой республики, поступили в Государственный архивный фонд СССР» (Б. Ф. Федотов. О малоизвестных источниках периода гражданской войны и интервенции).

Дневники А. В. Колчака написаны в форме писем к А. В. Тимиревой. Очевидно, что к человеку незнакомому или даже не очень близкому в эпистолярном жанре не обращаются. Б. Ф. Федотов между тем характеризует дневники таким образом:

«Свои записи Колчак вел в эпистолярной форме. Это заурядные по своим мыслям и стилю частные письма, адресованные преимущественно некой А. В. Тимиревой, которые, однако, Колчак и не думал посылать. Последнее обстоятельство дает основание условно относить их к категории «дневника». При источниковедческой оценке записей приходится учитывать, что они адресовались, как правило, конкретному лицу, к которому Колчак был неравнодушен. Должны быть приняты во внимание и личные качества автора, не отличавшегося недостатком ни честолюбия, ни упорства при достижении своих целей. Все это, вместе взятое, не могло не наложить на содержание записей сугубо личный отпечаток».

Таким образом, создается вообще весьма смутное и нереальное представление об этой женщине и о ее роли в жизни Колчака. Тем более что Б. Ф. Федотов почему-то решил повторить, не отнесясь к ней критически, собственно, ту неправду, которую сказал Колчак на допросах. «А. В. Тимирева (урожденная Сафонова) до Октябрьской революции проживала в Ревеле и Петрограде, — пишет Б. Ф. Федотов, — с конца 1918 г. — переводчица отдела печати при управлении делами «Совета Министров» и «Верховного Правительства» в Омске».

Между тем свидетельства А. В. Тимиревой чрезвычайно ценны. Она была гражданской женой А. В. Колчака, прошла с ним весь путь после появления его в России и находилась при адмирале до последней его минуты, еще оставалась некоторое время в иркутской тюрьме и после его расстрела.

В августе 1917 года Колчак и Тимирева расстались, чтобы вновь встретиться уже в Харбине. Но это случилось несколько позднее. А пока... Пока шел 1918-й. Муж Анны Васильевны, адмирал Тимирев, был уже в отставке. Но весной 1918-го ему предложили поехать во Владивосток. «Для ликвидации военного имущества». Обстановка в пути была тревожной. Старая Россия разваливалась. В Сибири формировались чехословацкие легионы.

В Хабаровске поезд стоял долго. Ехавшая в купе с Тимиревыми девушка предложила осмотреть город.

На центральной улице Анна Васильевна лицом к лицу столкнулась со знакомым по Ревелю морским офицером.

— Откуда вы здесь? Что делаете?

— Пробираюсь в Харбин. Там — Колчак... Нужно все начинать заново...

Во Владивостоке она не выдержала: пошла к английскому консулу и попросила переслать письмо Колчаку. Они встретились.

Через несколько дней они оказались с Колчаком в Японии. Анна Васильевна поселилась в Токио. В гостинице.

С начала июля 1918 года она стала фактически женой Колчака. В Сибирь Колчак отправился один, попросив задержаться ее («пока все образуется») в Японии. В конце ноября 1918 года она приехала в Омск. Поселились они на набережной Иртыша...

Начался период колчаковщины.

Понимала ли она, с кем находится рядом?

Сейчас трудно на это ответить с полной очевидностью. Тем более что тогда «светские» интересы преобладали, судя по всему, у нее над всеми другими.

И вот — крах.

Расспрашиваю подробности.

— О том, что Колчака арестуют, нам сообщили минут за двадцать до этой акции. Александр Васильевич обнял меня и строго сказал: «Сейчас нет времени на споры и разговоры. Немедленно покидай поезд и уходи».

Я возразила решительно: «Мы ехали вместе, судьбу делили вместе. И я никуда не пойду».

Через полчаса за нами пришли...

И — новые детали:

— Я находилась в одиннадцатом корпусе иркутской тюрьмы. В одной камере с Гришиной-Алмазовой, женой министра финансов. С Колчаком нам разрешали иногда совместные прогулки. Три недели каждый день шли допросы. С нами работали председатель ЧК Чудновский и следователь Алексеевский. Все допросы стенографировались.

— Меня в тюрьме никто не держал, — продолжает Анна Васильевна. — Наоборот, несколько раз предлагали отправиться на все четыре стороны. Я отказалась. Мне было все равно, что со мной случится. О бегстве за границу я и не помышляла. Гришина — та быстро оказалась за кордоном. Даже выпустила там какую-то книжонку «об ужасах в советских тюрьмах». Но все это беспардонная чепуха. Обращение с нами было в высшей степени предупредительное.

В ноябре я вышла за ворота тюрьмы.

Нужно было начинать жизнь заново. Все — с нуля. С переоценки и переосмысления и прошлого, и настоящего, и будущего.

А вот и главное, ради чего я искал этой встречи. Весь внутренне напрягся, задаю вопрос:

— Что он думал о причинах гибели «Императрицы Марии»?

— Александр Васильевич много размышлял об этом. И даже не раз возвращался к взрыву в письмах ко мне. Колчак не верил ни в несчастный случай, ни в самозагорание пороха. Помнится, он тщательно анализировал схожесть катастроф «Императрицы Марии» и других кораблей и всегда приходил к выводу: «Нет, это не может быть случайностью. Здесь не обошлось без рук немцев... Доказать это я документально сейчас не могу, но уверен, в будущем доказательства появятся».

О дальнейшей судьбе героини «Арбатской повести» я узнал из беседы с ярославским протоиереем на покое отцом Борисом, Борисом Георгиевичем Старком. В 1961 году он окормлял приход в Рыбинске. Однажды, когда после богослужения все прихожане разошлись, он заметил немолодую, со вкусом одетую женщину. Она ставила свечи у образов. Лицо ее показалось Старку знакомым. Разговорились. Выяснилось, что женщина хорошо знала мать Бориса Георгиевича, урожденную Развозову. В памяти семилетнего мальчика осталась молодая красивая женщина, которую он часто видел в гостях у бабушки. Про нее говорили, что она одна из самых красивых женщин Москвы...

Отец Борис, не доверяя детской памяти, осторожно спросил собеседницу:

— Простите, а не знавали ли вы некую Анну Васильевну Тимиреву?

Женщина невесело усмехнулась:

— Я и есть Анна Васильевна...

В Рыбинске Тимирева осела после сталинских лагерей, где она отбывала свой срок вовсе даже не за «связь с Колчаком», а по какому-то совершенно абсурдному обвинению. В тихом волжском городке она зарабатывала на жизнь тем, что консультировала костюмеров местного драмтеатра, как шить и носить наряды великосветских дам — героинь классических пьес. Потом ей разрешили поселиться в Москве, но в Рыбинск она приезжала по старой памяти. Зашла в церковь и встретила... мальчика Борю из семьи адмиралов Развозова и Старка, отца Бориса в пышном священническом одеянии, который не так давно вернулся из эмиграции, из Парижа... Им было о чем поговорить.

Публикация М. В. ЕЛКИНОЙ.

Адмирал Колчак. Фото на стр. 79. Из фондов объединения «Путь». Публикуется впервые.

ВЯЧЕСЛАВ МАРЧЕНКО

ПОМИНОВЕНИЕ

Хоронили Лидию Ивановну теплым апрельским днем. Лежала она в гробу маленькая, с обострившимся носом и запавшими восковыми щеками, отчужденная ото всех и ко всему равнодушная. Последнее время она часто болела, вернее даже — не вылезала из болезней, которые цеплялись к ней, словно репья, не успевала она освободиться от одной, как тут же цеплялась другая, и задолго до ее кончины стало ясно, что ей от них уже не избавиться.

— А хоть бы и умереть, — говорила она своим ровным, немного скрипучим голосом. — Что так нехорошо, что так плохо.

Она начала угасать давно, но пока был жив муж Петр Александрович, словно бы отодвигала от себя кончину, живя в заботах о нем, а он часто прихварывал, хотя и бодрился, и она знала это, но старалась не показать, что обо всем догадывается, стараясь продлить его дни. Он скончался внезапно. Сидел на кухне за столом, завтракал, когда позвонили и сказали, что его друг на рассвете отдал Богу душу. Петр Александрович успел поставить чашку на стол, протянул было руку за нитроглицерином и, отвалясь к стене, начал остывать.

Лидия Ивановна почти не плакала над ним, приняв, видимо, его смерть как большую, но в общем-то естественную беду, о которой хотя раньше и не говорили, но знали, что рано или поздно она грянет. Она как бы отделила свой внутренний мир от всего остального, сосредоточившись только на том, что сбереглось в ее памяти, и жила одними воспоминаниями, занимаясь делами земными по привычке. Она была из краснокосыночниц, но к верующим относилась с мягким снисхождением, как к детям, которые сами не знают, что делают, но Бога никогда не хулила, полагая, наверное, что это могло оскорбить память. Иногда мне по едва уловимым, а вернее все-таки по почти неуловимым признакам казалось, что она исподволь возвращалась к Богу. Спросил я ее за полгода до кончины:

— Лидия Ивановна, а вам никогда не хотелось сходить исповедоваться? Или, скажем, хотя бы постоять в притворе во время заутрени?

— Ты наговоришь, — сказала она мне немного равнодушно. — Что бы исповедоваться, надо верить, а без веры — как исповедуешься?

— Без веры — понятное дело — исповедоваться, только лгать. Но ведь...

— Не-не, — сказала она быстро, даже торопливо, видимо, поняв мою мысль и не желая, чтобы я завершил ее вслух. — Я ведь с Петром Александровичем могу беседовать и без посредства...

Не желая ее обидеть, я тем не менее усомнился:

— Это как же?

— А очень просто, — сказала она. — Проснусь ночью — тишина в доме, как в склепе. Может, только какой полуночник далеко-далеко наяривает свой рок... А так тихо. По потолку и по стенам бродят серые тени, знаешь — впечатляет. Вот тут я с ним и поговорю.

— А за душу при этом не хватает?

— Не-е, — сказала она печально. — Светло бывает... И радостно. Говорю с ним и говорю и наговориться не могу. Мы ведь, оказывается, много чего с ним не переговорили. «Господи, — подумаю, — и это не вспомнили, и это забыли». А как светать начнет, так сразу все и пропадает. Вот тогда пусто становится. — Она помолчала. — Я ведь жить не хочу.

— А сыновья? — спросил я. — А внуки?

Она молчала долго.

— У них своя жизнь. Им меня не понять. Живут вроде бы бок о бок, а все будто врозь. А мы с Петей прожили одну жизнь на двоих. Так чего же мне теперь доживать ее одной.

Это была ее правда, и она в отличие от многих из нас никому ее не навязывала, как завалящий товар в придачу к дефициту, жила ею и ею же проверяла свою жизнь. Не помню случая, чтобы она солгала или ради красного словца сказала заведомую неправду. За это, собственно, мы ее и уважали, правда, делали это как само собой разумеющееся, не вникая в то, что побуждает ее поступать только по правде, хотя это чаще всего приводило ко многим, скажем половчее, житейским неудобствам.

Иногда я говорил ей:

— Что вам, больше других надо...

Она жалконько улыбалась.

— Иначе-то ведь я и не умею.

Она на самом деле не умела жить двойной жизнью, ловчение, умение выйти сухой из воды претили ей, и она, фигурально выражаясь, умудрялась замочить себе подол там, где молодые и более, что ли, умелые ухитрялись пройти по житейской грязи, как посуху, не замечая, впрочем, при этом и самой грязи. Она смотрела на них с печальным удивлением и только говорила:

— Надо же... А я всю жизнь думала, что так нельзя.

Нельзя — не было для нее запретом или ограничением. Нельзя — являлось нормой ее поведения: нельзя лгать, нельзя ловчить, нельзя... да, господи же, эти запреты были теми самыми столпами, на которых извечно держалось человеческое общество. Смерть словно бы освободила ее от всех запретов: все промежуточные категории добра и зла отошли в небытие, оставив место только жизни и смерти, но Лидия Ивановна была уже там, как бы сразу разрешив все свои заботы, а мы оставались со своими большими и малыми делами здесь, негромко переговариваясь о вещах весьма посторонних, никакого отношения не имеющих к покойной, припоминая то одну частную подробность, то другую, словно на ощупь пересчитывали в карманах мелочишку.

День стоял теплый и ласковый, до этого все шли дожди и даже подваливал снежок, а накануне небо распахнулось, пропустив солнце, которое тут же начало плавить слежавшиеся грязные сугробы, и зазвенели ручьи, выскользнувшие из-под спуда, словно ртуть. Ручьев было много и на Троекуровском кладбище, черные деревья едва шевелились и отряхивали с ветвей последнюю влагу, и все вокруг шепталось, подрагивало, двигалось, сверкая на солнце и радуясь теплу, которое наплывало волнами и застревало в кустах. Радость бытия ощущалась во всем, и все говорило о необоримости жизни, только скорбный лик Лидии Ивановны, обострившийся, с глубоко запавшими глазницами, как бы напоминал о бренности и скоротечности пребывания в этой юдоли всего, что в эти минуты шепталось между собой и радовалось.

Народу возле раскрытой могилы, которую вырыли в оградке рядом с Петром Александровичем, собралось много и каждый принес с собою цветы. В руках они еще казались живыми, но лишь только ложились в гроб, тотчас же теряли свой радостный блеск, словно бы блекли на глазах и умирали. «Нет, — думал я, — как бы ни была естественной смерть, она всегда в нашем сознании останется противоестественной. Очевидная нелепость: противоестественное естество».

Возле меня оказался Николай Васильевич, в недавнем прошлом большой человек, бывший одно время Петра Александровича и моим начальником, а с Петром Александровичем он еще и дружил. Николай Васильевич все время жался в своем пальтишке и словно бы испуганно поглядывал по сторонам. Чего уж было озираться, если стояли вокруг под черными соснами черные кресты и голубели оградки, порыжевшие с приходом весны от ржавчины. Николай Васильевич был туговат на ухо — воевал в противотанковой артиллерии — и носил в ухе

В. Марченко публиковался в нашем журнале в № 5/1989 г. и в № 2/1990 г.

микрофончик. Непосвященный мог подумать, что Николай Васильевич заткнул ухо несвежей желтоватой ваткой, как бы оберегая его от сырости. Он повернулся ко мне и о чем-то спросил, и я, занятый своими мыслями, машинально сказал:

— Противоестественное естество.

— Что-что? — переспросил Николай Васильевич, вытягиваясь, как бы пытаясь вылезти из пальто.

— А вот то самое, — сказал я, — что сейчас мы вернемся, сядем за их стол, на их стулья, станем есть и пить из их посуды, говорить о них, но самих-то их уже нет. Вот в чем великая штука жизни: все осталось, а их нет.

— Ах да, ну, конечно, — нехотя согласился Николай Васильевич, пряча шею в воротник пальто. — Да ведь это же поминки. Как же без этого, а? Нам без этого никак нельзя.

Я говорил не о том, естественно, да и он сказал о своем, и у нас получился не разговор, а черт знает что, но ведь по существу мы и не хотели ни о чем говорить, а только сделали вид, будто поговорили.

Могильщики стояли поодаль, курили и равнодушно перебрасывались словами. Им хорошо заплатили, и поэтому они не поторапливали, давая возможность нам попрощаться неспешно.

Слов не говорили, стояли вокруг гроба молча, уже и не вспоминали ничего, просто понимали, что вместе с Лидией Ивановной сейчас уйдет и частица нашего бытия: чего-то мы недодали, что-то сами недополучили, словно бы жили, репетируя свои отношения, думая о добре и тут же забывая об этом самом добре. «А Лидия Ивановна, кажется, была другой, — подумал я. — Господи, а какой же? Хорошей? Плохой? Она умела слушать, — опять подумал я. — Господи, как она умела слушать. Долго, терпеливо, как умели это делать только священники. Но священники общались с Богом, то есть с вечностью. Им спешить было некуда и незачем. Интересно все-таки, а был ли Бог у Лидии Ивановны? Был или не было?»

К ним — даже после кончины Петра Александровича я не мыслил Лидию Ивановну без него — всегда можно было заглянуть на огонек. Они никогда не гневались, даже не было случая, чтобы повысили голос, видимо, раз и навсегда положив для себя, что если в дверь позвонили после полуночи, значит у человека появилась потребность выговориться, и по позднему времени сооружался чаек и начиналась беседа, долгая и бессвязная, но полная значения — после нее на душе всегда легчало.

Будучи еще отроком несмышленным, Петр Александрович пережил такое, что даже врагам своим не мог пожелать ничего подобного. Только раз, когда время ушло далеко за полночь и трамваи давно уже не позванивали, сказал он, словно очнувшись:

— Все помню. И все вижу. Голову отца отрубленную вижу. Кровь на бороде, а глаза открытые от ужаса. И рот черный. Страшно.

— Он что же? — спросил я, опешив.

— Его казнили безвинно. Он был священником. Красные от Вологды наступали. Комиссаром у них была Ревекка Пластинина. Она издала приказ: офицеров, священников, купцов и учителей считать врагами трудового народа. Отец в отступ собрался, уже и за село уехал на подводе, а утром мать пошла по воду и увидела его голову на крыльце. Еле отходили, сперва соседи ее у себя прятали, а потом увезли на дальнюю заимку. А меня с братом в приют сдали.

— Ездили на могилки?

Петр Александрович долго-долго молчал.

— Нет, не ездил... Красный террор это назвали.

Видимо, с той далекой поры и остались у него в уголках губ скорбные морщинки. Такие же морщинки появились и у Лидии Ивановны после его кончины.

Когда рыли могилу Лидии Ивановны, надгробие с камнем в ногах у Петра Александровича осталось нетронутым, только немного забросали желтыми комьями, и из этих комий выглядывал на нас смеющимися глазами Петр Александрович, чуть-чуть благостный, как сельский священник, и молодой, каким я его уже не застал. Когда мы познакомились с ним, а потом, смею думать, и подружились, он был для нас уже старик, немного усталый, умудренный своей усталостью и больной, всячески скрывавший болезнь. Однажды он вызвался проводить меня до метро — мы недоговорили, хотя и просидели весь вечер за чашкой чаю, — я торопился и пошел быстро, он заметно начал отставать и, наконец, сказал:

— Погоди, дай немного передохну, — и положил себе руку на грудь.

Тогда я не знал, что такое грудная жаба и как следует поступать, когда появляется загрудинная боль. Я на самом деле торопился и поэтому сказал:

— Может, я один пойду?

— Пойдем вместе. Мне все равно надо перед сном подышать. Только ты не беги.

Теперь я не побежал бы, но теперь и он смотрел на меня с гранитного камня, прищурясь, тихо посмеиваясь. После его смерти Лидия Ивановна тоже начала щуриться и посмеиваться. Она явно подражала ему даже в интонациях, стараясь быть внушительной. Это было наивно и трогательно, и я всегда старался выслушивать ее с почтением, как бы внимая каждому слову, хотя те слова уже шли в перебор — они уже были сказаны Петром Александровичем, и те, что запали в душу, давно проросли, а те, которым суждено было упасть на камень, так же давно засохли и обратились в прах.

«Так был ли у нее Бог или не было?»

Старший среди могильщиков кинул окурок под ноги, притоптал огонек подошвой и негромким (усталым) голосом сказал:

— Подходите прощаться.

Мне всегда была страшна и непонятна эта граница между жизнью и смертью: Лидия Ивановна еще была среди нас, казалось, внимала нашим скупым словам, но ее уже не было. Тело еще оставалось, а дух человеческий отлетел и где он теперь был и был ли где — поди знай.

Молотки застучали гулко и слаженно, гвозди с трех ударов входили в сырое дерево по шляпки, могильщики подхватили домовину на кушаки и ровно опустили ее в могилу. С каменным стуком, словно с горы, сорвалась маленькая лавина, о крышку ударились стылые комья, и мне подумалось, что земляная темница сдавит Лидию Ивановну, и она непременно задохнется, хотя ведь понимал, что сдавливаться и задыхаться уже нечему. Все было, было и ушло в воспоминания, став нашей памятью. Могильщики быстро закидали яму, соорудили небольшой холмик, огладив его бока лопатами, и они, подтаяв, масляно заблестели на солнце. Мы рассыпали оставшиеся гвоздички и тюльпаны вдоль холмика, могильщики установили фотографию, и Лидия Ивановна помолодому озорно глянула с довоенной фотографии на прежнего Петра Александровича, и Николай Васильевич, напяливая кепчонку, пробурчал:

— Вот как хорошо... И опять вместе.

Провожающие пошли сразу к кладбищенским воротам, выбирая место посуше, а мы с Николаем Васильевичем зазевались, взяли правее и из старого кладбища, тесно заставленного оградками, попали в новое, в котором хоронили ровными рядами, словно бы выстраивая усопших по ранжиру: если это был генерал, то его везли сюда, а если, скажем, сержант, то... Лидию Ивановну положили к Петру Александровичу на Троекуровском кладбище, по меркам власти предержащей они, видимо, выше крестов не поднялись.

Им теперь это было все равно.

Николай Васильевич шел степенно, словно у себя в саду, и, кивая головой, говорил:

— Это Василий Дмитриевич, а тут Владимир Алексеевич лежит, а там вон Михаил Семенович... — И все удивлялся, сдергивая кепчонку для поклона. — Да тут теперь побольше своего народу будет, чем там за оградой. — Он останавливался и горестно смотрел по сторонам. — А какие все мужики. Один к одному. Да ведь это все — штучный товар.

— А мы и все — штучные, — сказал я, все еще слыша, как комья стылой земли стучали о крышку, как будто теперь долбили меня в затылок.

— Это понятно, — охотно согласился Николай Васильевич. — Но те-то... Те — орлы. Один к одному.

Орлы те уже лежали, а мы все еще помаленьку коптили Божий свет, пробираясь поспешно между ровными рядами, похожими на гряды, на коих произрастали серые камни, к кладбищенским воротам. Столы, наверное, уже составили, и самое время было помянуть чем Бог послал по скудности нашего времени Лидию Ивановну, ангельскую душу.

Тепло уже не наплывало с улицы, а словно бы окончательно утвердилось здесь, ручейки зажурчали еще звончее, подтачивая серые сугробы, которые рушились на глазах, и на голых ветках защелкали скворцы. Живым не стоило долго задерживаться на кладбище — поминовение не гульбище, но Николай Васильевич все оглядывался, как будто кого-то поджидал, и бормотал себе под нос:

— Погодите-ка, заглянем еще...

— Без нас за столы не сядут, — напомнили мы ему.

— А ничего, — сказал он. — Тут тоже, понимаете ли... Проведать надо.

На новом кладбище на самом деле оказалось много знакомых: генералов, тренеров, артистов, композиторов, словом, тут пропавших без вести, как на Троекуровском, где многие могилки были уже безымянными, не могло быть. Николай Васильевич вконец расстроился.

— Калугин-то, а? Ведь я его недавно по телевизору видел. Сидел, понимаете ли, а он оказывается уже здесь. А Степанов? Я только что статью его читал в «Известиях». А и он оказывается здесь.. Что с людьми делается.

— Закон природы, — сказали мы ему.

— Эт-то, конечно, что закон, — неуверенно согласился он. — А только нет такого закона, чтобы всем сразу.

— А и тут не сразу, — сказали мы. — Тут тоже все по очереди.

— Какая ж очередь, — возразил Николай Васильевич, — если Степанов моложе меня. Да и Калугин тоже. Тут не то, чтобы в очередь. Тут ведь локтями распихивают эту самую очередь. Спешат все, спешат, а куда спешат...

За столы на самом деле не садились, ждали только нас, стояли кучками и негромко переговаривались, сыновья потерянно ходили в сторонке, словно чужие, ни в одну группку не вписывались. Их горе в доме как бы обострилось, наше же, оставшись на кладбище под черной сосной, уже не казалось здесь столь сиротским, и я уже не думал, что сейчас мы сядем за их столы на их стулья и будем есть и пить из их посуды.

День хоть и выдался теплым, но за долгое стояние сперва у дома в ожидании автобуса с телом Лидии Ивановны, а потом на кладбище все довольно иззябли и даже словно бы одеревенели, поэтому и говорили, и двигались угловато.

Тут был их — Петра Александровича и Лидии Ивановны — дух, вещи еще лежали на своих местах, и те же фотографии висели на стенах, и корешки тех же книжек просматривались в шкафах и на полках, и то, что случилось в больнице, а потом на кладбище, мне казалось неправдой, а правда была в том, что ничего не изменилось, не стронулось со своих мест, к тому же Петр Александрович с Лидией Ивановной никому не навязывали своей воли, когда собирались гости или пусть и без всякого гостевания забредали на огонек, они старались сами уйти в тень, чтобы никому своим хозяйствованием не мозолить глаза. И все-таки правда была и в больнице, и на Троекуровском кладбище, и даже уже здесь, потому что на видных местах среди прочей обыденности и привычности появились довоенные и более поздние, но и не такие уже поздние фотографии Лидии Ивановны и Петра Александровича.

Принесли блины, стало быть пришла пора садиться за столы, в этом, к сожалению, была тоже своя угловатая и беспощадная правда. Тут уж пришлось похристианскому обычаю говорить: там, на Троекуровском кладбище молчание можно было объяснить, здесь оно уже не объяснялось, впрочем, об этом, кажется, никто и не думал — нам на самом деле захотелось сказать свое слово, может, в последний раз поговорить с нею. «Так был все-таки у нее Бог или не было?»

Говорили все хорошо, хотя я и никогда-то не слышал, чтобы на поминках говорили плохо. Кто хотел сказать плохо, тот, видимо, помалкивал себе в тряпочку, чтобы не выглядеть белой вороной. Мне на поминках никогда не приходилось отмалчиваться — туда я просто не ходил, — но если бы, к примеру подумалось мне, захотелось бы промолчать сегодня, то я не знал, о чем бы пришлось молчать. Лидия Ивановна не была, конечно же, святой, но в моем сознании она всегда была отмечена святостью, может, потому, что узнал я ее слишком поздно, когда святые дела уже сами находят человека.

— Зачем мы приходим на этот свет? — неожиданно для всех спросил Николай Васильевич и, поведя по застолью беспокойными глазами, сам же ответил: — Затем, чтобы делать добро. Если бы не было в мире добра, он не продержался бы так долго. — Он выдержал паузу, которая, по его, видимо, мнению, должна была подчеркнуть исключительность момента. — Они делали добро. Они умели делать добро... — Он невольно сглотнул. — По сути дела, это уходит эпоха.

— Осколки ее, — негромко подсказал я.

— Что? — по привычке грозно спросил Николай Васильевич и уже менее строго сказал: — Пусть осколки, но зато какие. Они были творцами великой эпохи.

— И ее жертвами, — сказал я в стол.

— Что? — несколько опешив переспросил он и невольно согласился: — Пусть жертвами, но эпоха-то какая была. Мы рождались, чтобы сказку сделать былью.

Хотел я было промолчать, но шлея уже попала под хвост.

— Или быль превращали в сказку.

— Мы об этом не думали, — обиделся Николай Васильевич. — Нам история для этого времени не оставила.

— Зато нам отвалила с лихвой: думай — не хочу.

— Они жили красиво, — промолвил Николай Васильевич, туго соображая, как бы ему половчее отвязаться от меня.

— Они жили вместе и любили друг друга, поэтому и прожили красиво.

— Дай бог нам так прожить, — согласился Николай Васильевич.

Против этого возразить было нечего, и вспыхнувшая было легонькая перепалка за столом сама собою прекратилась. Блинов все подносили и подносили и водки набралось много, но пора было и честь знать. Пока жила Лидия Ивановна, все казалось, что жизни впереди еще много, но ушла она, и мы очутились лицом к лицу с вечностью. Пусть эта последняя стена была согнувшейся, покосившейся, как старая изгородь, но она была же и, значит, жить можно было без особых беспокойств, а теперь сразу затылком ощутилось дыхание идущих вослед.

День был прожит обычный — день как день, но мы будто сразу постарели.

Солнце еще было высоко, хорошо грело, и народ сбросил с себя пальто, толстые куртки и тяжелую зимнюю обувку, став наряднее и словно бы легче. На улице ощущалось много красивых женщин, и я обратил внимание, что многие из них были в черных ажурных чулках, делавших их и стройнее и привлекательнее. «Оказывается, нынче опять в моде черные чулки, — подумал я. — Надо же...»

Мы пошли проводить Николая Васильевича. Многие годы он ездил в служебной машине и на улице чувствовал себя не очень уверенно. Мы брели потихонечку, глазели по сторонам — женщины на самом деле похорошели, — и было нам и грустно, и тревожно, и, чего уж там умалчивать, обидно, что всем сегодня стало празднично и всех хороший денек погнал на улицы, а у нас на душе скребли кошки. «Не договорили мы, — думал я скорбно, — не додали, обокрали себя.»

Николай Васильевич неожиданно остановился и поглядел на нас медвежьими светлыми глазами, в которых давно уже сквозило беспокойство.

— Мужики, как же мне теперь жить? — тихо спросил он. — Ведь у меня больше нет биографии. Я жил честно,

у всех на виду, ничего не крал, во все верил свято, а теперь что же — все кошке под хвост?

Следуя той же неожиданности, мы заинтересовались:

— Это как же?

— Да все так же, мужики.... Меня родители в голодный год привезли мальчонкой из-под Рязани в Москву. Тут я и школу перед войной закончил. Потом подучили нас еще маленько и выпустили на фронт младшими лейтенантами в противотанковую артиллерию. Это знаете ли, мужики, не мед, но воевать надо. В Берлин я вошел уже капитаном с двумя ранениями и одной контузией. Во! — он ткнул большим пальцем в ухо. — Теперь затычку сюда вставляю — иначе ни хрена не слышу. Четыре боевых ордена имею и несчетное количество медалей. Все четыре года кричал: «За Родину, стало быть, за Сталина!»

— Сталин — кровавый деспот, — сказали мы безжалостно.

— Вы так полагаете? — угрюмо спросил Николай Васильевич.

— А это не мы полагаем, — сказали мы. — Это все так полагают.

— В университет я поступил как фронтовик — все честно. Одно время был секретарем Сокольнического райкома партии.

— Это когда же? — строго спросили мы.

Николай Васильевич, чувствовалось, маленько растерялся.

— При Хрущеве, — нехотя сказал он.

— Волюнтаризм и сплошная арапистость.

— Что? — не понял Николай Васильевич и приставил к уху ладонь, хотя с микрофончиком слышал хорошо.

— Арапистость, — принялись мы разъяснять ему, — от слова арап. Иначе говоря — арап Петра Великого.

— Понятно, — тусклым голосом промолвил Николай Васильевич, хотя по всему было видно, что он ни черта не понял, и вдруг оживился. — Ну а Брежнев-то? Брежнев... При нем я в аппарате работал.

— Рутинер, пьяница, бабник и — полнейший застой.

— Вот и я говорю, мужики, — торжественно и весело сказал Николай Васильевич. — Нету у меня биографии. Раньше Всевышний, наказывая человека, лишал его тени. А у меня, стало быть, забрали биографию. Мне якшаться с кровавым деспотом, арапистым волюнтаристом и застойным бабником прискорбно. Я, мужики, ничего ни на кого не писал и ничего не крал. Я, мужики, честно жил.

— Верна-а... — подтвердили мы.

Николай Васильевич сдернул с головы кепчонку.

— Мужики, а где бы тут выпить?

— Там еще водки много осталось.

— Не-е, туда мы не пойдем. Это их оскорбит. Они теперь святые.

— Тогда придется в аптеку... Может, там календула есть или еще чего.

— А это что — календула?

Мы поскромничали:

— Пить можно...

Календулы в аптеке не оказалось или нам не дали — это одно и то же, мы снова постояли на перекрестке, благо и солнца еще было много, и мимо нас прогуливались красивые женщины в черных ажурных чулках.

В тот день их на самом деле оказалось много. Много больше, чем мы даже предполагали.

●

ДОРОГА К ХРАМУ

Доктор исторических наук, профессор А. Г. Кузьмин широко известен как автор книг по начальной истории Руси, биографии Татищева в серии «Жизнь замечательных людей», статей в журнале «Наш современник», а также как председатель Московского общества русской культуры «Отечество». Его книга «К какому храму ищем мы дорогу» состоит из очерков и статей, созданных в 60—80-е годы. Даже те из них, которые написаны много лет назад, звучат современно. Каждая из вошедших в книгу работ имеет свою, порой довольно драматичную историю. Со страниц «Правды» против историка были выдвинуты грозные по тем временам обвинения в «забвении классового подхода», «антиисторизме» и пр. Не поскупилась на обвинения и «Литературная газета». Позже к «разоблачению» его очерка подключился журнал «Коммунист», где тогдашний функционер идеологического фронта развитого социализма и борец с «буржуазными фальсификаторами», а ныне один из вождей «демократических сил» Ю. Афанасьев учил «четкости социально-классового подхода». Кузьмин посягнул на «святая святых» идеологического руководства времен застоя. Показывая спекулятивный характер «социально-классового анализа прошлого», которым козыряли тогда официальные литературные критики типа В. Оскоцкого (сейчас активист писательского движения «Апрель», выступающий за свободу творчества и пр.), историк подводил к выводу, что этот «анализ» являлся лишь удобным прикрытием для внедрения антипатриотических и русофобских установок в общественную жизнь, для разгрома русской культуры и национального самосознания. Сменив в наше время с легкостью необыкновенной «классовый подход» на «общечеловеческий», официальные идеологи всех степеней остались верными своим сокровенным постулатам.

В. АРТЕМОВ

Аполлон Кузьмин. К КАКОМУ ХРАМУ ИЩЕМ МЫ ДОРОГУ. История глазами современника. — М.: Современник, 1989.

МАСТЕРА КОЛЫВАНИ

Если капля долбит камень, то талантливое терпение мастера способно превращать нерукотворное создание недр земли в рукотворное чудо искусства. Бесконечно талантливому терпению русских мастеров — колыванских камнерезчиков и посвящена книга А. Родионова. Предысторией этой «хроники» является рассказ о судьбе смекалистого купца Никиты Демидова, рудознатцам которого принадлежит счастливое открытие алтайских самоцветов, использовавшихся впоследствии «для обрабатывания колонн, вазов, столов, каминов и других сим подобных приборов». На Колывани камнерезной сотворены были такие уникальные изделия, как, например, медальон «Родомысл» из союзной яшмы, ювелирная работа над которым длилась десять лет. Здесь же была создана и огромных размеров «Царица ваз» из зеленой ревневской яшмы. Эта ваза во время ленинградской блокады, можно сказать, символизировала собой переполненную чашу терпения, чашу горя народного. Из нее изможденные сотрудники Эрмитажа вычерпывали ведрами воду, которая текла с отсыревшего потолка. Делали колыванские мастера и колонны из яшмы для храма Христа Спасителя в Москве, часть которых ныне оказалась в высотном здании МГУ на Ленгорах.

Любознательный читатель найдет в книге А. Родионова массу интересных исторических фактов.

Книга завершается грустной картиной практически выродившегося камнерезного дела в наши дни. Безупречные ранее формы ваз и чаш, тончайшей работы искусные медальоны сменились современными аляповатыми поделками, не способными порадовать глаз и душу. Эта картина, нарисованная автором, заставляет задуматься и о судьбе многих народных промыслов, которые точно так же вырождаются под мертвящей, все обезличивающей чиновничьей «опекой».

Л. МЕШКОВА

Родионов А. М. КРАСНАЯ КНИГА РЕМЕСЕЛ: Заметки о чистодеревщиках, кузнецах, гончарах, вышивальщиках, колыванских камнерезах. — Барнаул: Алт. кн. изд., 1990.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЖУРНАЛА «СЛОВО» ЗА 1990 ГОД

Бунина (№ 7); Молодые голоса. Стихи (№ 9); **Д. Мордовцев** — Великий раскол (№№ 4, 7); Письма о Солженицыне (№ 7); Поэтическая страница (№ 3); **А. Ремизов** — *Рождественские страшилки* (№ 1); Рукописание Магнуша (№ 5); **В. Смирнов** — Вещественные доказательства (№ 9); Стихи поэтов-фронтовиков (№ 5); **И. Стрежнев** — Панцирная рубашка (№ 6); **С. Субботин** — «Где чорт валяется, там шерсть останется» (№ 4); **Тэффи** — Рассказы (№ 8); **Г. Устинов** — Выдвиженец Лупарев (№ 11); **О. Фокина** — Во широком полюшке (№ 2); **Е. Чернов** — В минуты жизни трудной (№ 9); **С. Черный** — Правдивая колбаса (№ 11); **М. Шевченко** — Были и небылицы (№ 5); **И. Шмелев** — Куликово поле (№№ 1, 2); **В. Юдин** — «Не трогай! Это наше!» (№ 9).

ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ.

Д. Бьюкенен — Права ли княгиня Палей? (№ 7); **В. Воейков** — Прощальное слово (№ 4); **Г. Граф** — Кровь офицеров... (№ 8); **А. Гучков** — Комбинация в Пскове (№ 4); **А. Деникин** — После приказа № 1 (№ 3), За спасение России (№ 11); **Д. Дубенский** — Измена, трусость, обман... (№ 4); **А. Керенский** — Последний акт (№ 11); **П. Краснов** — Спасти армию (№ 9); **Н. Махно** — Гуляй-Поле (№ 10); **П. Милюков** — В Таврическом дворце (№ 2); **Митрополит Вениамин** — В чем Промысел Божий? (№ 8); **Н. Морозов** — На улицах Москвы (№ 2); **Д. Мстиславский** — В такт пулеметам (№ 3); **В. Набоков** — Из-под маски актера (№ 7); **М. Палеолог** — Петроград — Париж (№ 3); **М. Родзянко** — Крушение империи (№ 2); **Б. Савинков** — Между Корниловым и Керенским (№ 9); **И. Сталин** — «Окружили мя тельцы мнози тучны» (№ 8); **В. Станкевич** — В Зимнем дворце слишком пустынно (№ 10); **В. Чернов** — За кулисами апрельского кризиса (№ 7); **А. Шляпников** — И тронулась Россия (№ 2).

ИСТОРИЯ. Очерки. Мемуары. Документы.

А. Авторханов — Загадка смерти Сталина (№ 5); **Н. Валентинов** — Попытки узнать Ленина (№ 11); **М. Вострышев** — Заговор против отца (№№ 1, 2, 12); **В. Вырубова** — Узница Трубецкого бастиона (№ 1, 8); **И. Ильин** — О революции (№ 11); **М. Каратеев** — Норманская болезнь в русской истории (№ 8), Битва на Калке (№№ 9, 12), Александр Невский (№ 12); Письмо М. А. Шолохова И. В. Сталину (№ 8); **А. Симанович** — Рассказывает секретарь Распутина (№№ 2, 4, 8); **Б. Споров** — Письмена тюремных стен (№№ 2, 12); **И. Сытин** — Встреча со Столыпиным (№ 8); **А. Толстая** — Проблески во тьме (№№ 3, 9); **И. Уханов** — А истина дороже (№ 6).

ПЛАНЕТА. Эссе. Книги. Путешествия.

Л. Бежин — Отсвет волшебного фонаря (№ 1); **Р. Гелен** — Влиять на ход истории (№ 5); **А. Рэдклифф** — Фантастическая симфония (№ 3); **Антуан де Сент-Экзюпери** — Письмо генералу Х. (№ 5); **У. Черчилль** — Москва. Первая встреча (№ 5); **З. Шаховская** — *О правде и свободе Солженицына*. Новые русисты (№ 3).

ТАИНСТВА МАГИИ. Небытие. Телепатия. Экстрасенсы.

Д. Жуков. Встречи с ясновидцами (№№ 6, 10).

ЭКОЛОГИЯ. Природа. Гибель. Спасение.

А. Швиденко — Боль моя о русском лесе (№ 12).

НА ЦВЕТНОЙ ВКЛАДКЕ:

№ 1 — Работы Рафаэля. Арс. Кузьмин — Первое знакомство. Книжная графика Д. Трубина. А. Рублев — «Троица». № 2 — Фоторепортаж П. Кривцова, В. Коноплева, С. Севостьянова, В. Вешнякова по местам протопопа Аввакума. С. Спенсер — «Тайная вечеря». № 3 — Фоторепортаж Н. Кулебякина об А. Анненкове, создателе бонсаи в Никитском ботаническом саду. Р. Леонидов — Штрихи к портретам писателей. «Тайная вечеря». № 4 — Работы И. Ефимова. Книжная графика С. Сюхина. Я. Мостарт — «Поругание Христа». № 5 — Фоторепортаж П. Кривцова о празднике на Тихой Сосне. Тициан — «Христос и Мария Магдалина». № 6 — Фоторепортаж Ю. Садовникова и В. Монина из Пушкинских гор. Живописные этюды Б. Козмина. Мастер Райгардского алтаря — «Несение креста». № 7 — Фоторепортажи: Ю. Садовникова с Сахалина, Н. Кулебякина из Поленова, С. Сафоновой из Спасского-Лутовинова. В. Грехов «Аввакум. Накануне раскола». Рембрандт — «Воскрешение Лазаря». № 8 — Живопись Г. Павлова. Книжная графика В. Перцова. Работы Н. Лермонтовой. Феофан Грек «Спас в силах». № 9 — Фоторепортаж П. Кривцова из Ясной Поляны. Мазаччо — «Распятие». № 10 — Фоторепортаж П. Кривцова о вологодских реставраторах Федышиных. Д. Кострова — Книжная графика Ю. Фролова. № 11 — Уничтоженные святыни. Московские почтовые открытки начала XX века. № 12 — Работы Рембрандта. Фоторепортаж Ю. Садовникова с открытия памятника Великой княгине Елизавете Феодоровне.

РОДНОЕ СЛОВО

Издательство «Современник» в серии «Классическая библиотека» выпустило в свет новую книгу «Обрядовая поэзия» (составители В. И. Жекулина и А. Н. Розов), — серьезный, выполненный с любовью и трепетным отношением к предмету исследования, труд. В сборник вошли, кроме собственно текстов обрядовых песнопений, обширные комментарии к ним, примечания и словарь диалектных и устаревших слов и оборотов. Книга производит хорошее впечатление и с точки зрения издательской культуры — она рационально скомпонована, богато и со вкусом иллюстрирована (художник — Т. М. Чиркова).

Издревле на Руси слову придавалось особое значение, вера в магическую его силу была удивительно устойчива в народе. На протяжении всей жизни человека сопровождали обряды и связанные с ними определенные слова и песнопения. Но это не были однообразные, монотонные повторения одних и тех же слов-заклинаний. Живя на земле, пользуясь плодами своего труда на ней, крестьянин ощущал себя единым целым с природой, сотворцом всех замечательных ее воплощений. Все это нашло отражение в календарных обрядах.

С народным земледельческим календарем тесно связаны и семейные обряды, в первую очередь свадебные. Восторгом и изумлением проникаешься к народному гению, творцу СЛОВА, при чтении чудных этих величальных, причитаний и приговоров! Подлинные вершины поэзии заключены в поминальных плачах-воплях. Какое многообразие стилистических приемов, и при этом ни разу не изменяющее создателям чувство меры и вкуса.

Книга эта — прекрасный подарок каждому, в ком еще не убита окончательно любовь к родному языку, кто способен оценить красоту, образность и музыкальность истинно народной речи.

Будем надеяться, что сборник «Обрядовая поэзия» станет достоянием не только узкого специалиста, но и массового читателя.

Л. ГУСЬКОВА

ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ/ Сост., предисл., подгот. текстов В. И. Жекулиной, А. Н. Розова — М.: Современник, 1989.

ОЖИЛИ СТАРИНЫ СЕВЕРА

Книга «Пятиречие» О. Э. Озаровской будет интересна не только специалистам и любителям русского фольклора. Этот сказочный сборник — не строго научное издание фольклорного материала, а литературно оформленная картина народного быта, языка, творчества.

Не менее привлекательна и личность самого автора. Математик, позже актриса и педагог, О. Э. Озаровская не сразу пришла к углубленному изучению фольклора. Начав же эту работу, она внесла существенный вклад в развитие науки о фольклоре. Ее огромное наследие еще не исследовано полностью и, возможно, хранит новые открытия.

«Бабушкины старины» и «Пятиречие» — две книги, вошедшие в сборник. Обе они о Русском Севере. Преимущественно это сказки, но кроме этого, в книгу включены былины, песни, легенды, многие из которых записаны от знаменитой печорской сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой.

Очень интересна композиция «Пятиречия», вызывающая в памяти «Тысячу и одну ночь» и «Декамерон» Бокаччо. Разные по характеру произведения объединены сюжетной рамкой, созданной автором. В сказках, звучащих на берегу большой реки, северный народ предстает вовсе не угрюмым и замкнутым, как мы привыкли думать — у него «северный, радостно-пытливый взгляд, словно ожидающий небывалого счастья, которое должны принести люди из другого мира».

Северные сказки очень занимательны и одновременно познавательны: легенды и были делают четкое представление о быте и труде северян. Обилие подлинного фольклорного материала делает «Пятиречие» кладовой народной мудрости и северной народной культуры.

Людмила ЖУКОВА

Озаровская О. Э. ПЯТИРЕЧИЕ. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989. — 336 с.

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал Госкомпечати СССР

Издается с сентября 1936 года.
№ 12. 1990.



Сдано в набор 26.09.90.
Подписано в печать 30.10.90.
Формат 84×108 1/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Уч.-изд. л. 14,29+1,26.
Тираж 238000.
Заказ 1589.
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок:
281-50-98

Ордена
Трудового Красного Знамени
Тверской полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Тверь,
проспект Ленина, 5.

В НОМЕРЕ:



Памятник
Ф. М. Достоевскому
работы
С. Д. Меркурова.

Вместе с памятником
Л. Н. Толстому
и скульптурой
«Мысль», ныне
надгробием
художника на
Новодевичьем
кладбище, составлял
триптих.

Памятник
Ф. М. Достоевскому
некоторое время
находился в торце
Цветного бульвара
у Самотечной
площади.
Теперь — в сквере
Мариинской
больницы.

к 750-летию блестящей победы двадцатилетнего Александра Невского в 1240 году.

Павел Корни.

Александр Невский.

часть триптиха.

Очерк М. Каратеева читайте на стр. 62.


ISSN 0868—4855. Слово 1990, № 12. Индекс 70110. 90 коп.



«Новый мир», «Юность», «Дружба народов» и «Знамя» из изданий всесоюзных превратились в издания республиканские. Странно только, что они утаивают от подписчиков эту существенную деталь, весьма важную в подписную кампанию. Ведь в каталогах «Союзпечати» все они остались еще как издания всесоюзные...

«Заявления о регистрации средств массовой информации, рассчитанных на общесоюзную аудиторию, подаются учредителями в органы государственного управления, определяемые Советом Министров СССР, а заявления о регистрации средств массовой информации, рассчитанных на республиканскую или местную аудиторию, — в соответственные исполнительные и распорядительные органы. Заявления о регистрации подлежат рассмотрению в месячный срок со дня поступления».

Трудно предположить, что главные редакторы не знали об этой статье Закона. В том-то и дело, что знали, но сознательно пошли на нарушение, будучи уверенными, что закон не для них писан, что им, к тому же народным депутатам, законодателям, позволительно и нарушать, никто не посмеет с них спросить.

Вот так-то и создается почва для беззакония, когда личные связи или личные интересы, симпатии оказываются выше закона. Но тогда, опять же, при чем здесь строительство правового государства, о котором твердят наши парламентарии?.. И кто нас убедит, что министр М. Полторанин действовал не по указке сверху, когда здесь налицо все приемы так резко ими осуждаемой, пресловутой командно-административной системы?..

Но есть у этого спора и другая, неправовая сторона, которой трудно не коснуться.

Редакция «Литературной газеты» в своем «необходимом объяснении с читателями» (1990, № 38) заявляет: «Скажем прямо: нелегко далось трудовому коллективу «ЛГ» решение о самоуправлении. Несмотря на то, что право выступать в роли учредителя предоставлено коллективу Законом о печати (ничего подобного в Законе нет. — *А. П.*), несмотря на то, что решение целиком находится в русле процесса перехода к гражданскому обществу (что тоже, мягко говоря, является преувеличением. — *А. П.*), мы столкнулись с активным противодействием со стороны рабочего секретариата Союза писателей СССР. Заявление об учреждении газеты, представленное нами в Госкомпечать СССР, было заблокировано там руководством писательской организации. Были приняты все меры и для того, чтобы не дать зарегистрировать коллектив в качестве учредителя газеты в Министерстве печати и массовой информации РСФСР. Однако закон и воля трудового коллектива на этот раз восторжествовали. Теперь наши «кураторы» ищут способ опрокинуть принятое решение. Они развертывают кампанию против линии коллектива газеты, ее редколлегии и главного редактора. Увы, в ряду драматических событий, происходящих ежечасно в нашей вздыбленной перестройкой стране, это не исключение. Ни одно из прежних звеньев административно-командной системы еще добровольно не уступало и не уступит ни своего положения, ни своих благ».

Здесь все перевернуто с ног на голову. Многие наши издания настолько привыкли водить читателя за нос, что даже не затрудняются вдумываться в свои собственные слова. В данном случае хочется задать авторам вышеприведенных строк только один вопрос: а почему они не вынесли этот вопрос на писательский референдум или съезд, почему сто пятьдесят или двести человек «трудового коллектива» газеты не спросили мнения десяти тысяч членов Союза писателей?

Ф. Бурлацкий всюду подчеркивает, что теперь, получив права учредителя, «Литературная газета» будет наконец-то независимой от «рабочих» секретарей и аппарата СП СССР. И в этом есть доля истины, поскольку раньше «Литературка» в основном обслуживала этих «литературных генералов», была их органом печати. Но ведь помимо этого десятка аппаратчиков существует десять тысяч писателей, не «генералы», а именно эти «рядовые» писатели теперь лишились основного источника финансирования путевок, надбавок к пенсиям, пособий «на творческий период». «Генералы» не пропадут и при новом статусе газеты, став ее акционерами, такой возможностью надежного и крайне выгодного вложения своих миллионов немедленно воспользуются те же Марковы и Сартаковы, а вот для остальных это будет очень ощутимый удар. Шестьдесят процентов всех своих средств Литфонд СССР получает от «Литературки» и от издательства «Советский писатель». А Литфонд, как известно, основан Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, И. С. Тургеневым задолго до сталинского аппарата управления литературой, как Фонд социальной защиты и благотворительного воспомогания писателям.

Каким быть Союзу писателей СССР — этот вопрос может решить только съезд писателей. Равно как — только съезд вправе решать, какой быть «Литературной газете», кому быть ее главным редактором. И в этом отношении, как ни парадоксально, сам Ф. Бурлацкий был избран именно командно-«рабочим» секретариатом, от власти которого он так стремится сейчас избавиться, заодно захватив общественную собственность ни ему, ни редакции не принадлежащую. Устроители земного рая снова не дремлют, как это было и после Октября 1917 года. Лично у меня вызывает сомнение и то, что «рабочий секретариат», только что назначивший в кабинетной тиши главного редактора писательской газеты, теперь принимает экстренные, но запоздалые меры...

Теперь рассмотрим ситуацию с «Октябрем» и его главным редактором А. Ананьевым. Сначала был застой. Там ананьевские танки шли ромбом на страницы журналов с железным напором, а пресловутый административный механизм с почтительностью расчищал перед ними пространство. Ну а потом приключилась гласность, от которой честно работавшему писателю тоже ждать нечего. Трудно пробиться всходам на поле, которое столько десятилетий подряд утрамбовывали «танки ромбом». Но вот на VI Пленуме Союза писателей РСФСР было единогласно вынесено постановление о том, что ни один главный редактор в российских изданиях, принадлежащих СП РСФСР, не может занимать свою должность более двух сроков, то есть десяти лет. После этого вполне благополучно ушли на заслуженный отдых главный редактор «Москвы» Михаил Алексеев, главный редактор «Нашего современника» Сергей Викулов, главный редактор «Севера» Дмитрий Гусаров, занимавшие свои руководящие должности по двадцать и более лет. Единственный, кто не подчинился этому коллективному решению не секретариата, не аппарата управления, а Правления Союза писателей России, был главный редактор «Октября» Анатолий Ананьев, занимающий этот пост бессменно уже семнадцать лет. Ананьев при благополучном попустительстве Президиума Верховного Совета СССР, лично Горбачева М. С. и Лукьянова А. И. защитился от своих собратьев-писателей якобы своей депутатской неприкосновенностью, хотя одно никак не связано с другим (он депутат от Комитета защиты мира). Конечно, в многочисленных интервью, в которых танки вновь пошли ромбом, утюжа сознание читателей, развивалась несколько иная версия событий. «Вечерняя Москва» даже сообщила, что то была последняя фронтовая атака, отбитая им уже после 45-го. Да, нравственные начала вновь сошлись, чтобы общенародно утвердить безнравственность самовлюбленных, доморощенных наполеончиков. Ананьев тоже все переворачивает с ног на голову, заявляя, например: «То был, по-моему, один из первых признаков рождения правового государства: Конституция, закон вступили в силу, закон, охраняющий любого гражданина от самоуправства, и тем более народного депутата СССР. Они — СП РСФСР — позвонили в Верховный Совет, в Прокуратуру, где им было заявлено, что российский Союз писателей нарушил закон, что обвинение в «русофобии» нужно доказать. Но конкретных фактов у них не нашлось. А в прошлые времена никто б с законом не посчитался, просто убрали бы по чьему-нибудь высокому телефонному звонку» («Вечерняя Москва», 1990, № 206).

Прочитаешь подобное и невольно поверишь, что все так и было. Так что впору вторую Звезду Героя прису-